

---

---

Олег ЕРМАКОВ

# ЛѢСЪ ТРЪХЪ РѢКЪ

## Хождение за три реки<sup>1</sup>

Книги бо суть реки...  
*Повесть временных лет*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### 1

Оковский лес?

Оковский лес...

Он теперь владел моим воображением.

Оковский лес, как сообщают справочники, занимал Валдайскую возвышенность.

Валдай как индийская мифическая Меру или тибетская гора Кайлас, с которой стекают четыре реки Индии, Тибета и Непала, среди них — Инд и Брахмапутра. С нашего Кайласа начинают свой бег Днепр, Волга и Западная Двина. Днепр, правда, далеко-далеко находится, исток его примерно в ста тридцати километрах от места наибольшего сближения Волги и Западной Двины.

Но Инд на самом деле начинается в семидесяти километрах от горы Кайлас, Брахмапутра в ста десяти километрах. И все это лишь поэтические вольности. А Кайлас все равно притягивает паломников, хотя и находится в труднодоступном месте, и почитается священной горой.

А Днепр, Волга и Западная Двина точно стекают с Валдайской возвышенности. И ум летописца Нестора соединял все три реки в сообщении: «Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг... Двина из того же леса вытекает и течет на север... Из того же леса вытекает Волга и течет на восток». Голова Нестора как священная вершина Кайлас! И к ней надо приблизиться. Мне тут же представился... белый лоб кита. «Моби Дик» моя любимая книга. Сорок первая глава — истинная вершина книги и вообще метафизической литературы. Судно попадает в некий центр Океана, в его белые воды. И вот он, изборожденный складками лоб и высокий пирамидальный белоснежный горб великого кита. Тут вспоминается и Сократ Платона, свидетельствующий о горнем мире: «И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю».

Мне и хотелось увидеть истинный Лес.

Как же туда подняться?

---

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.

<sup>1</sup> Журнальный вариант.

На байдарке — слишком трудно. «Таймень-2» весит тридцать шесть килограммов. Даже на берег таскать байдарку, переворачивать ее, прятать в тростниках, если нужно уйти куда-то в сторону от реки, нелегко...

И я отправился в путь на велосипеде. Покатил по Старой Смоленской дороге. Вскоре повстречал иностранных пожилых велотуристов, Майка и Митти, едущих из Берлина в Москву. На счетчике длинного Майка в круглых хипповых очках стояла внушительная цифра: 1980. Столько километров они одолели. Майк, немного говоривший по-русски, спросил, куда еду я. Ответил, что на исток Днепра. Он не понял сразу, решил, что это какой-то город — Исток Днепра, но в конце концов уловил смысл и восхитился. А потом спросил, бывал ли я уже на Черном море? Нет, только в помыслах. Я вообще видел настоящее море лишь с самолета.

В Кардымове я обогнал их, а потом они меня нагнали и одарили тамошними яблочками. А день был как раз — Яблочный Спас. На этом мы уже навсегда расстались, с Майком, похожим со своей седой бородкой на Дон Кихота, и с Митти, его невысокой хрупкой спутницей с косичками. Они-то ночевали в гостиницах, поэтому дорожные сумки у них были легкие, а у меня позади громоздился внушительный баул с палаткой, спальником, запасом провизии, водой. И они быстро скрылись из виду.

А я медленно взбирался с холма на холм, отдуваясь, косясь на стремительные многотонные фуры, на блестящие легковушки.

Да, думалось мне, надо было еще во времена единого союзного государства сплавиться в Понт Эвксинский, или Русское море, сиречь — Днепр, Славутич, Дан Апр. А теперь надо возиться с разрешениями.

И я крутил педали, наматывал километры, ночевал в придорожных рощах, заезжал в Болдинский монастырь под Дорогобужем, проезжал мимо Семлева, где есть озеро, в котором Наполеон, как продолжают думать энтузиасты, утопил награбленные в Москве сокровища; вообще на Старой Смоленской много памятных знаков, посвященных той напасти — нашествию французов и прочих шведов; в Вязме сворачивал на другую дорогу, идущую круто вверх — по воображаемой карте, то есть прямо на север; скользил мимо ухоженных колосющихся полей, над которыми летали журавли, не веря, что эти поля у нас на Смоленщине, где все позабыто, разбито, как после войны, и заброшено... Земля там чистая. И леса всюду стоят. Если на прежних дорогах попадались сбитые птицы, раздавленные ужи, ежики, то здесь — енотовидная собака, лисица, белка.

Увидел в хлебных полях белую церковь, попытался к ней проехать... Что проще, да? Увидел путник храм, издали перекрестился, а после решил и в него войти или хотя бы рядом постоять, — да и потопал. Хм, так и бывало в прежние времена. Сейчас все переменилось. Только я свернул на велосипеде с трассы, как тут же наткнулся на плакатик: «Проезд запрещен, частная территория». А белый храм маячит над колосьями, манит. Начал петлять, искать объезды. Снова те же запретительные надписи. Дорога к храму! Новая Русь... Да я путник упорный, упертый. Поехал и мимо запретительных надписей.

Довольно странно, конечно, ехать по вольным просторам в духе шишкинского хлебного раздолья с соснами и ждать, что тебя нагонят, схватят. С одной стороны тебя теснит государство, большой брат, с другой — частный капитал. Вот почему большинство анархистов предавали анафеме частную собственность. В частной собственности и вызревает монстр государства. Но все же раньше и сейчас в государственных лесах и полях не хватало и не хватают странников.

В полях только птицы перелетали, дорога была абсолютно пустынной, и я ехал дальше, приближаясь к храму. И это оказался новодел из пластика, часовня. Рядом двухэтажный дом, то ли общежитие для тружеников полей, то ли гостиница. Все опрятно,

и никого нигде. Внизу озеро, там кричат журавли. А мне издали и этот дом, и часовня представились каким-то монастырем.

Повернул и поехал назад. Через некоторое время свернул к хутору набрать воды и разговорился с его хозяином, белорусом, уехавшим после Чернобыля сюда лечить заболевшего сына... Но ни свежий воздух, ни рыбалка — ничего не спасло паренька, в шестнадцать лет он умер. Этот мужик сказал, что все земли вокруг принадлежат московской компании, а часовенка — грехи замаливать.

И все же должен признать, что рука хозяйская здесь крепкая. Любо-дорого посмотреть на ухоженные поля.

Среди полей я и заночевал, в рощице, возле задичалой яблоньки, к которой ночью выходил дикий зверь, да не один, с детенышами, и утром я определил, что была здесь медведица. О ней меня предупреждал и Женя, хозяин хутора.

Только сварил кашу, поел и, стоя в тени осинки, допивал чай, как неслышно появился узик, в нем парни в камуфляже, едут, озираются... Охрана. Я замер с кружкой в тени. И они проехали мимо, уперлись в речушку, повернули, снова мимо проехали и исчезли среди хлебов. Хорошо, что костер уже загас.

В полях летали с криками журавли.

По проселочным дорогам я вернулся на трассу и покатил дальше. Мимо то и дело шли грузовики с зерном, лесом. В полях пылили комбайны... Великая и могучая страна.

В Сычевке выехал на пыльную дорогу, ведущую к истоку, и ехал по ней целый день, глотая пыль, — меня обгоняли автомобили и грузовики. Дорогу латали мужики в оранжевых жилетках, касках. Пыхтели бульдозеры, дорогу ровняли катками. Во всем чувствовалась спешка. Меня обгоняли и полицейские машины.

Где же лес летописный?

Всюду были поля, перерезанные рощами. А лес серо зеленел в хмурости где-то далеко.

Проехал мимо деревни Бехтеево, где давным-давно работал в школе сразу после института мой старший брат Игорь.

Наконец в деревне Бочарово, куда в былые времена прилетали пассажирские «кукурузники», разговорился со стариком в новеньких брючках, в светлой рубашке и шляпе. И узнал, в чем дело, из-за чего сыр-бор: Путин едет.

Зачем?

Он пожал плечами.

— Да вроде что-то открывать там будут, церву, что ли... А с ним и патриарх.

Валя — так он отрекомендовался — каких только марок автомобилей не увидел здесь, пока стоит, дожидается хлебовозки, сегодня она прибывает в их деревню.

— Ты тоже едешь на Путина посмотреть? — с усмешкой поинтересовался он.

— Нет, на исток Днепра.

— Тю! Чего на него глядеть! Ну, ямка там с водой, и все.

Валя махнул жилистой, разбитой долгими сельскими трудами шоферской рукой с выцветшей наколкой.

Но я ему не поверил.

## 2

Впереди лежал Кайлас с Днепром, наша русская Меру, или Сумеру, как древние еще называли эту мифическую гору, то есть Благая Меру. О ней пишет и монах Сюаньцзан: «Посреди Великого океана на золотом колесе покоится гора Сумеру, составленная из четырех драгоценностей, озаренная солнцем и луной, которые ходят вокруг нее, и на ней обитают боги. Семь гор возвышаются вокруг нее, семь морей размещаются вокруг

нее, и это горное пространство и воды этих морей наделены восемью благородными качествами. За пределами семи золотых гор находится соленое море, и в середине этого моря — обитаемый мир...»<sup>2</sup>

Я уже нашел его книгу и с наслаждением прочитал, черкая всюду карандашом. Ничего нет лучше, чем путешествие за книгой. Этот монах, живший в столичном китайском Чанъане в VII веке, увидел сон, который истолковал как повеление идти на запад от столицы — в Индию за книгой. Он и пошел. Хотя разрешения и не получил от императора. Да вот какова страсть к книгам и Будде. Начальник погранзаставы пропустил его. Интересно, конечно, почему. Может, был правоверным буддистом. И монах шел через Гоби, Тянь-Шань, царства Средней Азии и дальше на Памир, а оттуда в Балх, Бамиан, где лицезрел величественные статуи Будды, вырубленные в скалах и еще не уничтоженные современными нам варварами-талибами, дальше в Джелалабад, а там уже начиналась Индия... Семнадцать лет длилось его путешествие. Он учился в буддийских монастырях, омывался водами Инда и Ганга, созерцал древо Будды и многие иные святыни не только буддийские, но и индуистские. И вернулся не с одной, а с более чем полутысячей книг на санскрите. Но все-таки о своем путешествии он рассказал в одной книге «Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан», известной ныне как «Путешествие на запад». А для привезенных текстов была сооружена пятиярусная ступа «Большая пагода диких гусей» в монастыре.

Узнав об этом монахе, я дивился его судьбе и завидовал ему. И путешествие его стало для меня эталоном, камертоном. Если и отправляться в путь, то только за книгой. Пусть для нее и не построят ни большую пагоду, ни малую. И, возможно, даже не опубликуют. Но что-то же с книгой в конце концов произойдет? А главное, в пути за ней.

...Отметил в его книге и эту запись о горе Сумеру, уже зная, что мне предстоит паломничество на Валдай. Сумеру — центр вселенной индуизма и буддизма. Валдай — центр русского мира. Интересно, кстати, что Сумеру, по представлениям древних, находится где-то на севере и даже прямо под Полярной звездой. И Ганга, падая с Полярной звезды, ударяется о вершину Сумеру и, растекаясь на четыре рукава, устремляется в благословенную Индию.

Я ждал лицезреть падение Днепра на благословенную Русь.

Правда, определить, что дорога вьется по южному склону Валдая, было очень трудно. Никаких высот. Лес, подступивший наконец к дороге, часто был заболоченным. Посреди кочек и воды торчали совершенно голые деревья, серые мрачные скелеты Оковского леса. Над ними пролетали вороны.

...А мимо меня пролетали сверкающие американские, японские, немецкие автомобили с российскими номерами. И я уже жалел, что избрал этот путь для достижения моей заветной цели. И воспоминания о монахе Сюаньцзане, о Несторе-летописце не могли скрасить этой действительности. Да, еще и свидетельство Герберштейна, дипломата Римской Священной империи, долго жившего у нас в XVI веке и потом написавшего «Записки о Московии», в которых есть и упоминание этого леса, из которого вытекают четыре реки: Волга, Днепр, Западная Двина и Ловать. Он его называет Волконским лесом.

Нет, настроиться на древнюю и даже средневековую волну не получалось.

Но колеса безжалостно несли меня к истоку. И я уже видел автомобили и бревенчатые стены монастыря, маковку деревянной церкви с крестом.

Подъехал к стене из золотистых свежих сосновых бревен, прислонил велосипед с тяжелым рюкзаком к этим бревнам, утер испарину, выпил из фляжки воды, вытащил фотоаппарат и вошел в ворота.

<sup>2</sup> Сюаньцзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2012, с. 32.

Всюду суетились люди, какие-то клерки в синих костюмах и белых рубашках, при галстуках и без них, полицейские в белых рубашках, от сержантов до подполковников. Туда-сюда бегали какие-то распорядители. Монахов что-то не было видно. У добротных домов из тех же золотистых бревен возились рабочие, по виду таджики и вроде молдаване. Я с ними потом поговорил, и оказалось, что прав в предположении наполовину: да, таджики и украинцы, гастарбайтеры. Они строили тут монастырь, все расчищали, сажали деревья и так далее. Вот так-то. Сюда не пожаловали, например, патриотичные «Ночные волки» волонтерами или те люди, что хором поют в Москве о понаехавших, мешающих думать по-русски, говорить по-русски и верить по-русски, не решились взять в руки лопаты и топоры тотальные критики Украины, коих после четырнадцатого года на Руси пруд пруди, — оно, конечно, шариковая ручка полегче лопаты, и даже не ручка, а клавиши компьютера: сиди и шлепай, вопи о засилье вражеского элемента. А ведь дело-то какое: монастырь на истоке великой реки. Но не захотели патриотичные волонтеры приложить к этому руку. Или две руки. Гастарбайтеры с метлами в столице, а в глуши — с топорами.

Гудели бульдозеры, дым стоял коромыслом.

Молодой полицейский отчитывался по мобильнику перед начальством, соглашался, что надо откуда-то еще одного бойца снять, но тут же просительно сообщал, что у него труп — мотоциклист разбился в Карманове. А это, кстати, далеко отсюда, под Гагарином, если только и под Сычевкой нет Карманова. И как раз подъехала делегация высоких церковных иерархов из Москвы, как я понял. Важные лица, густые бороды, длинные рясы, высокие головные уборы, черные и белые. Делегация все осматривала. Степенно обсуждали, кто где будет стоять, кто куда пройдет и так далее.

На странника с обветренным, обожженным дорожным солнцем лицом в пропотелой футболке, брезентовых штанах и солдатском выгоревшем кепи никто и внимания не обращал. Хотя нет, один полицейский чин цепко взглянул на меня — и отпустил взглядом. Вообще-то, сюда и сейчас подъезжали паломники на автомобилях. Шли, озираясь, через монастырь, фотографировали.

Направился и я за ними — через деревянную колокольню, поставленную такими воротами на пути к истоку.

Дождавшись, когда толпа уйдет, я пошел прямо к часовенке, стоящей на истоке, и внутри увидел колодец, а в нем мутноватое око воды.

Днепр!

Исток!

Вот он весь здесь, в купели и рядом в болотце с травами, Днепр—Славутич с его веками и войнами, свершениями и напастями, ладьями, лодчонками и людьми, солдатами, иноками, пастухами, идолами, городами, крепостями, иконами. Чаша истории с неисповедимой глубиной. Начало Руси — здесь, в чаше Днепра. А еще в чаше Волги и в чаше Двины. Три эти чаши и есть Русь. Но чаша Днепра исторически полнее, в ней отражаются силуэты всей Киевской Руси. И поход Вещего Олега из Новгорода, после которого и встала Киевская Русь во всей силе. И походы русичей на Царьград, и смерть Святослава с дружиной на порогах днепровских от стрел и мечей печенежских. И, наконец, торжественное плавание деревянного сереброголового и златоусого Перуна, а там и плавные очертания первых церквей. И восхождение вечных Книг — по самому Днепру и по всем его притокам и до Смоленска, под которым и обнаружена самая древняя русская надпись: «Гороухща». А значит, и все последующие записанные слова: от «О Бояне, соловию старого времени!» до «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».

...Но сюда уже шли менеджеры в синих костюмах, полицейские, священники, и я заторопился выйти, зачерпнул из широкой воды у стоп часовенки, омыл лицо и пошел назад.

Велосипед мой так и стоял, никем не тронутый, и я оседлал этого зеленого коня, мимолетно вспомнив, что таков же был цвет лошади у одного гасконца, и поехал.

### 3

Лагерь я устроил под монастырем, рядом с лесной дорогой в ельнике, с двух-трех сторон окруженном огромными то ли воронками от авиабомб, то ли капонирами для техники, заполненными настоявшейся на палой листве черной дегтярной водой. В этих местах шли затяжные бои с фашистами. Черной водой я умывался, ополаскивал ею котелки, кружку. Земля вокруг была какая-то корявая, твердая, с торчащими железными прутьями в неожиданных местах — железная земля сычевская. Лес тоже был ей под стать, какой-то немного ржавый, угрюмый, непролазный, протараненный тракторами. Неподалеку проходит газопровод Ямал—Западная Европа. Назвать его летописным как-то язык не проворачивался... Да и устал я порядком. Сварил кашу, вскипятил питьевую воду — ее мне набрал в пятилитровую канистру один рабочий, меланхолично подметавший деревянные мостки, пока я ходил смотреть на исток — и насыпал в котелок чая, поужинал и быстрее залез в палатку, вытянул гудящие ноги. Наконец-то!..

И никакой лесной тишины, ни голосов птиц и зверей, а то и кличей дива, — куда там! Лес был наполнен шумом авральных работ. Ну, это ведь обычное дело, аврал, что в Смоленске, что в Москве, что в глуши сычевской. Путин, патриарх, то есть не Путин патриарх, а патриарх и Путин едут. Хотя между ними есть какая-то схожесть — хитрый ум в прищуре у одного и в ясном взгляде другого. Ну и вообще, того, кто долго пребывает у власти, рано или поздно так и называют — патриарх.

Прибудут они открывать мужской монастырь, построенный, оказывается, к тысячелетию преставления Владимира Крестителя, о чем я узнал из разговоров в монастыре. Надо же. И мой поход к истоку нечаянно вписался в это тысячелетие. Пожалуют они 29 августа, а пока на календаре 25-е число.

Встал рано утром, хлебнул холодного чая и, подхватив треногу и фотоаппарат, поспешил к монастырю, чтобы сфотографировать все в лучшее время, называемое у фотографов *режимное время*. Сразу вспугнул зайца. Приближаясь к часовенке с купелью, почуял сосновый крепкий дух сруба. Прежде чем приступить к фотографированию, достал длинную свечку, выправил немного ее, зажег и поставил в песок у воды. Свечку мне привезла дочка из Иерусалима, о котором я давно мечтал. Что ж, хотя бы ее глазами все увидел.

И в этот момент послышались откуда-то кличи журавлей. Глянул вверх: края облаков озарены солнцем. Журавли всегда приветствуют восход солнца скрипучими криками. А вскоре и самому захотелось что-нибудь такое пропеть: из-за деревянных монастырских шатровых крыш потек красный свет, и молодые сосны вокруг загорелись. И дивный свет обрамлял запертые врата с внутренней стороны, словно солнце в монастыре взошло.

А в воде отражался, дрожал иерусалимский огонек... Качался, как некий кораблик света, готовый пуститься в путь через болото, лесные завалы, луга, в сторону Дорогобужа, а там до Соловьевой переправы, оттуда — к Смоленску и дальше до самого Киева, потом до Черного моря, в пролив Босфор, в Мраморное море, затем в Эгейское, в Средиземное — и к берегам Земли обетованной можно доплыть... Но он оттуда и поднялся...

Помедитировать дальше помешало появление охранника. Он прошел по мосткам, ведущим от монастыря прямо к купели через молодой сосновый борок, все осматривая, в том числе и меня с треногой и фотоаппаратом. Свечку он не заметил.

Я поинтересовался, нельзя ли пройти в монастырь пофотографировать. Нет, ответил он, в восемь откроется.

— Но будет другой свет.

Он кивнул.

— Понимаю.

И не разрешил. По виду — осетин.

Вернулся в свой лагерь, запалил костер, приготовил завтрак.

Днем отправился снова в монастырь — за водой. И познакомился с временным настоятелем отцом Евфимием, небольшого роста, кареглазым, с редкими на макушке, но длинными волосами, с густой бородой, говорливым, энергичным, лет сорока. Свои обязанности он исполнял охотно, но говорил, что надеется на замену, мол, настоятелем быть здесь — это ж такой воз тащить!

— Мероприятие завершится, все разъедутся, рабочие соберут манатки, и все, гасите свет. Трактор для работы будешь вымалывать год. А печи топить? Где истопники? Тут круглые сутки догляд... И вода здесь плохая, много железа...

— А мне и лес таким показался, — заметил я.

Он взглянул на меня.

— Каким?

— Железным.

Он подумал и кивнул.

— Тут вся земля напичкана осколками.

Я спросил насчет работы истопником, мол, какие еще обязанности и будет ли бесплатная кормежка. Отец Евфимий охотно ответил, что кормежка будет, а обязанность еще — стоять на общей молитве. Я задумался...

Видя, что мысли мои бродят, отец Евфимий дал мне работу: вычерпывать сачком на длинном древке мусор из истока, а то патриарх прилетит и узреет такую хрень — тину, там, корешки.

— Заругается? — уточнил я.

Он только взглянул на меня.

Нет, тут же подумалось мне, патриарху не к лицу это, а вот патриарх-президент (не дожидаясь других, назову его так первым) может и пожурить. И я начал рьяно выуживать всякую хрень. Вскоре ко мне присоединился другой батюшка, правда, в гражданской одежде, с пластмассовым ведром. Прежде чем начать, он попросил отца Евфимия понюхать это ведро. Он его чистил «Фери». Отец Евфимий втянул воздух крупным загорелым носом. Покачал головой, поправил крест на груди.

— Воняет керосином.

— Эх, так и не перебил, — горестно ответил близорукий батюшка. Но все-таки зачерпнул воды из купели, и от ведра сразу пошли разводы, да и муть взвилась со дна. А хотели по цепочке передавать это ведро с мусором и выливать. Я еще некоторое время повылавливал хрень...

— Да ладно! — сказал отец Евфимий и махнул рукой.

Мы все втроем облокотились на перила и уставились на широкую канаву, вырытую, оказывается, бульдозером специально к торжеству. А так-то здесь была болотина.

— Великая река! — воскликнул отец Евфимий то ли серьезно, то ли шутя.

— И нам нужно расширить, — откликнулся второй, рыжевато-блондинистый, близорукий, широкоскулый, с редкой бородкой. Очки он пока снял.

Отец Евфимий посмотрел на него сбоку.

— Чего? — не понял он.

Отец Безымянный кивнул на канаву: «Величие».

В таком духе они еще долго перекидывались фразами, посмеиваясь в усы и бороды. И я вдруг почувствовал себя корреспондентом молодежной газеты «Смена», приехавшим в стройотряд для интервью у комсомольских вожаков... Только вожаки что-то больно волосаты были. Да я и сам оброс. В те-то времена чисто брился. А вот — надоело.

— Самые бездарные люди на сем белом свете кто? — вопрошал отец Евфимий.

Мы не отвечали, ждали разгадки.

Отец Евфимий поднял палец вверх. Мы смотрели.

— Дорожные рабочие. Почему? А вот я им трындел, чтобы засыпали песком грязь у купели, и что они сделали? Засыпали и всем стадом тут же втоптали песок в грязь. Ну? Гляньте, там как будто коровий выгон.

Мы посмотрели. Действительно, вид был неприглядный.

— И патриарх, — продолжал отец Евфимий, — прилетит, станет здесь — и что он узреет?

— А он прилетит? — спросил я.

Оба батюшки воззрились на меня.

— А как же.

Я замялся. Просто никогда не видел патриарха в такой глуши и не знаю, каким способом он обычно прибывает, по земле или по воздуху. Итак, патриарх, значит, по воздуху. А Путин?

— А президент? — спросил снова я.

— Не прилетит, — жестко откликнулся отец Евфимий. — У меня точная инфа.

Я так и думал почему-то...

— А ты служил? — спросил я.

Отец Евфимий первый перешел на «ты» еще раньше.

О. Евфимий слегка усмехнулся.

— Ну, допустим.

— Не напоминает тебе все это армию?

— Когда красят листву к приезду генерала? — переспросил отец Евфимий. — Ну да, похоже. А что ж... Мы тоже своего рода воинство. А вообще, это момент политический. Вон украинцы бают, что весь Днепр их, что это они всю Русь крестили, они настоящие русские.

— Как это? — переспросил близорукий батюшка.

Отец Евфимий развел руками в широких рукавах рясы.

— А вот так. Истинные преемники древнерусского государства.

— А мы кто? — продолжал недоумевать тот батюшка.

— Самозванцы, наверное, — предположил я. — Украине принадлежит пятьдесят семь процентов Днепра.

— А нам? — спросил отец Евфимий.

— Двадцать.

— Куда же остальное подевалось? — удивленно спросил отец Безымянный, близоруко шурясь, и тут же ударил себя по лбу. — Да белорусам же!

Мы продолжали болтать в том же духе. Потом я отправился восвояси с полной канистрой. Обедая в своем скиту, думал о монастыре, о том, что можно какое-то время здесь потрудиться истопником. Денег не платят, но кормят. Ночлег дают. Но неужели отец Евфимий в самом деле не хочет быть настоятелем этого монастыря? Монастырь же не где-нибудь, а на истоке Днепра, сюда взошло имя Владимира Крестителя, и монастырь стал Свято-Владимирским. В этакой-то глухомани монастырь может стать



истинным центром духовной жизни. Сюда едут и едут любопытствующие туристы. А молитвы уходят по воде в корабликах света на полмира. Днепр — четвертая река Европы, длина его две тысячи с лишним километров...

Ночью шел дождь.

#### 4

Устроился у костра пить кофе и увидел белку, она соскочила с дерева и прыжками приближалась ко мне, приседая, складывая лапки и косясь на меня своими карими бусинами. На ум мне сразу пришло безумное чаепитие из «Алисы в стране чудес». Правда, здесь — кофепитие и нет Алисы и прочих персонажей... Кто там был? Мартовский Заяц там точно был, его изобразили в таком цилиндре. И Мышь-Соня. Белка эта и напомнила ее. Но кажется, не на Зайце был цилиндр, а... на Болванщике. Этот персонаж совсем не болван. Он шляпник. А шляпы надевают на болванки. Так кажется. Этот персонаж хотел каким-то образом остановить или даже вообще ликвидировать Время. И Червонная Королева приказала его лишить болванки, сиречь — обезглавить. Как же он пытался остановить Время? Да, вроде он пел какую-то песенку. Наверное, тут просто ирония, он, видимо, пел так, что нагнал на всех тоску, вот Королева и взбеленилась. И Время остановило себя для Болванщика и почему-то для Мартовского Зайца — на скольких-то часах.

Белка-Соня остановилась. Ну же, я не собираюсь засовывать тебя, как Болванщик с Мартовским Зайцем, в чайник, то бишь в котелок. Не настолько я безумен... Я хотел угостить белку сухариком, но не успел, что-то испугало ее, и она круто повернула и ускакала прочь, вознеслась на дерево, перепрыгнула на другое.

А я припоминал, что Болванщик получил свое имя по поговорке: безумен как болванщик. То есть шляпник. Фетровые шляпы выдерживали в ртути, и ртутные испарения сказывались на психике мастеров, они были застенчивы, неуверенны, молчаливы, старались оставаться незамеченными. Этот Болванщик-то был не таков. А в моем характере есть что-то от истинного болванщика, надыхавшегося ртутных паров. Есть.

Наверное, поэтому вчера я и узнавал насчет работы истопником.

А что?

Жить в этой глуши, топить печи монастыря, читать книги и, главное, собирать сведения для своей книги. Я уже задумал ее, книгу о летописном лесе трех рек.

Смоленский видный географ Шкалик Виктор Андреевич издал уже монографию «Днепр на Смоленщине» (удалось и мне поучаствовать в этом деле: несколько моих цветных фотографий Днепра есть в книге), в которой он говорит, что территория с истоком Днепра — единственная в своем роде, этот тот участок летописного Оковского леса, где ближе всего сходятся три великие реки своими притоками. Он называет эту территорию уникальным водораздельным узлом. Шкалик и обосновал создание здесь ландшафтного заказника, особо охраняемой земли. Вот этот водораздельный узел в названиях рек: Днепр, Днепрец, Жердь; Обша, Вязовец, Черногрязка, Кремена (бассейн Западной Двины); Водливка, Ракитня, Лучеса, Яблоня Лосмина (бассейн Волги). То есть — это тот Оковский лес, о котором и сообщал Нестор в летописи: «Днепр бо потече из Оковьскаго леса и потечет на полдъне, а Двина ис того же леса потечет, а идеть полунощье и внидеть в море Варяжское. Ис того же леса потечет Волга на вьсток».

Но все же как-то трудно назвать окружающий меня лес летописным, не хватает толики безумия английского шляпника.

Как мне нравится вступление из книги Шкаликова к главе «Леса водосбора Днепра», в котором он говорит, что Смоленщина к моменту заселения ее человеком была сплошь покрыта лесом. И это были еловые, сосновые, дубовые и ольховые леса. И так было

до XVIII века, эту эпоху можно назвать господством леса. А потом всюду зазвучал некрасовский топор дровосека. По результатам генерального межевания земель в 1776—1778 годах лесом более пятидесяти процентов было покрыто земель лишь в одном Ельнинском уезде, в остальных — менее пятидесяти. И в Сычевском уезде самая маленькая цифра — 21,8.

Что это значит? Да простую истину: Оковский лес почти весь вырубил, ведь именно здесь и начинается Днепр. Шкаликов и пишет, что в Сычевском уезде коренные леса к концу XVIII века были практически истреблены<sup>3</sup>. Вместо них возникали луга, пашни, пастбища, а если эти земли оставляли без присмотра, то там поднимались мелколиственные леса из березы и осины. То есть — хмызник... Посреди которого я и сижу сейчас.

«Лес рубили в основном для собственных нужд; рубили также и на продажу. За пределы губернии его сплавляли по Днепру, а после строительства железной дороги возили, используя в основном этот вид транспорта. По Днепру во второй половине этого века сплавляли леса меньше, чем по некоторым рекам северо-запада губернии, например, Обше, Меже, так как вдоль Днепра и основных его притоков лес был вырублен раньше на значительной площади»<sup>4</sup>.

Лес рубили, пока не спохватились: да так Средняя Россия скоро и станет Средней Азией с ее степями и песками. И был принят закон в 1888 году: «О сбережении лесов». Определялись так называемые защитные леса в водоохраных зонах.

В начале XX века залесенность губернии составляла уже только 24 процента, а залесенность водосбора Днепра и того меньше — 20 процентов. Леса обычно задерживают снеготаяние, а при их отсутствии и случаются весенние наводнения, которое и затопило Смоленск в 1908 году. Уровень воды в Днепре поднялся на 11 метров. Москву тогда тоже затопило.

Ну, а в летнее время наблюдалось обмеление верховьев «многих рек, в том числе и Днепра, в истоке которого леса не было и землю распахивали во многих местах до уреза воды»<sup>5</sup>.

В тридцатых годах прошлого века залесенность области составляла уже 18 процентов<sup>6</sup>.

Перед Великой Отечественной войной правительство издало положение о водоохраных лесах и о переносе основных лесозаготовок в неосвоенные массивы Севера и Сибири. Предполагалось восстановление лесов. Но началась война.

«В годы Великой Отечественной войны лесам области был нанесен значительный урон. Лес рубили не только для военных нужд, потребностей транспорта. Значительная часть средневозрастных, припевающих и спелых насаждений была вырублена и вывезена в Германию. Рубили не только лес, но и сады, и парки. Были вырублены многие лесные дачи»<sup>7</sup>.

Германия, верни русский лес... Вот уж поистине глас вопиющего в пустыне.

На месте лесов поднимался бурьян. О таком бурьяне и писал Александр Твардовский в послевоенном очерке «В родных местах» о поездке в Загорье: «Больших лесов уже давно не было, а стояли, как у нас говорят, кормельки, откуда были и дрова, и жердь, и бревно на холодную и даже теплую постройку. Эти небольшие островки леса, разбросанные по взгорьям и разделенные где проезжей дорогой, где заболоченной лужайкой, где пахотным полем, очень украшали местность. Теперь этих кормельков нет, а вместо них пошло, как говорится, всякое лихо...»

<sup>3</sup> В. А. Шкаликов. Днепр на Смоленщине. Смоленск: Маджента, 2014, с. 43.

<sup>4</sup> Там же, с. 44.

<sup>5</sup> Там же, с. 46.

<sup>6</sup> Там же, с. 140.

<sup>7</sup> Там же, с. 47.

Вот в пустыню непролазного волчьего мелколесья и забрался сейчас я.

Уезжать отсюда мне не хотелось. Столько лет грезил об этих местах, плясая на карту, прикидывая, не долететь ли на самолете, потом пытался подняться на байдарке, еще была попытка доехать на велосипеде, но тогда я совершил ошибку, пустился в путь по проселочным дорогам и начал колесить по Доброминским лесам, выбирая дорогу, свободную от упавших деревьев. Но приходилось зачастую продираться по мелколесью заброшенных просек, перегороженных шлагбаумами, — это было безумство, шлагбаумы через каждые два-три метра, то есть упавшие деревья. Потом и вовсе шел по пояс в воде, ведя тяжелый велосипед по утонувшему проселку, вода высокая стояла после затяжных дождей и весеннего половодья. Но главное — меня преследовала всюду лупоглазая орда слепней, их было так много, что издали моя голова наверняка представляла собой гигантский шар. И я вернулся.

Целую неделю я ехал вверх по луговым и лесным дорогам и тропинкам вдоль Днепра, а вернулся за один день по Старой Смоленской дороге.

Как раз неделя ушла у меня и сейчас, пятнадцать лет спустя, чтобы доехать до истока Днепра. И я неспроста выбрал конец августа: во второй половине этого месяца бесповоротно заканчивается время слепней.

Но начинается время лосиных клещей. Что, читатель, ты не знаешь, о чем речь? О мерзких тварях с крылышками, летающих с еловых ветвей и облепляющих руки, шею, лицо, лезущих за шиворот, в ноздри, в бороду. Этого кровососа еще называют лосиной мухой, оленьей кровосоской, лосиной вошью. Но это не настоящий клещ. Этот кровосос не сразу приступает к делу, а чаще выжидает несколько минут, так что ко мне они ни разу не присасывались, а бесславно погибали, хотя и успевали досадить шебуршением своих цепких лапок.

Нет, Пушкин прав, прав. И древнекитайский поэт Лю Юйси:

С древности самой встречали осень  
скукою и печалью.  
Я же скажу, что осени время  
лучше поры весенней...

Дальше о башне, на которую хорошо взобраться, чтобы обозревать чистые ясные дали...

Башни здесь нету. Но есть монастырь с деревянной церковью. Оттуда тоже открываются горизонты, хотя и совсем иные. Пространство церкви переходит в пространство духовное. На самом деле цель настоящего путешествия именно в таком переходе и заключается.

И мне захотелось сделать этот переход радикальным.

## 5

...Побывал возле деревни Дудкино, было бы странно не сделать этого. И вот я подъехал налегке на велосипеде к этой деревне, чтобы сопоставить ее вид с тем, который представлялся мне при взгляде на карту лет сорок с лишним назад. На повороте проселочной дороги в колдобинах, на обочине серел в травах дот. Я залез в него и обозрел в амбразуры окрестности. Дот был похож на саркофаг. Бей врага и умри. Что чаще всего и происходило. Дот окружали, в конце концов, и закидывали гранатами, обливали бензином, подкладывали взрывчатку под амбразуры. При попадании снаряда или бомбы стрелки глохли, контуженные, или получали травмы внутренностей.

Словом, из башни смерти я вылез, согнувшись в три погибели, и с огромным облегчением подставил лицо под морозящий дождик, вздохнул всей грудью. Бои там шли упорные.

Шкаликов пишет, что противотанковые рвы в истоке Днепра серьезно влияют на гидрологический режим: «Здесь, у самого начала Днепра и на его водосборе, была оборудована мощная полоса обороны, включающая доты, ряды траншей и глубокие противотанковые рвы, прорытые на значительном расстоянии. Последние пересекали водораздел, проходили возле Аксеновского болота, подходили к руслу водотока с обеих сторон ниже его истока. Рвы способствовали перераспределению стока, переводу поверхностного стока в подземный. На значительном протяжении они сохранились до настоящего времени, несомненно, оказывая влияние на гидрологический режим данной территории. В отдельных местах они перехватывают поверхностные воды, поступавшие прежде в русло реки с обширной территории. Один из таких рвов проходит параллельно руслу реки, выполняя функции нагорно-ловчего канала. Наличие противотанковых рвов повлияло на приток вод в Днепр с Аксеновского болота»<sup>8</sup>.

Жесткая сычевская земля изборождена шрамами. И они до сих пор живые. Живая израненная земля.

В октябре сорок первого Дудкино переходило из рук в руки. Немцы давили танками и артиллерией. 9 октября немцы предприняли две атаки, но откатывались, неся большие потери. И только третья атака увенчалась успехом. Они заняли Дудкино. Но в ночь с десятого на одиннадцатое наши батальоны сумели вернуть Дудкино и еще одну деревню.

«10 и 11 октября врагу, имевшему пяти-шестикратное превосходство, удалось потеснить 634-й стрелковый полк дивизии и овладеть деревнями Дудкино и Бахметово. Ночью третий батальон полка контратаковал противника и выбил его из этих деревень. В этом бою геройской смертью погиб комбат Иванов», — написано в сборнике «Рубеж великой битвы»<sup>9</sup>.

Жар этих боев так и не остыл на бетонных осыпавшихся стенах дота с обнажившейся металлической арматурой.

...Низко плыли тучи над осинами, березами, ольховыми джунглями. Уныло желтела пижма. Ответвление от прямого проселка привело меня к Дудкино.

Заброшенные дома, одичавшие сады за плетнями, клены, березы, слева колодец под яблоней. Колодец дряхлый, вода тухлая. Яблочко попробовал и выплюнул.

Нет, совсем не таким я воображал Дудкино. Вспоминаю... Да, мне казалось, что стоит деревня на вольном рериховском, пестром от цветов и берез холме и рядом холм в соснах и елках, а между ними и течет узкий и чистый Днепр.

Прошел еще дальше и вдруг увидел на самом краю жилой дом, да с телефоном-автоматом, синим вагончиком. Читал где-то, что тут останавливаются обходчики газопровода, а в доме живет баба Зина и никуда не желает переселяться.

Тревожить ее я не стал, повернул назад.

## 6

А под вечер отправился из моего скита в монастырь за водой. Шел лесной дорогой и все путался в каких-то дурацких липучих мыслях... О чем? Да обо всем, о своей нестроенности в такие-то годы — а мне уже перевалило за полсотни лет, — о литературных критиках, об издателях, журналах. Ну, у какого литератора нет этого стада пар-

<sup>8</sup> В. А. Шкаликов, Днепр на Смоленщине. Смоленск: Маджента, 2014, с. 67, 68.

<sup>9</sup> М. И. Щедрин. 31-я армия в боях за Калинин, [http://militera.lib.ru/memo/russian/sb\\_rubezh\\_velikoy\\_bitvy/05.html](http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_rubezh_velikoy_bitvy/05.html).

шивых козлищ, брыкающихся, косящих желтые глаза, трескуче блеющих, мотающих рогами и бородами, роющих землю. Они тебя настигнут всюду, в любой глуши. Да они всегда с тобой. Ты ходишь как пастырь своих обид, мелких тревог, несусветных желаний. Ну, например, неплохо бы получить Нобеля или хотя бы международно-го Букера. И что тогда? Раздать долги. Купить все книги, о которых мечтал. И отправиться в путешествие. Куда? Конечно, на запад — на запад от Китая, а дальше на юг, по стопам Сюаньцзана. Ну и мысли помельче, жалобы на полунищенскую жизнь провинциального литератора и так далее.

Наконец мне это надоело. Довольно, сказал я себе, очистись, идя на чистый исток. Ведь в этом и заключается смысл любого паломничества: в дороге путник оставляет позади все ненужное, несуразное, весь хлам своей души. Как пелось в древнеиндийских Брахманах: «Избавляется он ото всех грехов, / Смытых потом его странствий. / Странствуй же!»

И я попытался очиститься и настроиться.

Как-то не получалось...

Я переложил канистру в другую руку.

Начал читать «Отче наш». Правду сказать, эту молитву я выучил недавно, в другом велосипедном походе, из Смоленска в Новоспасское Глинки. Написал на листке молитву и потом весь поход ее читал по утрам и вечерами у костра, на окраине колосащегося хлебного поля, в лесу на Десне поблизости от имения великого композитора. И выучил. И теперь в сих словах мерцают отзвуки музыки Глинки, вьюжно-жаркая увертюра к «Руслану и Людмиле».

...И только я начал чтение на дороге к монастырю, как откуда-то из-под обочины, из кустов рванулся с хрюканьем черный кабан. Сиречь — дикая свинья. Евангельские свиньи тут же пришли мне на ум.

Совпадение? Но Карл Юнг призывал к таким совпадениям относиться серьезно. Он это явление называл синхронистичностью. В своей работе, так и озаглавленной, среди других любопытных фактов он приводит следующий:

«Писатель Вильгельм фон Штольц собрал большое количество историй о странном возвращении утерянных или украденных предметов к своим хозяевам. Среди прочих у него есть история о женщине, сфотографировавшей своего маленького сына в Черном Лесу. Она оставила пленку в Страсбурге для проявки. Но началась война, она не могла ее забрать и смирилась с этой потерей. В 1917 г. во Франкфурте она купила пленку, чтобы сфотографировать свою дочь, которую родила за это время. Когда пленка была проявлена, выяснилось, что она уже использовалась: под фотографией дочери была фотография сына, сделанная в 1914 г.! Старая пленка не была проявлена и каким-то образом вновь поступила в продажу вместе с новыми пленками. Автор приходит к ожидаемому выводу, что все здесь указывает на „взаимное притяжение связанных друг с другом объектов“ или на „избирательное родство“. Он предполагает, что эти происшествия выглядят так, словно являются сновидением „более масштабного и более обширного сознания, которое непознаваемо“».

Юнг связывал феномен одновременности или синхронистичности с архетипами.

То есть, как он говорил, смысловые совпадения объясняются архетипической основой. Словом, в определенные моменты происходит прорыв архетипического, это можно сравнить с внезапным дождем или ударом ветра — из области пребывания архетипов, изначальных форм, образов. Где эта область находится, неизвестно и непонятно. По-видимому, тут же, рядом с нами, раз это коллективное бессознательное. То есть, как я понимаю, это такое «облако», окутывающее нас. И временами мы его задеваем своей возрастающей чувствительностью, и тогда *искрит*.

В таком состоянии повышенной психической активности я и находился, шагая по проселку...

Но откуда взялся, черт побери, этот черный кабан?! Господин Юнг! Он-то не из этого облака коллективного бессознательного вывалился с хрюканьем? Это был вполне реальный, живой, черный, стремительный зверь, с треском бегущий по лесу.

Допустим, я зацепил антенной своих горячих помыслов высоковольтный провод архетипов. Заискрило. И как же это событие могло подготовить бросок кабана? Либо я предчувствовал его появление? Или, если отталкиваться от метафоры Штольца, сравнившего такое явление со сновидением, все здесь было, как в классическом примере одного французского сна, который приводит в своей работе «Иконостас» Павел Флоренский? Суть такова. Одному французскому приснились события времен французской революции, он был участником разных приключений. И в конце концов его приговорили к смертной казни и казнили: отсекали гильотиной голову. И в этот момент он проснулся от удара упавшего металлического прута, почему-то отсоединившегося от спинки кровати. То есть весь сон был результатом удара этой штуки. Время сна — обратное. Из будущего в прошлое. Что я хочу сказать? Что мои все суетные мысли и были мгновенным порождением встречи с кабаном? Нет, не суетные мысли, все же с ними я боролся не одну минуту. Не они, а как раз всплеск неприятия этих помыслов. Вот он и совпал с броском кабана. То есть: бросок кабана и породил этот всплеск и сверкнувшую догадку о евангельских свиньях.

Но «Отче наш» я начал читать раньше кабаньего броска. А как быть с этим совпадением?

Из этого тупика можно выйти только двумя путями: обычным, объяснив все случайным совпадением, и другим, который предлагает Флоренский: «Молитвы — это не абстракция, это живое общение».

Вот такое живое общение и случилось у меня на той лесной дороге к монастырю. Я выбираю этот путь для выхода из тупика.

С яростно убегающим кабаном что-то совпало в моей душе. И я испытал чувство освобождения. Остается только сожалеть, что оно не длилось вечно. Но миг был ярким и впечатляющим. И хотя бы ради таких прорывов стоит повторять изо дня в день слова простой молитвы.

Для материалиста этот случай лишь забавное совпадения, для верующего — опыт духовной жизни.

В деревянном храме шла служба. Прежде чем подняться туда, я набрал у поливальщика лужаек воды в канистру. В это время по ступенькам спустилась черноглазая женщина в платке с девочкой и вдруг направилась ко мне.

— Вы не Валера?

Выяснилось, что два месяца назад москвич Валера отправился из Дудкина на тракторе с байдаркой на речку Обшу, чтобы сплавиться в Межу, а по ней — в Западную Двину. И пропал. С тех пор о нем ни слуху ни духу. А я на дороге возле Дудкина и вспоминал как раз о своем неудавшемся путешествии по такому же маршруту. Только я собирался не на тракторе, а на тележке везти снаряжение, байдарку. И вот, едучи на велосипеде по колдобинам и лужам, думал, что этот переход с грузом длился бы не пар тройку дней, а значительно больше.

Что же стряслось с этим Валерой?

Тут есть медведи. Но одиночку в походе поджидают и другие опасности. Случайный — или нет — выстрел горе-охотника-браконьера. Молния. Падение дерева. Тут мне вспоминается один эпизод из великой книги Гамсуна «Соки земли». Шел по лесу некий персонаж и вдруг услышал стоны. Приблизился, а под рухнувшим деревом лежит крестьянин, его знакомый, с которым у них нет ладу, и даже их можно назвать недругами. Поверженный просит его спасти, подсунуть под ствол рычаг из крепкого дерева и чуть приподнять. Но нашедший его не спешит... Да так и уходит, не оказав ему помощи. Правда, этого несчастного все-таки спасли другие люди.

Но угрозы леса все же не идут в сравнение с угрозами даже и небольшого города, уже не говорю о крупном промышленном центре. На городских дорогах идет настоящая война автомобилистов и пешеходов. И пешеходы гибнут пачками. Война безжалостная, тут не щадят ни детей, ни стариков, никого. И самое любопытное, что государство не предпринимает настоящих мер по замирению в этой войне. Как будто не хватает воли. На все хватает: на поддержку сепаратистов в разных странах, на жестокий разгон демонстраций, на увеличение зарплат чиновникам, на бессовестные суды, на увеличение цен на бензин и все прочее, на посягательство на пенсии — словом, на вытягивание вертикали власти с хрустом народного хребта, а на простое ограничение скорости на дорогах — нет.

Так что в лесу рисков много меньше на самом деле. И государства почти нет. Как же не любить странствия?

Странствуй! Странствуй же, сказал мне брахман.

Служба в деревянном храме была какой-то домашней, тихой, теплой. Пахло ладаном. Свет солнца лился в открытую дверь. Люблю этот свет в церкви, это благоухание. А к нему еще добавлялся сильный дух сосны. Службу свершали монашка, монах и иеромонах Евфимий. Внимали им та женщина с девочкой, что спрашивала про Валеру, и седоватый мужик, ее муж. Монашка сбивалась иногда. Да и у отца Евфимия случались промашки. Видно, еще не приладились друг к другу, к церкви. Другой монах в зеленом наряде выносил зеленую и золотую Библию — зрелище было удивительное. В церкви мне очень по душе это поклонение Книге. Я и сам книжный человек. И мысль Малларме о том, что цель человечества есть книга, мне весьма по нраву. Ведь и простой поход, пусть и к истоку великой реки, еще ничто в сравнении с походом за книгой. Малларме грезил о создании какой-то сверхкниги, страницы в которой будут подвижны, взаимозаменяемы. Не к такой ли книге подступался Кортасар в «Игре в классики»? Критики утверждают, что и Льюис Кэрролл мечтал о чем-то подобном.

Грешный, и я думаю о книге книг, ну, в своем масштабе, разумеется. Надо будет еще изучить опыт Малларме, уподоблявшего создание такой книги алхимическому деланию философского камня.

Хотя уже мне кажется, что и Малларме, и Кэрролл, и Кортасар, и Милорад Павич с его «Хазарским словарем», в котором даны три книги: Красная, Зеленая и Желтая, соответственно: христианский взгляд на хазарский вопрос (какую веру принять?), исламский и иудейский, — и многие другие были обречены, ибо такая книга уже есть — вот она в руках священника.

И служба свершалась тихо посреди лесов у истока Днепра. И мне мерещились гигантские переворачивающиеся страницы, эти страницы листвы, вечернего солнца, воды, страницы дорог, небес. Как же не возжелать вечного присутствия здесь, при этих страницах?

## 7

Монастырь пустел, над крышами появилась луна. Таджики все работали, посыпали песком плитку. Я разговорился с ними. Сказали, что трудятся здесь с декабря. Когда начинали, ничего, кроме храма и звонницы, не было. И вот — как по мановению — есть все: кельи, стены, трапезная, гостевая. Я им рассказал, что видел здесь много живности: кабана, белку, ласку с мышью в зубах. Они удивились, мол, надо же, мы несколько месяцев здесь, а ничего такого и не видели.

Фотографировал луну «Никоном» на треноге, когда появился отец Евфимий, позвал меня отужинать вместе со всеми в трапезной, но я отказался. Он присел на скамейку рядом, смотрел, как я фотографирую, спрашивал о моих делах. А потом вдруг начал рассказывать и о своих. Я оставил фотографирование и устроился подле него.

Батюшка оказался «чеченцем», воевал срочником в первую чеченскую. После войны поступил в сельхозакадемию в Смоленске, учился... И был внезапно призван на монашеский путь. Буквально это призвание внезапно сверкнуло в череде студенческих развеселых будней, музыки, тренировок, — а он занимался единоборствами.

«Следуй за Мною!» — зов, на который откликнулись мытарь Матфей, рыбаки. По сути, тот же призыв ослепил и Савла, и он стал истинно зряч.

Мы заговорили об этом монастыре на истоке. Евфимий согласился, что место особое, но принимать такое большое хозяйство он не хотел бы, ибо ему любя молитва, любо простое общение с братией, а настоятель прежде всего хозяйственник, ему надо все успеть, за всем досмотреть, договориться с тем-то и тем-то, приветить того-то, *баньку организовать...*

Мы взглянули друг на друга. И оба улыбнулись, поняв без пояснений абсурдность самого этого словосочетания, баньку-то топят, а не организуют.

Но такова стезя настоятеля. И это не по нем.

Мимо шла та монахиня, читавшая на службе в очках. Там она выглядела крайне суровой. А сейчас улыбнулась светло и сказала, что видела меня рано утром с фотоаппаратом, когда я сплю? Я отвечал, что свет ранний самый лучший. Она тут же согласилась. Наверное, и ранняя молитва лучше других. Встают-то на первую молитву монахи рано.

— Во сколько встают вообще монахи? — поинтересовался я, когда матушка Татьяна, пребывающая здесь временно для готовки на кухне, ушла.

— В половине шестого, — отвечал Евфимий. — А на Афоне в половине четвертого, — добавил он.

— Фотографу тоже лучше выходить до света, — сказал я.

Отец Евфимий посмотрел на меня.

— Фотографу, значит, легче будет вписаться в монастырский распорядок... Что, надумал?

Я почесал бороду...

— Все узнаешь сам, — добавил он и встал.

Мы распрощались.

Подхватив канистру, я пошел под луной из монастыря. Лесная дорога вела меня к моему лагерю. Тут меня охватили китайские ассоциации. И я почувствовал себя персонажем китайской страницы великой книги. Луна и монастыри, глухой лес, дорога... Не хватало только криков обезьян. Но вскоре я услышал тоскливое «ки-ки-ки!» коршуна.

## 8

Ночью разразилась гроза, блистали сквозь ткань палатки молнии, лупил дождь. Перед торжественным открытием монастыря мир словно бы очищался. И от наших рассуждений, плоских шуток. Мне снился какой-то песчаный карьер, некий мальчишка в кепке грубил мне, я пытался его урезонить. Он отмахивался и подступал все ближе к краю. Предостерегающе воскликнула женщина, я попытался остановить мальчишку, но он уже падал в песке, его засыпало, я бросился на выручку, женщина тоже, но ее накрыло волной песка. Женщину я сумел высвободить, и она вздохнула — задышала и улыбнулась. А мальчишка так и пропал.

Проснувшись, я принялся соображать под грохот грозы, что бы это значило. Кто такой мальчишка? Почему его засыпало? Может, это мое эго? Ну и все в таком духе. Люблю разбирать эти подарочки из тьмы бессознательного.



Может, так и надо поступить? Потопить в песке свое «я»? Отрешиться от всего, жить здесь, рубить дрова, топить печи, забыть мир литературы. Помню реплику одного сельского священника насчет книг: «Да зачем они мне? Когда есть эта Книга».

Словом, Книга уже написана, все попытки что-то добавить — тщеславны и суетны. И лучше погрузиться в ее страницы среди лесной тишины.

Я привык к одиноким лесным походам. Такие походы напоминают жизнь даже не в монастыре, а в скиту.

В «Голубиной книге» есть диалог юноши, восхотевшего пустынного житья. Пустыня там не в смысле песчаной земли, конечно, а просто пустынная земля, безлюдная.

Юноша по имени Иоасаф просит пустыню его принять, мать-пустыня возражает, напоминая, что нет у нее царской еды, нет царского питья, а вместо этого гнилая колода да болотная вода. А царевич клянется есть гнилую колоду и пить болотную воду. Тогда мать-пустыня выдвигает последний довод, мол, как придет весна, зацветет земля, запоют птички, юноша и сбежит от нее. Царевич с неистовством отвечает:

Не прельщусь я на все благовонные цветы;  
Отращу я свои власы  
По могучие плечи  
И не буду взирать я на вольное царство... — и т. д.

И пустыня его принимает, обещает золотой венец.

Нечто вроде этого венца посверкивает в даях и у каждого странника. В жизни лесной стущается сама духовность. В конце концов, многое в походе отдалается, растворяется, то, что называют белым шумом, а остается что-то главное. Что же у тебя главное? Тут, конечно, возможен и такой ответ: брюхо. Поход из квартиры представляется романтическим предприятием, да и в книгах, стихах, песнях. А на самом деле это не только любование рассветами и закатами, но прежде всего ежедневное усилие противостояния природе. Ведь природа не дремлет, то грохочет грозой, то палит солнцем. Всегда странник озабочен дорогой, ночлегом, трапезой. Костер надо разжечь и под проливным дождем. Отбиться от кровососов. Не столкнуться с ярым хищником. Да и с лихим человеком. Поставить палатку выше посреди ночи, так как разлившаяся река подтопила берег. И много еще чего.

Спорить с Эпикуром, рекшим, что брюхо есть корень всех благ, трудно. Да мы и не будем. Но добавим: корень, а не крона. Там-то в кроне и сверкает корона, сиречь венец. А ради этого можно и от брюха отречься.

Иоасаф, или Осафий по-простому, и отрекся.

Говорят, что Осафий этот до того, как стать персонажем «Голубиной книги», был Будосафом арабов, а до этого — Бодхисатвой, или Буддой, одной поэмы на санскрите, это поэма «Буддочарита» Ашвагхоши, то есть «Жизнь Будды». Наверняка текст этой поэмы был в походной библиотеке, которую вез назад в Китай мой монах Сюаньцзан.

И в русских церквях есть икона, на которой изображен Иоасаф, прототипом коего был Будда. И мне по душе такой «экуменизм» (надо взять определение в кавычки, ведь официальный экуменизм — это сближение только христианских конфессий). Как и то, что мусульмане почитают Иссу — Иисуса, Марйам — Марию, Дажбраила — Гавриила и так далее. Коран — великая книга. На самом деле Книга Земли и Неба состоит из нескольких томов, это Библия, Коран, Авеста, Трипитака, Пополь-Вух, Дао Дэ Цзин. Три из этих томов мне посчастливилось прочесть полностью и не по одному разу. Три другие лишь частично. Но надеюсь, у меня еще будет время освоить их полностью... Вот здесь, в монастыре?

Не думаю, что любому православному священнику придется по вкусу этот список. И даже не сам список, а вот рассуждения, сопровождающие его. Но апостольское «стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства»<sup>10</sup> я понимаю именно в таком смысле. И надо продолжить цитату: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью»<sup>11</sup>. То есть не ритуал главное. Ритуал что-то вроде окраски, нечто внешнее, что оформляет суть. И различные вероисповедания разнятся своею окраской. Суть же едина, и это Бог и любовь.

Но, разумеется, мне ближе и понятнее христианство.

## 9

Рано утром я снова пошел в монастырь с фотоаппаратом, треногой и канистрой. На этот раз мне удалось войти беспрепятственно внутрь, ворота были открыты, и возле них сидел и курил седой мужик в синей футболке и застиранных старых джинсах. Он меня и пропустил внутрь. И я кинулся фотографировать деревянный храм под утренней луной, звонницу, через которую ведут мостки к воротам и дальше в сосны к истоку, кельи, трапезную, деревья. Внутри все уже было озарено взошедшим солнцем. И сосновые бревна лучились. Конечно, это тоже новодел, но из дерева, и сработано все на совесть, с умом и вкусом. Одним из инициаторов строительства был смоленский губернатор Островский. Не в моей привычке хвалить власть имущих, тем более что к этому губернатору есть много претензий у меня как смолянина. Но возведение монастыря — радостное событие, не ослеп же я. И ранним утром линзы объектива отражали свеченные бревен, вспыхивали лучами солнца.

Когда я закончил и, наполнив канистру чистой водой из-под крана, прошел в ворота, то снова увидел курящего неподалеку мужика с перебитым носом, загорелой крепкой шеей, на которой темнел шнурок. Поблагодарил его. Он кивнул, пуская дым на небритые щеки. Фотографироваться наотрез отказался. Спросил меня, что за нужда все тут фотографировать, так или по работе?

Я присел рядом, и мы разговорились.

Звали мужика Михаилом, было ему чуть больше, чем мне, пятьдесят шесть.

Когда-то давным-давно отслужил он срочную...

— Отслужил срочную, — говорил глуховатым голосом курильщика Михаил, — пошел шоферить... Смотрю: все пьют, просвета нет... А тут где-то объявление о наборе в Чечню, там началась первая война. Собрал рюкзак. Мать: куда? Да так, в поход. И уехал контрактником, сел за руль «Урала», было мне тогда тридцать пять, все звали дедом.

— Слушай, так и отец Евфимий в первую чеченскую воевал.

Миша вскинулся.

— Да? ... Не знал. Не знал. Надо будет про Ханкалу у него расспросить.

— Ну и как оно — контрактником? — спросил я, заметив, что и сам нюхал порох на срочной службе в Газни.

— Как? Граната карман брюк протерла до дыр.

Ясно, контрактников чеченцы не щадили.

— Всякое случалось, — говорил Миша. — Приезжаем после обстрела в дороге, парень спрашивает, чего это там торчит? Чего? Смотрю: граната в кабине застряла, не разорвалась, передумала взрываться... Однажды по лесу идем с товарищем — навстречу бородатый. Держим мы его, и он нас. Но у нас два ствола. И тут он присмотрелся и говорит: э, да не ты ли? Тут и мне померещилось: знакомая личность. Ну, точно, устано-

<sup>10</sup> Гал. 5 : 1.

<sup>11</sup> Гал. 5 : 6.

вили: служили вместе срочную. Поговорили так на расстоянии. Че будем делать, расходимся? — он спрашивает. Да, конечно, а че еще делать? Разошлись.

Вспоминаю, что у моего тестя был похожий эпизод с немцем, только они не знали друг друга, просто поняли, что одновременно нажмут на курок, и все, победителя не будет, развернулись, как по команде, и прочь. А вот наш кэп в Газни Кравченко тоже был знаком с противником, действовавшим в округе, Саидом, они вместе в военной академии Фрунзе учились. Саид как-то на день рождения прислал кэпу приглашение. Кравченко отказался, кто знает эти восточные тонкости...

Вернувшись, Миша долго не протянул на гражданке и снова поехал на войну, еще семь месяцев колесил по военным дорогам.

— Раз погиб в ауле наш солдатик, — говорил Михаил, — аул этот окружили и снесли, и никто не показывал этого, никакие телевизионщики не приезжали.

Похожая история была и у нас... Все войны похожи.

— Но я никого не убивал! — с жаром воскликнул Михаил, вспыхнув сине глазами. — Никого. Да и не смог бы, — убежденно добавил.

Ну, а потом как обычно: водки стакан, еще один — и далее с остановками и без остановок, треш и угар поствоенной жизни у всех примерно одинаков.

Возил он одного вора в законе, а потом тот звонит ему, спрашивает, что да как и где он. Михаил отвечает: ты в тюрьме, а я напротив, через дорогу — в монастыре. Есть на Псковщине такое место. Вор в законе — по тюрьмам, а ветеран Михаил — по монастырям, хоронился за стенами от врага русской жизни — зеленого змия. В разных монастырях бывал. Но как только выходил из-под защиты — начинал битву, проигрывал и снова в монастыре спасался. Всяких людей встречал. Необычные люди к монастырям прибываются.

— Ну, теперь-то я тебя сфотографирую, — сказал я, доставая свою машинку.

Бывший солдат Михаил молча глядел в объектив.

## 10

Уезжать мне уже совсем не хотелось. Я серьезно раздумывал о жизни здесь. Истопником можно поработать осень, зиму, лето. Сколько возможностей для фотографирования! И не только монастыря и его обитателей, но и леса. Какой-никакой, а это Оковский лес.

В предстоящей жизни в монастыре меня все устраивало. Но нет, не все. Вспомнился один вроде бы незначительный эпизод. Отец Евфимий водил группу каких-то то ли чиновников, то ли туристов, показывал им все, рассказывал. Тут им повстречался Михаил. Евфимий ласково с ним поздоровался и — протянул для лобызания руку. Истопник поклонился и поцеловал.

В церковной жизни обычная сценка, да? Что тут такого...

Но ведь один «чеченец» и другой «чеченец»... И при посторонних это выглядело как-то... театрально даже.

Не знаю, во мне еще недостаточно было смирения, наверное. Мой малец еще не утонул в песках, барахтался, сквернословил, сопротивлялся.

Освящение храма намечено было на четыре часа. Время это приближалось, волнуя меня. Ну да, будет много народу, полиция, телевидение, прилетят чиновники, и, наконец, прибудет патриарх. Любой лесной отшельник от всего этого ощутил бы беспокойство, по меньшей мере. А я еще собирался всех фотографировать. Хотя вообще в походах предпочитаю держаться подальше от людей, селений и тем более от любых мероприятий.

Но будет ли солнце?

Автомобили заполнили даже мою лесную дорогу, я увидел их вскоре после выхода из лагеря. Полицейский кордон с металлоискателями находился на главной дороге перед монастырем. Все уже были в монастыре и у ворот. И полицейские с жадностью воззрились на фигуру странника в болотных сапогах, мятой рубашке, с рюкзачком, вероятно, единственного здесь паломника, добравшегося к Истоку своими силами, без помощи лошадиных моторов. Тут же потребовали все вытаскивать.

— Шо там у вас?.. Ну, шо? — любопытствовал один.

— Я турист, — проговорил я.

— Так и шо? Давайте, давайте показывайте колющие, режущие...

Они верно чуяли, но не предполагали, что я человек предусмотрительный и охотничий нож, газовый баллон «Антизверь» спрятал в крапиве на обочине. Так что их ждало разочарование.

...И через минут десять в небе застрекотал вертолет. Пыхнуло солнце. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл летел над лесами. Засуетились фотографы, подтянулись полицейские. Губернатор Островский стоял с букетом белых роз.

Под пение и звон колоколов, осенняя всех крестным знаменем, патриарх вскоре вступил в монастырь. Шелкали фотокамеры, с телекамерами наперевес таранили толпу операторы, как фрегаты мелкие лодчонки. Процессия двинулась в храм, патриарх поднялся по крыльцу, вошел внутрь, и началась служба малого освящения храма Святого Владимира, слышимая всем сотням собравшихся благодаря динамикам. Здесь было много пестро одетых людей, молодых и старых, женщин и мужчин, детей. На костылях стоял хиппи с волосами, убранными в конский хвост, рядом его подруга в длинной бордовой юбке. Поблескивал медалями седой ветеран. Тянулись вверх руки с мобильниками, оснащенными фотокамерами.

Торжество было приурочено к тысячелетию со дня кончины князя Владимира. В князя последнее время особенно густо летели критические стрелы журналистов. Известный Невзоров сравнивал его с еще более известными персонажами криминального мира. Сведения о буйствах князя — в исторических источниках. Увы, слов из песни не выкинешь. Но, во-первых, эти сведения относятся к его дохристианской ипостаси, и, во-вторых, одна вещь опресняет критику, а именно — прозвище князя, которое ему дал народ. Точнее, фольклорный образ Владимира Красного Солнышка включал в себя различных персонажей, но главным из них и был князь в Киеве, крестивший Русь. Можно, конечно, и не верить народному творчеству, но иметь его в виду все-таки дело не лишнее, если мы хотим знать и понимать пространство русской жизни.

В этом образе — Владимира Красного Солнышка — мечта и тоска народа о правителе мудром, честном, чистом, заботящемся не о своей мошне, а о счастье подданных, и прежде всего о малых из них: стариках, детях, бессребрениках. Главная мечта народа — о правителе-бессребренике. Во взглядах, устремленных на патриарха, вышедшего после освящения храма на крыльцо и обратившегося ко всем с речью, тоже читались эти надежды. Духовный пастырь тем более должен быть бессребреником. Запросы народа тут высоки.

Патриарх Кирилл, как всегда, хорошо говорил и держался бодро. Говорил он о значимости этого события — освящении храма и открытии монастыря на Истоке реки трех народов, благодарил жертвователей и помощников.

— Иди на ключ, — посоветовала бабка из Сычевки, с которой мы переговорили еще в воротах монастыря; узнав, что я семь дней сюда на велосипеде ехал, она решила по мере сил опекать меня. — Он потом туда пойдет.

Так я и сделал. И занял удобную позицию.

Через некоторое время процессия двинулась сначала в келью, потом через звонницу в ворота, ведущие на Исток, и по мосткам с перилами — до купели. Фотографы

толкали друг друга. Телевизионщики старались отыскать наиболее выигрышную точку съемки. Народ толпился у широкой канавы с водой. Берега там были топкие. Тут-то и пригодились мои сапоги. Я снова столкнулся с сычевской бабушкой.

— О как ловко ты! — усмехнулась она.

Патриарх совершал водосвятный молебен, окунал крест в купель, говорил снова о реке и братстве народов, обрызгивал улыбающихся зрителей и участников действия водой. Ему поднесли икону.

Патриарх и те, кто сопровождали его, направились в монастырь, а народ радостно прильнул к воде, кто набирал воды в ладони и поливал ею своих спутников, кто умывал лицо, кто пил, кто наполнял посуду, один мужчина, балансируя, стаскивал по очереди туфли, носки и окунал ноги. Вспомнив, что орудовал тут сачком, я посоветовал жаждущим набирать все-таки воду в самой купели, там чище. Но меня никто не слушал. У наших людей вообще особое отношение к воде. На Крещение в лютом морозном тумане к храмам тянутся очереди с бутылками от трамвайных остановок. И сейчас был момент, подобный крещенскому празднику: воды реки освящены. Можно сказать, что молитвенные воды пошли через леса и доли к Дорогобужу, оттуда к Смоленску, дальше в Могилев и еще дальше — в Киев.

Понемногу народ расходился. Тут я повстречался с Еленой Мининой, издателем из Смоленска. Мы немного поговорили о событии и разошлись.

А за монастырем уже стрекотали вертолеты, и в небо поднялся один, с патриархом, за ним другой. Патриарх отправился вниз по Днепру, в Смоленск, где на следующий день будет открыт памятник князю Владимиру. Еще по дорожкам монастыря ходили люди, фотографировались, но уже гудели автомобили, и в сторону Сычевки вытягивалась вереница, своеобразная колонна. Посыпался дождь. Мимо звонницы пробежал толстый телевизионщик, затормозил, достал фотоаппарат, торопливо сделал пару кадров звонницы под тучей и побежал дальше. Монастырь быстро пустел.

Мне повстречалась матушка Татьяна, и я попросил позволения сфотографировать ее. Затем увидел отца Евфимия. Он сказал, что слагает с себя временные полномочия настоятеля: из Троице-Сергиевой лавры прислали настоятеля отца Амвросия, келаря и еще одного монаха. Был отец Евфимий, как всегда, быстр.

...Не знаю, может, мне и почудилось, но кажется, в глубине его глаз мелькнуло сожаление.

Вдруг из леса начали появляться солдаты с вещмешками, подтянутые, дельные. Быстро погрузились в автобус и уехали. Я никак не мог вынуть плащ из чехла, замок заклинило. Поблизости притормозил автомобиль, хипповатый здоровяк с ясным лицом и волосами, убранными в «конский хвост», спросил, все ли у меня в порядке, не нужна ли помощь. Он может подвезти. Я поблагодарил и ответил, что у меня есть свой транспорт.

— Ну, Бог в помощь! — сказал он с улыбкой.

Пожелал и я ему счастливого пути. В автомобиле сидели похожие на него спутники. Ненароком припомнились рассуждения любимого румына Мирчи Элиаде о хиппи, он предлагал взглянуть на них сквозь призму христианства и находил много черт, роднящих хиппи и христиан первых веков.

Вон куда загнул, скажет читатель. Хиппи на ладном автомобиле какой-то известной фирмы и ослики первых христиан. А тем более — вертолет с патриархом. Ну, если бы христианство начиналось сейчас, то, возможно, Учитель на мотоцикле и въехал бы в Иерусалим. Собственно говоря, создатели фильма по знаменитой рок-опере и сделали такую поправку на технический прогресс, введя танки и автобусы на съемочную площадку. В век скоростей и атомных бомб евангельская история рождает не меньше, а, пожалуй, еще больше различных вопросов.

Хотя странник — фигура, идущая поперек прогресса. Ну да, поперек. Но надо все-таки быть реалистом.

От монастыря отъезжали последние автомобили.

И стало вдруг тихо. С ветром и солнцем налетели гости и унеслись куда-то. А вокруг монастыря зашелестели леса под дождем, потемнело. На монастырь валили тучи. Накинув плащ, забрав из крапивы свой схрон, пошел я по грязной дороге в лагерь, неся и канистру с водой из скважины. Удивительно, как былолюдно, пестро, шумно, — наверное, больше столько народу здесь не соберется. У братии теперь потянутся тихие лесные дни осени, потом посыплется снега на келии, русскую гору Исток заметет. А воды будут так же сочиться, собираться из мхов, мгlistых глубин, сливаться и медленно течь меж низких ржавых болотистых берегов, принимать боковые ручейки, родники и речки, чтобы через две тысячи с лишним верст распахнуться киевским зеркалом, бликующим утром солнечными, а ночью электрическими огнями и звездами, зеркалом, в котором ведь можно увидеть Русь в праздник, когда восстанавливаются времена творения. Это гигантское зеркало здесь на Истоке и встало во время освящения храма и водосвятного молебна. И даже сейчас можно было увидеть его осколки. Я повернулся.

Над лесом, за которым пряталась обитель, горела радуга. Уже не для тех, кто улетел и уехал, а только для тех, кто остался нести служение в стенах соснового монастыря. Хотя, наверное, радуга далеко вытянулась в пространстве над лесами в каплях, птицах, может, и до самого Смоленска. Но над деревянными крышами келий, храма и звонницы ее зрели лишь монахи, матушка Татьяна да истопник Миша.

Ну и я.

## 11

Утром собрал лагерь и погрузил на велосипед, засыпал кострище и пошел сначала среди деревьев и кустов, потом уже по лесной дороге. Свернул к монастырю. Надо было попрощаться. Но братия была на утренней службе. А у входа курил истопник, с ним разговаривал светловолосый синеглазый богатырь. Рукопожатие у него было медвежьим. Познакомились. Охотовед Сергей Крылов проработал в этих местах сорок лет и знает все тропы Оковского леса. А сорок лет назад ему предлагали поехать в Баргузин, но кто-то отсоветовал, мол, там староверы, слишком сложно будет с ними. И он выбрал Оковский лес. Но и здесь было непросто. Попробуй убеди сорвиголову, родившегося здесь и с отроческой поры бегающего по болотам с ружьишком, что у охоты есть правила и надо их соблюдать. Еще сложнее с залетными столичными ухарями с их поистине космическим оснащением, ну и амбициями, знакомствами...

Сказал ему, что как раз в Баргузинском заповеднике начинал, получил там трудовую книжку и работал лесником. Семья староверов у нас была, он тракторист, она пекарь. Ну, точнее — они потомки староверов. Тракторист курил и очень любил краску — дешевое вино «Рубин». Срок за браконьерство у него был. Но вообще настоящие староверы отличались, по слухам, честностью. А эти наши хорошо пели свои семейские, по самоназванию тамошних староверов, песни.

Крылову исполнилось шестьдесят, начальство на отдых его не отпускает, да и он сам не особо хочет. Об Оковском лесе он готов был долго говорить, а я — слушать. Но дела заставляли его спешить. Мы договорились о поездках по окрестностям в будущем. Заканчивается одна книга, но уже шелестят страницы другой — о лесе трех рек. Да вот листвою берез вокруг и шелестят. Крылов согласился быть проводником Оковского леса. Еще я успел его спросить о моем старшем брате, если охотовед тут сорок лет, то, наверное, встречался с директором школы из Бехтеева. Он отреагировал тут же:

протянул мне руку. Да, знал его! В тот год, кстати, и в других школах подорвались ученики, — всего восемь ребят, сообщил он.

Обменялись телефонами, и охотовед укатил на забрызганном уазике.

Пожав руку Михаилу, следом отчалил и я. Уже соображая, как и когда лучше будет вернуться.

В Бехтеево, где учительствовал мой брат, я свернул, чтобы купить наконец хлеба. Хлеба в магазине не было. Его привозят два или три раза в неделю, сказала молоденькая продавщица. Зато есть пряники, консервы и мороженое. Пока уплетал возле велосипеда мороженое, подъехал «батон»-уазик. У парня-водителя узнал, что можно здорово сократить путь и по лесовозным дорогам выехать прямо на дорогу, ведущую от трассы Сычевка—Вязьма к Днепровскому. А именно этим путем я и хотел возвращаться: на Днепровское, оттуда к Нахимовскому, дальше в Холм-Жирки и вдоль набирающего силы Днепра к трассе Москва—Минск. Я и оставшиеся несколько кадров берег на Днепр и больше ничего не фотографировал. Мне нужен был Днепр, окутанный туманом, и встающее солнце. Парень оставил свою машину и довольно далеко прошел со мной, чтобы указать дорогу — на коровники и дальше. Там будет шлагбаум, его надо просто объехать. Поблагодарил его и бодро покатил в сторону коровников, обогнул их и устремился дальше.

За четыре дня возле монастыря засиделся. И теперь в полной мере мог почувствовать радость этого способа перемещения по земле — на велосипеде. На первый взгляд — ну, долго же? Если на автомобиле от Смоленска до Истока можно доехать часов за шесть-семь с остановками, то на велосипеде — семь дней. Молодой и тренированный велосипедист доедет дня за четыре. Все равно — много? Вроде бы да, если смотреть на это из окна автомобиля. А так — едешь, едешь упорно и тихо и смотришь: получается, позади остаются заметные на карте пункты. И конечно, никакой автомобилист столько не увидит и не почувствует, сколько велосипедист или тем более пешеход. Архаичная жизнь труднее, медленнее, но гуще. И, наверное, все же из нее ближе до истин, о которых толковал рыбакам, крестьянам проповедник из Галилеи. Думаю, что и монахи, присланные из Троице-Сергиевой лавры к Истоку, должны радоваться. Скорость и шум отупляют человека.

И словно в подтверждение моих мыслей, дорогу перекрыл шлагбаум на замке. Хочешь дальше попасть? Выходи из машины. Но я-то был на велосипеде и спокойно объехал препятствие. Видимо, шлагбаум установили, чтобы не давать случайным грузовикам и тракторам разбивать дорогу.

А дорога была хороша, песчано-гравийная, плотная, ровная, таких лесовозных дорог я нигде не встречал. Сказка! И я катил по ней, что-то напевая.

Попал на просеки. Дух захватывало от лесных перспектив.

Но вот дорога уперлась в поперечную. В какую сторону дальше? Покумекав над картой, повернул вправо — в сторону Днепровского. Ехал, ехал... Ни души. Ровная дорога, от нее уходят просеки. Над елками канюк кружит, кричит гнусаво.

Но вот в чашобе грохнул выстрел. Кто-то шарится по лесу, но не показывается.

Туда ли еду?

Кручу педали. По одной просеке вроде бы движется фигурка. Далеко. Достигла края леса — исчезла.

Еду дальше. И вдруг навстречу грузовик с бревнами. Голосую. Тормозит. Рыжий мужик глядит исподлобья настороженно-вопросительно. Услышав вопрос, думает, морщит лоб, достает сигарету, закуривает и говорит, что не проеду я никуда. Да. Нету проезда. Все закрыто.

Мгновение смотрю на него как на инопланетянина. Он объясняет. В той стороне, куда я сейчас еду и откуда он приехал, ворота и сетка по лесу. Ворота на замке. А в той стороне, куда он едет, тоже ворота и сетка по лесу. Ворота на замке.

Но он-то проехал... Ключ?

Шофер кивает и произносит мантру новых времен:

— Здесь частная территория.

— И что, под сеткой нельзя пролезть? А далеко в лес она уходит?.. Что же мне делать?

Он уже без осторожности, а с одним только любопытством смотрит на меня сквозь сизый сигаретный дым сверху вниз. Рассказываю ему, что много проехал, велосипед тяжелый... Может, он на выезде просто забудет закрыть замок? Качает отрицательно головой. Советует пробираться просекой, может, и выведет к дороге. Просека упрется в поле, а по полю уже к дороге... Достая карту и предлагаю ему взглянуть, чтобы сориентироваться.

— Я в карте не понимаю, — признается он.

Смотрю в его рассеянные светлые глаза. Дальнейший разговор кажется бессмысленным, и, махнув ему, еду дальше. Машина с бревнами уезжает.

Частная территория! Опа! А на въезде — ни гугу. Частная территория, частная территория... Что-то вертелось в голове, чья-то реплика по этому поводу, не мог вспомнить. Из какого-то голливудского фильма, что ли. Ни с места! Вы находитесь на частной территории! И ствол направлен в лоб.

Но звучит магически: частная территория. И неправдоподобно. Эти просеки, лесные чащобы, дороги под самые небеса — частная территория? Следовательно — звучит угрожающе. Кто же владелец всего этого?

Сворачиваю на первую просеку. Не попробовать ли? Колдобины, кое-где выворотни. А где-то впереди еще поле, и перед полем может быть овраг или болото. Лет десять назад я, не раздумывая, пошел бы этой просекой.

Выхожу на дорогу. Что же делать? Возвращаться тем же путем? Что за дикая мысль! Тут, наверное, километров пятнадцать. Продолжаю двигаться в том же направлении. И почти бесшумно меня настигает автомобиль, уже слышу, а не оглядываюсь. Окликают:

— Куда едем, хлопец?

Смотрю. Белая «нива», а в ней — копия министра Лаврова, только уменьшенная. Но тот же взгляд сквозь стекла очков, тот же нос, лоб. Только почернее министра. Ну, так министр в высоких кабинетах и на высоких встречах за закрытыми дверями, а этот — на воле лесных просек.

— В Днепроовское.

— Это невозможно.

— Почему?

— Дорога закрыта. И даже если бы была открыта, ни в какое Днепроовское тут не проедешь.

— А в той стороне?

— Мольгино.

— Это почти на нужной мне дороге.

Кивает и говорит, что мне придется возвращаться той же дорогой, какой я сюда приехал. И зря я упорствую. Ему все сообщили.

— Здесь частная территория, — отчеканил он.

Черт, заладили. Говорю, что на въезде от Бехтеева нет никаких предупреждающих знаков, надписей, только шлагбаум. Но мой велосипед не повредит здесь дороги. Вид у квази-Лаврова непреклонный, как на переговорах с Керри. Все. Здесь частная территория, проезд закрыт.

Бросаю последнюю карту, мол, давно уже в пути, приехал из Смоленска на Исток, пишу книгу о Смоленской земле.

Он кивает, уже отъезжая, всем видом давая понять, что его ничего не интересует, кроме частной территории и обслуживания оной. Все.



— И вы не поможете?

— Нет. Той же дорогой — назад.

Уехал дальше, видно, проверять или укреплять ворота, пропускать ток или насто-  
раживать мину-ловушку... или что там у них? Какие уловки теперь против странников?  
На Руси-то к странникам раньше особое отношение было. Странники, бредущие со  
своими котомками от села к селу, от монастыря к монастырю, считались людьми бо-  
жьими. Ведь сказано в притче евангельской: «...был странником, и вы приняли Ме-  
ня». А праведники в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя странником, и приняли?»  
«И Царь им скажет в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из  
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Но этот квази-Лавров, возможно, и не читал никогда Библию и почитает какие-ни-  
будь другие книги — книжки Сбербанка или что-то в этом роде. Ведь и на замечание  
о том, что это путешествие книжное, он никак не отреагировал.

Автомобиль скрывается, а я, увидев хорошую дорогу, уводящую влево, в сторону по-  
лей и дороги на Днепровское и Холм-Жирки, съезжаю на нее.

Дорога идет, идет в нужном направлении и скрывается среди сосен и елок, что очень  
хорошо. Ясно, что больше предупреждать он меня не станет, а просто вызовет охрану  
или каких-то молодых, готовых выполнить это задание — вышвырнуть странника из  
частных лесов. Сдал же меня рыжий водила. Частная территория. Но кому она при-  
надлежит? Кто хозяин этого леса?

Еду и вижу: на дороге зияет ров. Просто ров, и все. Специально перерыли, возмож-  
но, для того, чтобы законсервировать на некоторое время дорогу, решил я, слезая с ве-  
лосипеда и осматривая препятствие.

Ничего, прорвемся.

Спустился, начал подниматься. Песок расползается, напружиниваю живот — вот-  
вот, как говорится, пупок развяжется. А разбирать поклажу не хочется, да и время поте-  
ряю. После дождя на этих безлюдных дорогах все видно, кто куда проехал, прошел.

Частная территория. Что же это такое? Частные владения? По сути — такой огром-  
ный дом?

Одолел ров. Вскочил на конь, как говаривал Денис Давыдов, и покатил дальше. Да-  
выдову тоже доводилось уходить от неприятеля по родной земле.

А дорога забирала влево, влево, — и, как в «Вии», сделав чертов круг, я вернулся поч-  
ти к тому же месту, где свернул с главной дороги.

За что боролись, на то и наехали... Да, слушали «Голос Америки», трындели на кух-  
нях, спорили. Вот капитализм и пришел. Повернулся своим человеческим лицом к нам.  
И сейчас я вспомнил вопль столпа анархизма Прудона: «Частная собственность — это  
всегда кража!»

Скрежеща педалями — пора было смазывать, — поехал обратно, в Бехтеево. Я не  
знал, насколько был прав тот распорядитель, но был полностью согласен с Прудоном.  
Старые анархистские дрожжи, скусившиеся было после видеосюжетов и различных  
свидетельств о кровавой вольнице в украинских пределах, снова забродили. Тут вспо-  
нился и наш анархист Лев Толстой, говоривший, что собственность несовместима с лю-  
бовью. А устанавливая господство имущих над неимущими, собственность противор-  
ечит евангельскому закону о сыновности людей Богу и равенстве всех людей. Короче,  
все эти владельцы, сенаторы, чиновники, бизнесмены и президенты «виноваты уже  
одним тем, что богаты». И право собственности есть, по наблюдениям умного коняги  
Холстомера, низкий животный людской инстинкт. Что бы сказал этот коняга, попав  
в такой вот привольный на первый взгляд лесной капкан?

Какие же это деньги надо, чтобы купить столько леса? И как вообще лес можно ку-  
пить? Я никогда не видел частного русского леса. Служил лесником в заповедниках,

но те леса принадлежали не какому-то бизнесмену, чиновнику или генсеку, они были все-таки народными, резервами чистых земель страны, прибежищем для птиц и зверья. А кто владелец этого леса? Какой олигарх, толстосум?

Собственность есть господство имущего над неимущим, говорил Лев Толстой. Вот это господство сейчас и осуществляется в далеком лесном углу. Возможно, владелец леса жил где-то в Петербурге, сидел сейчас в своем офисе или на яхте кушал семгу с водочкой, а может, в Москве тенью скользил в державных коридорах. И господствовал здесь. Да и, скорее всего, не только здесь. Обычно это господство незаметно, оно растворено в воздухе, стекающем золотыми слиточками в ячейки банков. В России много лесов, полей и рек. Марк Шагал однажды нарисовал Россию в виде коровы. Да, кто-то ведь ее доит тихо и незаметно.

Но иногда воздух становится свинцовым, и ты об него ударяешься.

Нагнала меня и мысль о том, что, возможно, как раз в этих лесах погиб пулеметчик, мой дед Петр Ефимович Ермаков. Отец считал, что он погиб под Вязьмой. А не исключено, что где-то здесь, в сычевских и новодугинских лесах, ставших частными. В те времена они были общими. Да и случись сорок первый сейчас — снова станут общими. Владелец тут же предоставит возможность защищать их и кропить кровью. Как и рощи, борки, лужайки, озера частных территорий по всей России. Отдых в этих местах — дело частное, приватное. Смерть за них — дело общее. В ход сразу пойдут мантры другие: про священную родную землю и счастье отдать за нее свою частную жизнь.

Увидел яблони на месте какой-то исчезнувшей деревни, подъехал, но что-то ни одного яблока не нашел. А заметил на земле свежие следы медведя. Подальше рос терновник, поел мелких сизых слив. Наверное, и медведь за ними приходил.

Оглянулся. Да, благодатные места.

## 12

До прежней стоянки в полях перед Сычевкой дотащился уже в сумраке, не чуя ног. Оглянулся: гигантская красная луна висела низко над Сычевкой. Такой огромной никогда не видел, даже не пожалел кадра на нее, хотя и понимал, что снимать надо другим объективом — телевиком. Луна в эту ночь была особенно близка к Земле.

Заваливаясь спать после ужина на ветру возле угасающего костра и при свете луны, вдруг вспомнил последний сон монастырский: снилась мне огромная кобра с очками на капюшоне. А квази-Лавров в очках-то и был.

На другой день, проезжая мимо сычевской лесопилки, узнал у рабочих, что лишних я сделал километров сорок. Рабочие не одобрили действия распорядителя и сказали, что это хозяйство называется «Боброво», руководит им Жукова, там и охотхозяйство и сельхозпредприятие. Большие деньги вкладываются. И большие люди охотятся. «Путинские!» — крикнул парень, поворачивая ломом комель в три обхвата.

Ну, теперь мне понятна стала спесь квази-Лаврова.

Позже невысокий, сухощавый востроносый мужик, пасший большое стадо коров возле дороги, говорил, что места эти облюбовали кремлевские чиновники, Володин, Неверов, и что сам Путин здесь охотился. «Боброво», по словам пастуха, опекает Володин.

Действия распорядителя из «Боброва» он тоже посчитал паскудством — заставил человека столько лишних километров проехать. Согласился, что могли и накостылять.

— Да все они такие! — воскликнул он, махнув рукой.

Заметил, впрочем, что своим работникам в «Боброве» платят хорошо и дома для них строят классные. И землю они содержат в образцовом порядке, пашут, засевают, вовремя убирают. Я это и сам видел, проезжая мимо полей и радуясь возрожденным пейзажам крестьянской России.

Сам пастух получает двенадцать тысяч за две недели пастьбы. Зимой он тоже скотником на ферме. Подрабатывает и плотницким делом. Жить можно.

— Вон, — сказал он, указывая на крыши деревни, среди которых выделялась темно-красная, черепичная, — мой друг дом себе строит.

— Волки зимой бегают?

— Куда там! — воскликнул он, пыхая сигаретным дымом. — Как только появляются, сразу охотники за ними. Платят за добытого волка хорошо.

Ударили по рукам, пожелав друг другу удачи.

Асфальт остался где-то в Днепровском, крупном селе на просторном высоком месте, и под колесами курился пылью большак.

Он привел меня в Нахимовское. Село над Днепром. Точнее, над заросшим прудом бывшей усадьбы дяди адмирала Нахимова. Днепр немного подальше. Что примечательного в этом селении? Деревянные дома с огородами? Единственный двухэтажный каменный многоквартирный жилой дом? Пыльная дорога? Закрытый днем магазин? Не угадали. Все-таки главная достопримечательность этого селения посреди бескрайних просторов — фундамент усадьбы и остатки парка, где провел свое детство будущий адмирал и герой Крымской войны Павел Степанович Нахимов. Но если приблизиться к памятному знаку на высоком берегу среди дивно благоухающих старых лиственниц и дубов — якорю и мемориальной доске, откуда сразу видно нутро фундамента разрушенного дома, да вот если туда глянуть, ни в жизнь не угадаешь, что это так. Там просто помойку устроили местные или приезжие, не знаю. Но даже если приезжие, в чем большие сомнения, — даже если так, то неужели у местных нет ни капли гордости и здравого смысла, чтобы это все убрать, а нишу перекрыть надежно?

Мелькнула мысль о моих знакомцах Майке и Митти, — хорошо, что маршрут их пролегал по другому пути. Я-то человек привычный к таким фортелям национального самосознания, видел каждый день замусоренные башни крепости в областном центре — Смоленске. Смоленяне еще не готовы в полной мере владеть «ожерельем Руси», как поименовал крепость Годунов, и путают башни с уборными и мусорными баками. Поучиться бы у китайцев и евреев бережному отношению к стене. Да и у французов с немцами и испанцами, они содержат свои крепости и замки в чистоте.

Пожалуй, самый трудный участок всего пути был от Нахимовского до Холм-Жирков. Большак пыльный, усыпанный гравием. Камеры не выдержали тряски под грузом и начали спускаться. Думал остановиться на Днепре, но путь мне перекрыло грозное объявление, запрещающее проход и проезд: снова — частная территория!

После дождливой ночевки за Днепром у деревни Глушково, где какие-то мужики на автомобиле свернули с дороги вслед за мной через десять минут и под дождем в сумерках бродили, что-то искали поблизости, так и не выходя на мою палатку в высокой траве и кустах, и когда уехали, не знаю, не слышал, спал беспробудно, — катя велосипед со спущенными камерами, вошел в Холм-Жирки.

Пересек центр этого большого поселка и оказался перед входом в «Парк графа Уварова» — такая надпись была на арке.

После утренней пасмурности выглянуло солнце и светило жарко. В парковой тени и займусь сменой камер. Парк был огромен, тенист и безлюден. Удивительно сильно пахло ладаном. Наскоро перекусив, снял колеса, взялся извлекать камеры, — не делал этого лет десять и навык утратил, долго возился, утирая пот со лба. Установив новую камеру, проколол ее. На дорожке появился прохожий, белообрый коренастый малый в шлепанцах, футболке и трико, поддатый.

— О! Что это тут у нас? Авария? Поломка?

Попросил позволения «присесть» — «сесть» такие ребята суеверно не желают. «И затеялся смутный, чудной разговор», — как пел Высоцкий. Парня звали Димой,

работу он потерял, бокс бросил из-за того, что тренер сбежал в Смоленск, предав своих питомцев. Живет в деревне, как он сказал, за парком. Рассуждая о Холм-Жирках, он никак не мог вспомнить знаменитого человека, похороненного здесь... ну, самое, в чьем парке мы сидим?

— О, точно! Граф Уваров! Приезжали сюда господа из столицы, по-французски... б... говорили... то да се. Короче, батя, мне бы чекушечку достать? — спросил он, трепеща ноздрями в кровавых царапинах.

Ответил, что у странника нет лишних денег. Дима задумался.

— А если, допустим, я в такой поход поеду, сколько мне надо бабок? — поинтересовался.

В это время подошли два бомжеватых мужика, один, средних лет, уже близок к роковой черте полного бомжа, другой еще молод, в очках, правильная речь, и при счастливом стечении обстоятельств явно может жить по-другому. Они друг друга знали, приветствовали. Пошел дым коромыслом, восклицания.

Я тем временем почти вправил вторую камеру, но снова неосторожное движение — и она испустила дух. Проклятие!

— Вот, — говорил Дима, указывая на меня, — из Смоленска приехал, уважаю.

— Ну и что, — отозвался алкаш средних лет, обрюзгший, с синюшностью в лице. — Вон Юра гонял в Москву и обратно на велике, просто так.

— Нет, все равно! Прикинь...

— Нам бы подлечиться. У тебя нет, Дим?.. А у него?

— Я тут уже, знаешь, сколько бьюсь?! — воскликнул Дима.

Денег я им, конечно, так и не дал, спросил дорогу к ближайшему магазину автозапчастей, загрузил велосипед и, напутствуемый добрыми пожеланиями честной компании, пошел из парка графа Уварова. Камер для велосипеда в магазине не было. Мне посоветовали магазин на другом краю поселка, двинулся туда, но оказалось, что это просто хозяйственный магазин. Повстречавшиеся школьники сообщили, что надо только утром в среду на базарчике искать. А вообще велосипеды продаются где-то? Да, в универмаге на втором этаже. Решил туда пойти. Некоторое время мы шагали в одном направлении. Спросил, каково им тут живется? Отвечали, что нормально. А один заметил:

— Легко понять, какие тут возможности.

— Как?

— Вот вы не можете камер найти. И не найдете.

Он был прав. На втором этаже магазина стоял один складной велосипед. И никто мне ничем не мог помочь. Уже вечерело. Собирались тучи. Из полицейского отделения вышел офицер и направился ко мне, его заинтересовали мои хождения в желтой дорожной светоотражающей жилетке туда-сюда по Холм-Жиркам. Поговорили. Он поделился своими впечатлениями от поездки по Днепру: переплунуть можно. В каком-то месте ему удалось подъехать к такому узкому Днепру. Но примечательно, что он не ведал, где, в каком районе находится Исток. И не только он один. У меня в дороге часто переспрашивали: что, исток Днепра? А где это? Как Майк, подумавший, что я веду речь о каком-то городе.

По совету полицейского пошел в гостиницу, одноместный номер был, стоил всего 350 рублей, туалет и душ в конце коридора. И на двое суток я застрял в Холм-Жирках.

Пошли дожди. Камеры я заклеил и выдерживал по инструкции 24 часа. В номере был телевизор. Из моей квартиры телевизор исчез лет пятнадцать назад. Ну, за это время иногда в чужих квартирах приходилось что-то смотреть, убеждаясь в тотальной агрессивности этой штуки. Сейчас удостоверился, что агрессивность многократно выросла. Но, например, хозяйка гостиницы, светловолосая женщина средних лет, счи-

тала именно телевизор мерилом всего. Понаблюдав, как я в бытовой комнате колдую с камерами, она посочувствовала и сказала, что удивляется, зачем вообще мне это надо.

— Увидел жизнь, — философически заметил я, намазывая «Моментом» камеру.

И она ответила искренне:

— Жизнь надо смотреть по телевизору.

### 13

И я в эти два дня в Холм-Жирках под дождем иногда смотрел телевизионную жизнь и могу только подтвердить давнее впечатление: это похоже на лавку ритуальных услуг с ее резкими красками и алчностью в лице ведущей... то бишь продавца.

Между дождями удавалось проскальзывать в поселок, пить горячий крепкий кофе и уплетать разогретые сосиски в тесте да пирожки с картошкой, осматривать парк, заходить в церковь, шагать по длинной улице на окраину.

С парком у холмжирковцев такая же история, что и у нахимовцев с руинами усадьбы. Парк запущен, в глубине засидки с пеньками и кострищами и пластиковым мусором, а одна тропинка привела к дощатой хижине с номером над входом «33», столиком, пустыми бутылками.

А парк все же интересен. Здесь липы в три обхвата, мощные лиственницы, дубы, клены. Парк разбивал участник Бородинской битвы генерал Федор Семенович Уваров, которого Давыдов с уважением упоминает в своих «Записках партизана». Федор Семенович был ранен в этой битве. Принимал он участие и в других сражениях, вступал в Париж. А уйдя в отставку, и жил здесь, занимаясь садоводством и интересуясь ботаникой.

Ну, а его родной брат, похороненный в Холм-Жирках, С. С. Уваров, был министром просвещения и автором триады: «Православие, самодержавие, народность».

Прогулки по этому парку настраивали на размышления об этой триаде. Что от нее осталось?

О христианских ценностях обычно вспоминают после теракта исламского боевика. Большинство руководствуется в жизни обычным трезвым расчетом, тем более политики.

Пейзаж России изменился. Над холмами бликуют, переливаются золотые маяки куполов. Влияет ли пейзаж на сознание живущего в нем человека? Несомненно. Но и переоценивать это влияние не стоит. Мы знаем, как громили и жгли усадьбы и церкви жители этих пейзажей. Исторические грехи православия, о которых поминал Бердяев, никуда не исчезли. Философ прямо обвинял церковь, не выполнявшую своей миссии преображения жизни и поддерживавшую строй, основанный на неправде и гнете.

О недостаточной силе православия свидетельствует и происходящее в Украине: мужики с крестиками на груди бьют и режут таких же мужиков с такими же молитвами на судорожных устах. Да и то, что Украина откололась от России, — еще одно свидетельство, по оптинскому отшельнику К. Леонтьеву, считавшему, что только православию нас и скрепляет с Малороссией. Кстати, примечательно, но мыслитель считал, что в преданиях, в историческом воспитании все было у малороссов иное, на Московию мало похожее. То есть и предания о временах Киева — матери городов русских — уже тогда ничего не значили.

А мы хотим вернуть утраченное молитвенным течением реки...

Ну, не только молитвы идут в дело.

О самодержавии в последнее время заговорили. Один политик в патриотическом угаре призывал навсегда отдать власть ныне действующему президенту. И сколько еще других политиков издевались над так называемым западным образом жизни, сиречь — над демократией.

Некая аллергия на демократию есть в гуще российской жизни. Но живуче и неприятие авторитаризма. Эту особенность народного самосознания отмечал Бердяев. В «Русской идее» он писал, что русское мышление склонно к тоталитаризму, но русская душа обуреваема анархическими чувствами. Эти чувства и захлестнули страну революцией, которая, впрочем, по тому же Бердяеву, стала тоталитарной.

Но самодержавно-патриотический угар рано или поздно развеется...

И словно подтверждая это, на главной улице Холм-Жирков чернели — или пламенили? — стихи: «Товарищ, верь, взойдет она, / Звезда пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена». Сперва я удивился смелости холмжирковцев, надо ж, какой актуальный политический плакат вывесили. Но пройдя еще немного, увидел и второй плакат с нарисованным Пушкиным и сообщением о том, что в честь 200-летия со дня рождения поэта высажена аллея. И все-таки стихи-то они могли выбрать любые?

Из парка я ушел, там на стадионе собравшаяся молодежь с утра начала разогреваться: не бегом и прыжками, а возлияниями. Лихорадочный смех и крики разносились по всему графскому парку. Чувствовалось, что скоро ребят потянет на спортивные подвиги.

И уже не в парке, а на улице без пешеходных тротуаров я додумал о триаде. Оставался третий пункт: народность. Но тут я растерялся. Что это такое? Традиции, обычаи? То, что отличает нас от шведов и китайцев по духу. «Нас» — это кого? Москвичей? Смоленя? Русских? Дагестанцев? Чеченцев? Татар? Якутов? Получился ли некий сплав, который можно назвать российским духом? Насколько, например, чеченцы чувствуют себя российскими? Этого я не знаю. Но могу предположить, что на глубинном уровне нас ничего сейчас не связывает. Только сила оружия, воля президента и деньги. Это и есть скрепы современной России?

В общем, от триады почти ничего не осталось. Возродить ее или изобретать новую — досужее занятие, оборачивающееся фантастическими заключениями вроде заявления Володина о том, что «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». То есть из всех столпов российской жизни остался якобы один. Если так, то мы просто обречены.

Кстати, рассказы местных о том, что «Боброво» опекает Володин, как будто и не подтвердились. В открытых источниках указывалось имя единственного владельца — Лидии Петровны Барабановой. Кто это такая, поди-ка узнай. Она же является и учредителем охотхозяйства «Займка» — это в нескольких километрах от «Боброва» — наряду с двумя гражданами Великобритании: Руперти Тимоти Майлз и Руперти Энтони Ян Димитри, из которых к 2012 году в учредителях остался последний. У меня даже мелькнула мысль: не с этим ли Руперти я и столкнулся на лесовозной дороге? По-русски он говорил с каким-то акцентом и вообще выглядел полным чужаком. Попытки лучше разузнать о Барабановой привели в Саратов, Лидия Петровна фигурирует в списках акционеров ООО «Букет», многопрофильной группы масложировых комбинатов. Хотя, возможно, Лидия Петровна Барабанова в Саратове просто полная тезка владелицы «Боброва» и «Займки». Всякие бывают совпадения.

А какая разница?

Да любопытно узнать, кто этот энтузиаст сельского хозяйства, жертвующий миллионы рублей на технику, дороги. Например, за 2012 год предприятие получило прибыль 18 млн рублей, а закупило в этом же году техники на 28 млн рублей. Всего за 2010—2012 годы освоено 115 млн рублей инвестиций. Правда, участвует в инвестировании «Боброво» и государство, но скромно.

Форма собственности сельхозпредприятия — частная. И губернатор любит подчеркнуть, что это пример удачного государственно-частного партнерства, форма вза-

имодействия государства и бизнеса. И тем более удивителен был ответ администрации Новодугинского района на мою просьбу сообщить информацию об учредителях и владельцах этого «Боброва»: такой информацией администрация не располагает. То есть администрация не ведаёт, кто у неё хозяйничает под носом. Или не хочет ведасть?.. А точнее — делиться этими сведениями? Что за покров тайны? Должны мы знать, кто скупает наши земли, берега рек и леса?

Ведь хороший был бы пример другим чиновникам высокого ранга: вкладывай-те деньги не в швейцарские банки и фирмы на Кипре, а в сельское хозяйство России. Вообще в России 40 тысяч высших госслужащих. Ну, пусть не все они могут с зарплаты покупать комбайны и тракторы, но посильную помощь оказать крестьянину точно способны.

Что, вдруг какой-то гоголевщиной повеяло? Маниловщиной? Сорок тысяч курьеров припомнились ненароком? Сорок тысяч чиновников на службе у крестьянина!

Жертвователю сегодня жертвует на сельское хозяйство, а завтра? Надеяться на меценатов крестьянину, конечно, дело непрочное. И это не выход, но все-таки: запущенный, разрушенный племсовхоз «Городнянский» превратился в образцовое «Боброво». Это факт. Смоленская земля может процвести. Да вот надолго ли?

Неожиданно в деревянной церкви Николая Чудотворца разговорился с женщиной, продающей свечи, и узнал, что матушка Татьяна начинала свое служение поблизости, на станции Игоревской, где восстанавливался храм. Женщина обрадовалась, услышав, что я видел матушку Татьяну, и много добрых слов о ней сказала. А вот так в стародавние времена вести и шли, от монастыря к монастырю, от церкви к постоялому двору. Сказала она, что в монашки Татьяна ушла после исчезновения мужа в лесу на охоте...

А за окном гостиницы мок куст сирени, напоминая о стихотворном кусте Твардовского, хотя у него речь о середине лета: «Раннее лето, прощай, / Здравствуй, полдневное лето». Но куст сирени, пусть и уже в начале сентября и под дождем, а все такой же, с жестяной листвой...

Бердяев в «Русской идее» говорил, что «умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное и значительное».

Такой грандиозной задачи я не ставил перед собой, честно говоря. Просто не препятствовал своему влечению странствовать и раздумывать об увиденном. И всякий раз, забираясь в какую-нибудь глухомань, с удивлением понимал, что Россия у нас, как то пространство незнаемого, которое отмечали львами римляне на своих картах: *там, где львы*. Геркулесовы столпы, возле которых, как поется в песне, дельфины греют спины и где плавал Одиссей, начинаются сразу, за окраиной города, а может быть, и еще ближе, тут же за словом, произнесенным вслух...

Этот поход подарил мне знание Истока и особое чувство суровой сычевской жесткой земли, которую продолжают возделывать крестьяне. И молитвы братии в Свято-Владимирском монастыре им в помощь.

Рассуждать о полезности или бесполезности монастырей можно долго. Но вот какая простая мысль вдруг осенила меня: Андрей Рублев-то был монахом. Тут нельзя не вспомнить и максиму Павла Флоренского: «Если есть „Троица“ Рублева, то, значит, есть и Бог».

Пусть это и только «Бог Рублева», наверное, прибавит человек, привыкший все подвергать сомнению.

Так или иначе, а от рублевской «Троицы» идет поток благодати, красочной радости. И с этим не поспоришь.

Камеры я заклеил неудачно, к тому же лопнул шланг насоса, а дожди не прекращались, и стало ясно, что Холм-Жирки — последний пункт моего странствия. Оставалось собрать велосипед, обернуть его целлофаном, купить билет.

Водитель автобуса сначала заартачился: «Какой велосипед?» — но увидев, что он запакован, милостиво разрешил положить в багажное отделение. Водитель другого автобуса, в Сафонове, где пришлось делать пересадку, тоже напыжился. Вообще все водители автобусов чувствуют себя вершителями судеб, такие дорожные царьки. Я попытался объяснить громоздкую поклажу, сказал, что ездил на исток Днепра. Низкорослый шофер с залысинами и бычьей шеей отрывисто бросил: «Мне это не интересно».

Да и ладно. Главное, что ты везешь меня, куда нужно, — к городу.

И я вдруг вспомнил вопрос Майка, не город ли это такой, Исток Днепра? — и он сверкнул новым смыслом. Ведь странник на самом деле и разыскивает града. И не находит. И это снова заставляет его отправиться в путь.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 14

И я отправился.

Но на этот раз не по Днепру. Я уже вполне ясно осознавал, что путешествую за книгой.

Истоки двух рек далеки были от истока Днепра. До истока Западной Двины — 132 километров. До истока Волги — 172 километра. Конечно, можно пофантазировать насчет истоков и верховьев и предположить, что Нестор считал верховьем Волги, например, реку Вазузу. Но в летописях эта река названа уже своим именем: Вазуза, не Волга.

Значит, водораздельный узел, о котором говорит Шкалик, это не центр Оковского леса, а лишь его часть.

Что ж, таков и был, наверное, этот огромный Оковский лес. И летописец вовсе не преувеличивал, говоря, что из него вытекают три реки.

Л. В. Алексеев указывает границы этого леса: «На севере он доходил до оз. Селигер, на востоке охватывал верховья и среднее течение Вазузы, на юге включал район оз. Каспля, а западные его пределы охватывали водораздел Куньи и Ловати»<sup>12</sup>.

Лес этот «находился на высоком плато, объединял верховья трех крупнейших рек Руси и не мог не играть важной роли в ее истории»<sup>13</sup>. Алексеев разбирает финский корень этого названия и приходит к выводу, что в переводе с финского это означало: лес рек. Так ученый подсказал мне название книги: «Лес трех рек».

Иностранцам, проезжавшим в Московию по краю этого леса, он представлялся страшными дебрями<sup>14</sup>. Путешественники, застигнутые ночью в этом лесу, разжигали не один, а множество костров, чтобы отпугивать зверей<sup>15</sup>. В половодье посол Герберштейн плыл от Смоленска до Вязьмы в ладье, управляемой монахом, среди леса<sup>16</sup>. Особенно мне нравится сообщение одного иностранца, направленное в 1523 году папе Клименту Седь-

<sup>12</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 36.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же, с. 39.

<sup>16</sup> Там же.



тому: «Московия представляет вид совершенной равнины, усеянной множеством лесов. Сосны величины невероятной, так что из одного дерева достаточно на мачту самого большого корабля...»<sup>17</sup>

Алексеев добавляет, что следы этого леса сохранились и поныне.

И к этим следам меня тянуло непреодолимо. Зная, что одним из героев будет волхв, я штудировал труды Рыбакова: «Язычество древних славян» и «Язычество Древней Руси», еще, конечно, и три тома «Поэтических воззрений славян на природу» Афанасьева.

В труде «Язычество древних славян» Рыбаков приводит гимн Аполлону, в котором говорится, что Зевс одарил родившегося бога колесницей с лебедями, и Аполлон, взойдя на колесницу, направил лебедей к гиперборейцам. И благодарные за столь высокий визит гиперборейцы каждый год снаряжали экспедицию с приношениями, которые и прибывали в святилище солнечного бога на остров Делос. «Легенды, рассказанные Геродотом, — замечает Рыбаков, — и повторенные Плинием и другими, вероятно, отражают какие-то реальные связи североевропейских племен с древними святилищами Греции...»<sup>18</sup> Открыты клады праславян с солнечными колесницами, запряженными птицами.

Рыбаков не сомневается, что «через всю Европу с севера на юг пролегал где-то путь ежегодных богомолий, когда девушки из неведомой земли гиперборейцев несли дары именно Аполлону или передавали их от племени к племени, что должно было способствовать далекому проникновению на север большого комплекса греческих мифов о солнечном Аполлоне»<sup>19</sup>. Возможно, какие-то отсветы этого мифа о солнечном боге Аполлоне можно обнаружить и на нашем Дажьбоге-Солнце. Рыбаков упоминает русскую вышивку XIX века, где солнце влекут три лебедя, как золотую колесницу Аполлона.

Как же не быть этим соответствиям, если всю зиму Аполлон отсутствовал в Элладе и зимняя квартира у него находилась в земле гипербореев. Где же эта земля, в которой Аполлон хранит еще и свои стрелы?

В верховьях Днепра и есть. По крайней мере, наша Смоленская земля была частью Гиперборейи. Рыбаков определяет гиперборейцев как «прибалтийские племена, область которых начиналась почти сразу за Вислой на восток и тянулась широкой полосой в глубь Восточной Европы вплоть до бассейна Оки и Клязьмы. К прабалтам принадлежали и геродотовские андрофаги на Верхнем Днепре...»<sup>20</sup>

Кривичи, чьими далекими потомками и являются смоляне, были славянами, получившими толику жизненных сил от балтов. Неспроста и название «кривичи», по одной из версий, связано с наименованием верховного жреца балтов Криве или боже-ства Криве.

Ну, а путь из варяг в греки — лучший маршрут от балтов до святилища Аполлона на острове Делос. И Милиниск, Смоленск, играл важную роль на этой лебединой дороге гиперборейских даров. Гиперборейцы могли подниматься по Западной Двине до устья реки Каспля, затем вверх по Каспле — до озера Каспля, оттуда... А вот оттуда до Днепра по прямой двадцать два километра. Историки по привычке, сидя за столом, нацепляют очки на нос и ведут ногтем по синим жилкам речек: речка Клец, что впадает в озеро Каспля, дальше речка Удра, с нее волок на озеро Купринское, а оттуда — рраз! и — в озеро Купринское, а из озера Купринского по речке Катинке напрямиком и в Днепр чуть ниже Гнездова с его курганами, среди которых треть примерно определяют

<sup>17</sup> Там же, с. 36.

<sup>18</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 344.

<sup>19</sup> Там же, с. 351.

<sup>20</sup> Там же, с. 415.

как захоронения викингов. Любой водник скажет, что это фантастика. Даже байдарка «Таймень» не пройдет по Удре, даже по весенней воде. Что уж говорить о кноррах викингов или даже о смоленской однодеревке на пятнадцать человек. Кнорр викингов тоже имел длину двенадцать или пятнадцать метров, но был шире однодеревки на три или два метра, осадка у него была около двух метров и грузоподъемность около двадцати тонн. Как такой кораблик мог протискиваться по извилам мелкой речушки?

Но в том месте есть деревня с характерным названием Волоковая (в тамошнем фельдшерском пункте одно время работала моя мать, родившаяся на озере Каспля). Историк Евгений Альфредович Шмидт считает, что здесь был волок. Вокруг находятся курганы.

Тащить многопудовый корабль, а также товары, провизию, оружие по суше десять и больше километров — занятие трудное. Даже волок одной байдарки «Таймень» выматывает так, что хочется тут же продать лодку по дешевке и топтать дальше пешком. Возможно, так и поступали купцы в то время? Почему бы и нет? Подняться до озера Каспля, там перегрузить товар на подводы, посуху доехать до Днепра, купить новые суда да и плыть себе дальше, в Царьград и даже Грецию. А старый корабль либо продать, либо оставить на сохранение до возвращения. Русская ладья ни в чем не уступала норманнскому кнорру. Характеристики те же.

Но были и волокы.

Это предположение подтверждается, кроме иных исторических свидетельств, и таким, имеющим отношение непосредственно к нашей Смоленской земле.

Двумя годами позже освобождения Смоленска от поляков, в 1656 году Алексей Михайлович затеял войну со Швецией. Для похода на Ригу он велел построить на Каспле струги, которые могут перевозить до пятидесяти солдат. И в Касплю приехал царский стольник Семен Данилович Змеев со ста восьмьюдесятью плотниками и стрельцами. И они выполнили задачу. Хотя приехали только в феврале. Но уже 10 июня заказ был готов: больше четырехсот стругов под провизию, пушки и стрельцов. И войско царское отплыло по Каспле в Ригу, куда приводит, как известно, уже другая река — Западная Двина.

Так вот, интересно, что стругов оказалось больше, чем нужно, и сто судов с грузами были отправлены в Смоленск, а часть осталась в запасе на причале в Каспле.

Жаль, в документах не сообщается, каким образом эти сто стругов доставляли в Смоленск, волоком ли или все же по притокам Каспли и Днепра?

Шкаликов предполагает, что волок по бревнам нереален, а вот зимой на полозьях — другое дело. И в самом деле, для волока по бревнам необходима ровная сухая дорога. Была ли такая между Касплей и Днепром?

Но факт остается фактом. И то, что смогли сделать жители тех мест в XVII веке, наверняка было по силам и смолянам, жившим семью столетиями раньше.

Да мне все же вариант обмена судов кажется более приемлемым.

И сам я так и поступил!

После пятидесяти лет старая байдарка «Таймень-2» стала обременять меня. Весит она 36 килограммов, собранная — очень длинная. Хотя ее ходовые качества великолепны.

Но я продал байдарку парню, который собирался установить на ней парус и ходить с сыном по Десногорскому водохранилищу, а сам на вырученные деньги купил одноместную байдарку «Большой бродяга». Название тяжеловатое, а весит как пушинка в сравнении с прежней: девять килограммов.

Я решил соединить две реки — Днепр и Западную Двину. То есть все-таки не от самого Днепра подниматься по непроходимым мелким речкам, а начать сплав в озере Каспля. Как будто оставил старую ладью в Днепре, а в Каспле пересел на новую.

## 15

И пасмурным майским утром на берегу озера Каспля накачал байдарку и попытался уложить походные вещи в отсеки. У меня ничего не получилось. Оказалось, что внутри можно разместить совсем немного вещей. Что ж, пришлось остальное в гермомешках взгромоздить сверху, на «палубу», принайтовив их крепкими широкими матерчатыми ремнями. Я купил байдарку с закрытой декой. Тут, видимо, сказались еще какие-то детские мечты о кораблях и яхтах. Пусть маленькое, но — настоящее суденышко, которое не зальет волна. Ведь и фартук был в комплекте.

...И вот передо мной не море, а спокойное озеро Каспля.

Вспомнил, как в детстве повез такую же малышню, как сам, ну может, на год-два помладше, двух девчонок и мальчишку на деревянной лодке по этому озеру. И лодка потекла, все заголосили, едва успели до мелководья дотянуть. Взрослые устроили мне взбучку. Другое происшествие в Каспле (озеро Каспля и село на высоком берегу Каспля) случилось в саду, присел я с любопытством возле улья, взял сучок и сдуру придавил одну пчелу у летка. И тут же был атакован ее сестричками. Всего четыре пики воткнули в меня, я с воплями убежал в дом, руку разнесло, и ночью начались кошмары. До сих пор помню: высокий тонкий мост, а по нему бегают толпы чертей туда-сюда, прыгают, повисают на перилах, хватаются за хвосты друг друга, падают в воду. А до этого один пацан, указав на пасшихся у полуразрушенной церкви коз и овец, сказал, что это черти. И я их взаправду боялся. Но после происшествия с пчелами понял, что он меня обманул, настоящие черти выглядели по-другому. Интересно, откуда же они явились в мой сон? Почему не в виде коз и овец? Видимо, из той копилки архетипов, о которой толковал доктор Юнг, и высыпались, не зря же говорится: выскочил как черт из табакерки. Архетипическая копилка и есть такая табакерка. А разрушенная Казанская церковь из темного красного кирпича мне потом часто снилась, и я всегда забирался куда-то повыше, а потом прыгал и летал внутри. За мной наблюдали то несколько местных жителей, то священники. Хотя священников я там никогда и не видел. И сейчас их нет. Церковь так и не восстановили, хотя село Каспля большое, известное. Зато по Москве церкви растут как грибы.

Выгреб я на середину серого продолговатого огромного озера Каспля и остановился, положил весло... Следил за чайками, смотрел на сосновые боры, крыши деревень.

Здесь материнская родина. Родина отца в другой стороне, на востоке от Смоленска, по дороге к Местности, там я все последние годы и жил по неделям в палатке, бродил с рюкзаком и фотоаппаратом, поднимался вверх по Днепру. Там и нашел главного героя будущей книги — волхва Хорта. Или он меня отыскал, пришел во сне прямо на Воскресенскую гору.

А здесь... Вон — деревня, наверное, это и есть Горбуны... И я взялся за весло, погрузил его в воду. Новая байдарка казалась мне не очень удобной, слишком маленькой, слишком поворотливой. Сделаешь гребок, и она сильно рыскает носом в сторону. Прежняя так не рыскала. И тесно в ней, ноги упираются в оболочку, на которой лежат складная тележка и мешок с продуктами.

Надо привыкать.

Причалил к берегу. Ближе от озера колодец. Вода чистая, ледяная. Наверное, ключик и есть.

Об этом ключике, видно, и писал дядя Костя. Да, у родного брата матери дяди Кости проснулась тяга к сочинительству, как и у старшего брата Вити, а еще раньше у их отца Павла, оба последние стихи сочиняли, дядя Витя подражал Твардовскому, с ко-

торым ему доводилось встречаться, когда он стал работать журналистом на областном радио, а потом в смоленской газете «Рабочий путь». А дядя Костя, живя в Ленинграде, написал книгу по градостроительству и еще воспоминания об оккупации и о жизни до этой напасти.

В своих воспоминаниях он сообщал, что его прадед в четвертом поколении служил солдатом-рекрутом 25 лет в николаевскую эпоху, звали его Максим Доледудин; прадед в третьем колене — Доледудин Никифор Максимович прожил 94 года, женился он на Прасковье Михайловне, которую взял из местечка Бор, и потому возникла такая фамилия — Боровченковы. Сын Никифора Андрей тоже прожил 94 года.

Это был суровый и крепкий человек.

Как мне сообщила родственница Рита Боровченкова, живущая сейчас в Архангельске: «Дед Боровченков Андрей Никифорович был крутым человеком, семью держал в кулаке. Хозяйство у них было крепкое, большое, много полей, скотины. Постоянно у них жили два-три батрака, но и своим внукам дед спуска не давал, все много работали. По местным меркам их семья относилась к разряду кулаков».

Его сын, то есть дед дяди Кости и мой прадед Трофим Андреевич, родился в 1858 году. В 56 лет его призвали на фронт Первой мировой, под Витебском он попал в газовую атаку, отравился и погиб. И Ефросинья, его дочь, а моя бабка, как самая старшая — ей было 13 лет — запрягла лошадь и поехала за отцом. Ехала 120 километров до Витебска, там труп погрузили на телегу, и она поехала назад. Похоронили его на кладбище в деревне Белодедово, это примерно в пяти-шести километрах от Каспли. Там он жил до войны. И был Трофим Андреевич Боровченков зажиточным крестьянином. Хотя семья была в девять человек, родители, сам с женой и еще пять детей. Трофим Андреевич понаторел в гуртовой торговле. Ранней весной скупал коров, бычков, телят, овец. А после зимы животины были вся лядащая, как говорится, и многие, боясь и вовсе ее потерять, охотно продавали по дешевке. Дальше Трофим Андреевич нанимал двух пастухов, и те выгуливали стадо повсюду: на лесных полянах, по овражкам, речным берегам. Осенью Трофим Андреевич садился в бричку, брал пастухов и гнал стадо в Смоленск. Сдавал на мясо. В Смоленске он увольнял работников, ну, и те, конечно, шли в кабаки, а Трофим Андреевич накупал в смоленских магазинах всякого товара и на зиму в своей избе открывал лавку, торговал солью, спичками, крупами, керосином, галошами, штанами, рубашками, хомутами и сбруей. Так и жил... Пока не отравился на фронте.

В деревнях эту семью звали Боровками. Боровки из Бора. На карте я нашел Бор на речке Жереспее, впадающей в речку Касплю, и собирался туда подняться на лодке.

А пока пил водичку из колодца в Горбунах...

Здесь, по свидетельству все того же дяди Кости, до войны жила наша родственница Марья. Была эта Марья сказочница. Ее все дети любили. Как придет к кому в гости, ребятишки сразу требуют сказку. И Марья не отказывалась, неторопливо вела речь о колдунах, леших, кладах, зарытых в глубинах чудесного леса...

Оковского леса-то.

Вот я за этими кладами и отправился.

Дядя Костя вспоминал, как однажды шли они с Марьей по берегу озера, день жаркий был, и у ключика они присели на траву, напильсь воды. И Марья повела свою речь...

Тут у меня в глазах вся чаша серой воды озерной прямо качнулась. Да вот так и начать книгу о лесе трех рек!

Как бы я хотел увидеть краем глаза эту сказочницу Марью, но фотографий не сохранилось.

И я фотографирую колодец с чистой холодной водой.

А на взгорке посреди деревни стоят сосны. Дай-ка взойду туда. Поднялся. Кладбище. А вдруг?.. Пошел среди крестов и обелисков, читая имена и фамилии. Нет нигде сказочницы.

На обратном пути встретил загорелую женщину средних лет, она была в перепачканной одежде, работала на огороде. Спросил ее о Марье, о Боровченковых, о дядях моих Исаченковых, о летчике деде Грише. Нет, она никого не знала. А у колодца воду набирал пожилой мужик в робе. Тот нахмурил седоватые брови, пошевелил вислыми седыми усами, повторяя про себя имена и фамилии, и тоже покачал головой. Нет, никого не знает. Хотя он и местный. Но сколько времени уже прошло...

Набрал в пятилитровые бутылки воды. Привязал их сверху байдарки, уселся и оттолкнулся от берега. Отплыл, оглянулся.

После похода на велосипеде к истоку Днепра мне приснился подарок — родник. Будто кто-то мне его подарил. Родник в подарок. Радовался и во сне, и потом наяву.

Так, может, вот этот родник и есть?

Да слишком рядом... Тот родник, за которым пойдет сначала вверх по Днепру, а потом и дальше, выше волхв, где-то в самой глубине Оковского леса. Зачем вдруг ему понадобился неведомый родник? Ну, я это уже знаю. Но пока не открою.

Путь мой неблизок.

Вечером ударил кулак грома по серому зеркалу озера, оно треснуло и просияло молниями, хлынуло изо всех дыр небесных. А после дождя прямо посередине пасмурного дымчатого озера проплыл лебедь, и это был первый вестник гиперборейской дороги.

Закували кукушки, воспели соловьи.

И снилась мне мама.

Ночью светила луна, все шелкали до умопомрачения соловьи.

После завтрака собрал лагерь, погрузил в лодку и отчалил, снова побывал в Горбунах, наполнил бутылки и пошел рассекать синеву озерную. Светило солнце, кричали чайки, дул ветер. Озерная воля захватывала.

Началась речка. Сразу увидел красную полуразвалившуюся Казанскую церковь. Речка шла вокруг холма с церковью. Село выглядело с реки очень живописно: развесистые ивы, тополя, березы, в садах яблони, улы... с чертями. Ну и ну, ассоциация детская. А ведь пчелы, наоборот, божьи посланницы, они несут миру свечки, кормят всех целебным медом. Что ж поделать, если эти создания дарят и яркие жуткие галлюцинации. И вообще могут закусать до смерти.

А в средние века пчелы и вовсе кормили Смоленское княжество. П. В. Голубовский в своей неустаревающей капитальной работе «История Смоленской земли до начала 15 века» пишет об этом: «Пчеловодство играло едва ли не первую роль в промышленности Смоленской земли. (...) Воск и мед шел для внутреннего потребления, но огромное количество его вывозилось также за границу. Это был главный предмет вывоза...»<sup>21</sup>

Любопытно, что мед и воск брали не на пасеках, а в бортнях, то есть в дуплах. Значит, Оковский лес был наполнен пчелами. И кудлатый бортник с вьющимися вокруг головы жужжащим нимбом явится в моем романе обязательно, где-нибудь на северных границах этого леса, в Женне Великой, между Двинской водной системой и Волжской, точнее — между озером Охват и озером Пено. Там есть речка Исна Большая, которую крестьяне раньше и называли Женей. И это и есть, видимо, Ження Великая из Устава Ростислава 1136 года, грамоты смоленского князя, в которой речь идет об учреждении смоленской епископии с перечнем княжеских даней, взимаемых с различных населенных пунктов княжества, и о том, что с них десять процентов идет епископу, а также сообщается о передаче из княжеского домена двух сел, участка земли, охотни-

<sup>21</sup> П. В. Голубовский. История Смоленской земли до начала 15 века. М.: Кучково поле, 2011, с. 84.

чьих и рыболовных угодий и сенокосов<sup>22</sup>. П. В. Голубовский считал, что это название — Ження Великая — «также ведет свое начало от того же промысла, так как *жень* означает стремяшко, лазиво, снасть для лаженья борти и добычу меда. Это поселение могло стоять в местности, особенно богатой бортями или известной по изготовлению древолазных орудий»<sup>23</sup>.

В Женню Великую мне еще предстоит подняться, это верховья Западной Двины и Волги, Валдай, макушка русского мира.

А река все кружила вокруг холма, и мимо проплывали сады с цветущей сиренью, вскопанные огороды, баньки с грудями наколотых дров, перевернутые лодки. И вверху среди тополей и берез все краснели кирпичи обезглавленного храма, и мне даже подумалось, что эти разрушенные церкви похожи на наших солдат, polegших в лесных далях и до сих пор не захороненных. Но только эти Христовы обезглавленные воины поблизости, под рукой. И сколько их по Руси. И никому нет до них дела. Мог бы патриарх на своем вертолете-то пролететь и посмотреть да нанести на карту памяти. Что же все Москву застраивать храмами. Кроме Москвы, еще есть Россия. Или уже нету?

С этой церковью связано семейное предание, точнее, одна из версий этого предания. А еще точнее, не с этой церковью, а с ее предшественницей, деревянной еще церковью, но тоже Казанской.

«Легенда такая, вариант, который хранился в нашей семье со слов папы. Солдат — рекрут, отслужив 25 лет, вернулся на родину, где не осталось ни дома, ни родных, поэтому он остановился в Каспле. Была весна. Казанская церковь стоит на высоком, крутом косогоре. От церкви отъезжает экипаж и по какой-то причине кони понесли по скользкому спуску. Еще секунда и возок опрокинется. Выскакивает солдат и, рискуя жизнью, останавливает лошадей. В кибитке находилась дочь богатого купца. Чтобы отблагодарить солдата, купец дает ему приличную сумму денег. На эти деньги солдат смог получить надел, построить дом, сосватать жену. И пошел наш род. Не знаю, правда это или вымысел папы, но она грела ему душу.

Есть вторая легенда (...). Солдат со своим сыном, живя на отшибе, промышляли разбоем. Однажды они убили богатого купца, ограбили его и где-то спрятали клад. Этот клад искали многие, ничего не нашли. Когда сестрам пришлось переезжать в Касплю, они перерыли весь дом, ничего не нашли, но упорно твердят, что клад был. Даже в наше время, Николай ездил на старое место с каким-то приспособлением искать клад. Разве не смешно?.. Гораздо интереснее легенда о рекруте», — написала мне из Архангельска Рита Боровченкова, моя троюродная тетя.

Николай — это мой родной дядя, окончивший арктическое училище в Ленинграде и ходивший моряком на кораблях по всему миру.

Две версии как развилка судьбоносной дороги: налево пойдешь — честным и богатым станешь, направо — тоже богатым будешь, но с камнем в груди.

Конечно, первая версия так и блещет романтизмом. Ее и выбрать!

Но что-то говорит и в пользу второй.

То есть?

Вторая как-то правдоподобнее.

А читая первую версию, я так и увидел этого понурого солдата с поседевшими усами, в двубортном мундире с начищенными пуговицами, полотняных белых шароварах, коротких сапогах, со скрученной старой шинелью, на колене фуражка висит... Мешок заплечный на земле с хлебом, луковицей, солью, куском копченого сала и пустой фляжкой. Правда, кажется мне, что сидит он именно у этой Казанской церкви из красного кирпича, а не возле деревянной. Но кирпичную построили только в 1914 году.

<sup>22</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 21.

<sup>23</sup> П. В. Голубовский. История Смоленской земли до начала 15 века. М.: Кучково поле, 2011, с. 85.

И тем не менее... Ладно. Солдат здесь отдыхал в тени, размышлял о жизни, мол, куда податься? В Белодедове хаты уж нет, родители померли. Здесь, в селе Каспля, тож никого... Глядит, как из церкви выходит барышня в светлом платье, в шляпке, как она садится с помощью кучера в коляску. Кучер занимает свое место, оглядывается, трогает... И тут кто-то испугал лошадей, и они заржали да и понеслись. Солдат мигом вскочил, опрокинул мешок, с колена его слетела фуражка. Кинулся наперерез, схватил лошадей под уздцы. А был он, видно, крепок.

Ну, а второй вариант как-то и не вырисовывается живописно. Нет картинки, короче.

Верить ли живописной интуиции?

Не знаю.

...И вдруг, огибая этот холм, я увидел какой-то знакомый крутой склон в больших деревьях, внизу дом, сад... И меня пронзило: да это и есть дом бабы Майи, родственницы матери, у которой я жил летом полвека назад. Полвека, звучит-то как весомо. И скажочно. И — пусто, тут же сообразил я. По-буддийски пусто. Ибо где оно, то лето? Да и имя доброй старушки настраивает на тот же лад: майя — одна видимость, кажимость мира.

Но пчелы-то кого кусали?

Я все оглядывался на этот берег, а река уносила мою лодку дальше. И сейчас мне кажется, что в ней и сидел шестилетний малый.

И я не о себе, а — о вас.

## 16

Река уносила меня в неоглядные заливные луга. Дальше и дальше. Правда, иногда зеленые тарелочки кубышки заплоняли все русло от берега до берега, и приходилось рубиться сквозь них. Но в основном река была свободная, спокойная, довольно полноводная. Низкие берега давали хороший обзор.

Но вестников гиперборейской дороги я не увидел заранее, они плавали в заводи за поворотом. Два лебедя. Полез за фотоаппаратом, потом попытался подплыть ближе, и они сорвались, взлетели с шумом, пошли на меня, резко взяли в сторону, крикнув гортанно.

Гиперборейцами, как я уже говорил, Рыбаков считал прибалтийские племена. Они и отправляли приношения в далекую Грецию, в храм Аполлона на острове Делос.

Когда родился Феб-Аполлон, ему  
Златою митрой Зевс повязал чело,  
И лиру дал, и белоснежных  
Дал лебедей с колесницей легкой, — писал в своем гимне Аполлону Алкей.

Эта даль Эллады дышит мифами, и они лучшее обезболивающее при обращении к недавней истории. Хотя реальность Эллады была достаточно жестокой. Но нам в это уже трудно поверить. Такова дымка времени.

...Решил проверить металлическое приспособление для пуска ракеты, называется «Выстрел охотника» для отпугивания диких животных. Грохнул выстрел, ввысь взвился алый огонек, описал дугу, упал в заливной луг да там и погас. Хорошо, что догадался именно здесь его опробовать, а то ведь так можно и лес поджечь.

Пил на берегу возле покинутой деревни кофе под липами и старыми березами, озирая луговые дали. Ветер наносил запах цветущей сирени.

Еще сильнее запах сирени был несколькими километрами ниже по течению. Там на высоком сухом песчаном берегу когда-то тоже стояла деревня. Хорошее место. Сосно-

вое. И никто не живет. А белая сирень яростно благоухает, и на этот дух летят пчелы, и шмели, и прочие жильцы воздушного океана.

Побродив там, спустился к лодке и отчалил. И уже вскоре достиг устья речки Жереспей. А по ней мне и надо было подняться, взойти к Бору, откуда есть пошли Боровченковы, ветвь моей бабушки Ефросиньи Трофимовны.

Жереспея весело и чисто набегала на нос моей байдарки. Грести пришлось упорно, и чем выше — тем со все большим упорством и наконец вообще изо всех сил. Течение было стремительным, чуть замешкаешься, и байдарку сносит, тащит вниз. Поворот следовал за поворотом. Очень извилистая речка. И узкая. Как здесь могли пройти ладьи? Ладейщики все весла переломали бы. Ладья застряла бы в поворотах, как пробка в горловине бутылки. Не пойму я эту страсть кабинетных ученых фантазировать насчет пути из варяг в греки. По Каспле действительно можно и вниз спускаться, и вверх подниматься и даже большим ладьям и норманнским кноррам. Но в такие речки, как Удра, Жереспея, Василевка, Царевич, Хмость, Вопь в верховьях, Вазуза в верховьях, Рутавеч и прочие, что фигурируют в списках этих ученых, ладьи и кнорры, даже смазанные медвежьим жиром, не пролезут.

Впрочем, говорят, что реки тогда были полноводнее. Географ Шкаликос это подтверждает. Но насколько полноводнее? И полноводнее они были потому, что еще мелиораторы не копали свои траншеи, а лесорубы не вырубали напрочь леса. Но любая лесная речка, даже и полноводная, но не очень широкая, всегда перегорожена упавшими деревьями. После весны на таких реках возникают завалы. Разобрать завал из стволов, веток, тины, травы — занятие трудное. Для того чтобы постоянно прочищать такую реку, необходима важность ее именно как пути куда-то. Спрашивается, зачем пробиваться по той же Вопи со многими волоками из Днепра в Западную Двину, если проще сделать это по маршруту с одним волоком — через Касплю? То же касается и Рутавечи и вообще всех гипотетических маршрутов из Двины в Днепр. А также еще и по Сожу, который впадает, вообще-то, в Днепр. Из Смоленска, стоящего на Днепре, тащить корабли в Сож, чтобы ниже по течению оказаться в том же Днепре.

И так и непонятно, действительно ли таскали посуху ладьи и норманнские кнорры?

Например, Алексеев и Голубовский ссылаются на торговый договор Смоленска с немецкими купцами Риги и острова Готланд, в котором речь идет как раз о волоках, тиуне, княжеском распорядителе на таком волоке, но ведь ни слова нет о кораблях, только о перемещаемых товарах.

Эффектно выглядит такой волок на картине Рериха «Волокут волоком». Там видно, что тащат ладьи по уложенным на земле бревнам. По такой бревенчатой дороге, возможно, и поедут на катках корабли. Но действительно ли на волоках были такие настилы — длиной в двадцать и больше километров? В городах не на всех улицах были такие настилы, все тонуло в грязи.

Не знаю, но волочение кораблей очень сомнительное занятие. А что же тогда волокли? Грузы. Причем дороги были такие, что грузы именно волокли — на волокушах, а не на телегах. Телеги вязли и ломались. Вообще сухопутных транзитных дорог в IX—XIII веках, как отмечает Алексеев, не было совсем. «Дороги прямоезжие в полном смысле этого слова, т. е. дороги через леса и болота, появились гораздо позднее, главным образом в эпоху артиллерии»<sup>24</sup>.

Были дороги между деревнями. «Главная дорога северной части Смоленщины шла прямо на север от Смоленска к Вержавску...»<sup>25</sup>

О Вержавске я давно слышал, это древний исчезнувший город далеко на север от Каспли. И я еще туда доберусь.

<sup>24</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 72.

<sup>25</sup> Там же.



Так что дороги были в основном по рекам. Зимой по льду этих рек. Видно, поп Еремей и княжеский человек сотский Пантелей, отправленные в январе—феврале 1229 года князем Мстиславом Давыдовичем из Смоленска в Ригу для составления договора, и двигались в санях там, где сейчас плыву я.

Но они, конечно, не сворачивали в Жереспею, если не было на то какой-нибудь надобности, а ехали дальше по замерзшей Каспле. Фыркали лошади, скрипели сани, в которые были навалены меха поверх сена. А в те меха и кутались поп Еремей с жидкой бородкой в инее да княжеский лобастый муж сотский Пантелей в бобровой шубе, бобровой шапке, с толстым красным носом. Путь в Ригу далекий...

А я бороздил Жереспею. Иногда казалось, что не пролезу между упавшими деревьями. Да как-то умудрялся. Тут я по достоинству оценил вертлявость моей байдарки. Вода под веслами бурлила, как будто к ним приделаны были моторчики. Я не сдавался. Ведь впереди меня ожидало родовое гнездо Бор. А отцовское на юге от Смоленска называется Барщевщина. Сейчас я был на севере от Смоленска.

...И вот среди трав и деревьев под вечерними облаками показались крыши. Бор. Я причалил к берегу, перевел дух. Уже был вечер. Я чувствовал усталость. Даже сразу не выбирался из лодки, сидел, отдышал... Как вдруг на берегу появился пожилой мужик. Седоусый, широколобый, жилистый, крепкий, в темных штанах и светлой грязноватой рубашке поверх черной футболки, в китайских пластмассовых шлепанцах на босу ногу. Он с любопытством смотрел на меня. Наверное, нечасто сюда заходят байдарочники.

Разговорились. Звали его Борис. Родился в Бору. Сейчас живет один, но сын к нему часто навещается, он заядлый пчельник, держит пасеку. Я и видел улья и ловушки для пчел на деревьях. Спросил я Бориса о моей родне.

Он погладил густые седые подстриженные усы.

— Прасковья? — переспросил.

— Да, ее взял отсюда мой прапрапра... — Я сбился. — В общем, пращур по имени Никифор Максимович. А ее звали Прасковья Михайловна. И от названия этой деревни пошла их общая фамилия Боровченковы.

— А у меня тетку так звали: Прасковья, — ответил Борис и удивленно добавил: — И отчество такое же.

Я развел руками. Он покачал головой.

— Но твою родню я не знаю.

Я сказал, что Боровченков Григорий Трофимович был летчиком, о нем стихи писал поэт Матусовский в «Комсомольской правде»:

То «свечой» в небеса,  
то над самой травой,  
то готовя внезапный  
удар лобовой,  
то дорожку огня,  
прочертив за собой,  
истребитель Боровченко вышел на бой.

Борис взглянул на меня внимательно:

— Так Боровченко?

— Изначально Боровченков. Но из Белодедова он подался в Донбасс, работал на шахте, там вз и потерялось. А его братья остались Боровченковыми. Его племянник, мой дядя Витя, воевавший на танке, после войны стал журналистом и в знак прекло-

нения перед Григорием Трофимовичем тоже усек свою фамилию Исаченков — до Исаченко. Дед Гриша начал войну капитаном, командиром эскадрильи, в сорок третьем после двух ранений стал командиром противовоздушного полка и дослужился до подполковника.

— А мой батя, — заговорил Борис, — Филиппенков Иван, Иван Васильевич, — добавил он, кашлянув, — он был, короче, партизан. И знали его тут в окрестностях как Ваньку Черного. Подрывал поезда. Ему еще и семнадцати не было, как он начал. Пошерстил немца. Так, что у того кровушка с кисточек ушей капала. — Борис усмехнулся. — Но ситуация была не такой простой. За него никого не могли расстрелять. Еще не успел обзавестись женой, детворой. А так-то разговор был простой: семью партизанскую — к стенке. И так бывало: ставят выбор тебе, хлопец. Или ты идешь в полицаи, или твоих почикают. И хлопец думал: а, ладно, сейчас соглашусь, а потом переметнусь как-нибудь по-тихому, мол, я свой, дам знать нашим, сообщайте задание... — Борис махнул тяжелой рукой. — Да где там!.. Иногда не успевал мяу сказать, как в ту же ночь на шею пенька, и все притушили, лишили воздуха, язык набок, как у щенка. Да и немец не дурак, верно? Он этих новичков сразу к ногтю, в дело, охранять кого или шариться по лесу за партизанами. Повязать кровью. И кто там будет разбираться, стрелял — не стрелял. Сколько их прикончили партизаны, свои же, соседи, может, дальние родственники даже, ну? Ну и те отвечали тем же. Тут главное грамотно сравить. А немец был грамотен. И еще неизвестно, как бы мы себя повели, — заключил он свою речь.

Мы помолчали, слушая квохтанье кур на дворе близкого дома и лепетание Жереспей.

— А Бор немцы сожгли, — сказал Борис. — Дотла. Шестьдесят дворов.

Мы снова помолчали.

— Но сейчас она не сгорит, — убежденно проговорил Борис.

— Что?

— Деревня.

— Почему? — спросил я.

— Она святая.

— Кто? — опять не понял я.

— Деревня, — ответил он. — Вот слушай. Раз иду я вечером, ну, думаю там чего-то... Подымаю голову: опа! Сосна на кладбище в огне. Вся! Я рванул ворот рубахи, уже жарко враз стало. Что делать? За ведром метнуться, на реку за водой... Но подхожу ближе. Что же это такое? Нету ни огонька, ни уголька вообще никакого совсем. Роса на траве. Я пощупал ствол: прохладный, живой. — Борис быстро взглянул на меня из-под лохматых черных бровей. — Думаешь, например, я был того? — И он щелкнул выпуклым ногтем по небритому горлу. — По нулям, как говорится. Ни в одном глазу. Обошел я сосну, потом подумал, подумал и — понял. Вспомнил: под этой же сосной похоронен один старик. Немцы его расстреляли за помощь партизанам. Ну?

Борис вопросительно-требовательно глядел на меня. Но я не знал, что сказать.

— Да это означает, что старик святой, — сказал Борис. — Раз сосна над ним полыхает и не сгорает. Про благодатный огонь слыхал?

Я кивнул.

— Ну, вот он и есть. И от одного вся деревня такая — святая. И вот с того дня я поверил.

Я не ожидал это услышать. Вспомнилось читаное у Солженицына: не стоит село без праведника...

Спросил, где здесь кладбище. Борис указал. И я направился к нескольким старым соснам на возвышении. От деревни здесь уцелели еще два дома. Но обитаем только один. А в остальные вроде бы приезжают дачники. Борис не сопровождал меня. И это было хорошо.

Перед кладбищем стояли железные ржавые ворота без всяких створок, скорее, арка с крестом вверху. Кладбище все было обнесено невысокой металлической оградой, наверное, чтобы скотина не лезла на могилы.

Небо уже стало чистым. И над кронами сосен висела половинка луны. А сосны еще освещало солнце. Возле старых сосен восходили уже и молодые. Цвел куст сирени. В речных и лесных, луговых далях, залитых солнцем, пели птицы, гулко куковали кукушки — как будто колокола били.

Надо же, думал я, бродя меж могил, осыпанных хвоей, разглядывая обелиски и кресты, надо же... А что «надо же»? И не помню. Лучше тут вспомнить пушкинские две любви: к родному пепелищу и отеческим гробам. В тот вечер мое сердце этой пищей и питалось.

## 17

У меня есть дневник деда Гриши, там он описывает ранение и крушение и то, как пробирался по мартовскому лесу и едва остался жив.

Впоследствии за тот бой Григорий Трофимович Боровченко был представлен и награжден орденом Ленина. После лечения и отпуска снова на фронт. Второе ранение истребитель Боровченко получил под Старой Руссой. И тогда он был назначен командиром авиационного полка ПВО. К середине октября 1943 года на счету летчиков этого полка было 130 сбитых самолетов. Под командованием Боровченко полк получил звание гвардейского.

Григорий Трофимович Боровченко дослужился до подполковника, был награжден орденами. Жил в Волгограде, приезжал на родину, в смоленскую Касплю. А во время войны он умудрился приземлиться возле хаты, в которой жила его родная сестра Ефросинья со своими детьми. Об этом пишет дядя Костя. Что, мол, прилетел дядя Гриша на У-2, «кукурузнике», приземлился в пятидесяти метрах от хаты. Прилетел он с ординарцем. И тот посадил Костю в кабину. И подросток до самого вечера не покидал кабину. Ведь это был настоящий самолет! И он воображал себя летчиком. Утром дед Гриша напился чаю, со всеми попрощался, залез в кабину с ординарцем, и самолет разбежался по лужку да и взлетел, сделал круг над Касплей. Дед Гриша был человек прямолинейный. Мог бы стать, как пишет дядя Костя, и героем СССР, но при вступлении в партию в анкете написал, что он сын кулака. А ведь точно, он и был достойный сын своего отца, упорного крестьянина, достойный потомок николаевского солдата Максима Доледудина, и воздушным кулаком громил врага.

Дед Гриша жил на Волге. Любил рыбалку. На зимней рыбалке в восемьдесят два года он и скончался. Как еще мог умереть этот солдат?

И я надеюсь еще написать «книгу летчика», так называю ее пока, это будет третья книга цикла «Лес трех рек», первая — вот эта, документальная, вторая — про волхва, уходящего в глубь Оковского леса, а третья... Но лучше три эти книги не обозначать так-то: первая, вторая, третья. Пусть это будет свободная трилогия. Первой может стать для кого-то книга о волхве, а для другого — о летчике или эта, документальная. У каждого читателя будет своя трилогия.

...Заночевал я не в Бору, скатился назад по Жереспее в Касплю, а там вошел в бобровую заводь. Как же мне не хотелось вставать рано утром! В половине пятого! Мышцы ныли и гудели, голова была тяжелой. Но ловля света есть ловля света. И я поднялся, кряхтя и постанывая, натянул резиновые сапоги от солдатского костюма химзащиты, плащ-дождевик, повесил на одно плечо сумку с фотоаппаратом, на другое чехол с треногой и побрел в росистых травах. Сразу вспугнул хозяина заводи — бобра. Он ударил хвостом и исчез.

По полям и лугам, над рекою стлался туман. Солнце еще не взошло... И уже всходило под пение соловьев, кукование кукушек, озаряя белые следы от самолетов. Их было в небе так много, будто трещин во льду. И сквозь этот лед проломилось солнце, всеохватывающее тепло шло от него. На месте бывшей деревни белел островок сирени. Молодые маленькие сосенки играли, сверкали росой, как неведомые веселые звери. На склоне берега под другим кустом сирени я увидел два продолговатых гранитных камня. Надписей никаких не было. Но мне они напомнили скрижали. Что же могло быть написано на скрижалях каспьянской жизни? И вообще смоленской?

Любовь к своей земле.

Суровость к себе и людям.

Непокорность иноплеменному врагу.

Но покорность своему князю.

Великое трудолюбие.

И молитва.

Когда тут ехали поп Еремей да сотский Пантелей, из укромных сих мест еще не выветрился дух языческих богов и богинь. В глубинах Оковского леса волхованье не прекратилось. Язычество переплеталось с новой верой, пришедшей снизу по Днепру. Отсветы этого реликтового излучения академик Рыбаков видел и в XIX веке. Даже пережитки языческих трупосожжений в виде гигантских костров над могилой дожили до XIX века.

А в вышивках языческие мотивы сохранялись и в XX веке. Рыбаков любит разбирать эти вышивки... Они вправду красочны и удивительны. Макошь, кони, солнца, бергини, цветы, дерева. Мир языческий предстает в этих полотнищах, как Черный вигвам Дэвида Линча, только вместо красных полотнищ тут белые с красными и желтыми, зелеными и голубыми рисунками.

## 18

«Введение христианства резко оборвало давнюю традицию „соприносимых в жертву“ княжеских слуг»<sup>26</sup>, — пишет Рыбаков.

Известное описание арабского дипломата Ибн-Фадлана, видевшего похороны знатного руса на Волге, не оставляет равнодушным, когда речь заходит о последних часах обреченной на заклятие девушки, то, как ее поднимают высоко и она якобы видит мир иной, мир предков за завесой, ирей, или вырей, языческий рай; а до этого она ходит по шатрам и спит с лучшими воинами; и перед самой смертью происходит соитие в шатре с ближайшими людьми умершего; а потом ее закалывает долго и нудно женщина-чародейка, и все громко поют, гремят щитами, чтобы заглушить ее крики и стоны... И так и видишь, как на полотенцах с яркими вышивками, из которых и состоит воображаемый языческий шатер, подобный Черному вигваму «Твин Пикс», проступают еще более яркие рисунки — кровью той жертвы.

Ибн-Фадлан сообщает и то, что в замке царя русов живут четыреста мужей из числа богатырей, и среди них есть надежные люди, которых убивают при его смерти.

Рыбаков предполагает, что и погребение Ольгой своего мужа Игоря было чисто языческим, с обильными человеческими жертвоприношениями. Первую делегацию древлян, пришедших искупать убийство князя приношениями и предложивших ей в мужья своего князя, Ольга приказывает перебить и похоронить в ладье, как того знатного руса из рассказа Ибн-Фадлана. Другое посольство древлян Ольга сжигает в баньке. Знатного руса тоже сожгли. «Третьим эпизодом посмертных почестей Игорю было

<sup>26</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 282.

убийство огромного количества лучших древлянских мужей во время погребального пира на кургане, воздвигнутом над могилой Игоря, уже после погребения»<sup>27</sup>.

Разбирая понятие «смерд», Рыбаков приходит к выводу, что смерд-смард-смурд — и есть «соумирающий».

«Принятие христианства резко упразднило варварский обряд „соумирания“, и термин „смерд“ стал загадочным анахронизмом»<sup>28</sup>.

А на самом-то деле смерды, как впоследствии называли уже и всех крестьян, продолжали соумираться. Соумираться с князьями, их сыновьями, братьями в междоусобицах. Соумираться с военачальниками в битвах. Соумираться с другими безвинными под огнем и мечом песьеголовых сподвижников параноика Грозного. Соумираться с другими на стройках Петра Первого. Соумираться в концлагерях еще одного великого параноика Уса. Соумираться вместе с другими от голода. Соумираться под шквальным огнем немцев. Соумираться в Афганистане, Чечне. Русский человек так и остался смердом — соумирающим. И на тех скрижалях, найденных на склоне берега над речкой Касплей неподалеку от устья Жереспеи, надо выбить еще пару слов: смерды во веки веков. Аминь.

И уж если честно говорить, то и религиозные жертвы продолжались.

Во-первых, казнили и в том числе сжигали прежних служителей культа: волхвов, чародейников, облакогонителей. Во-вторых, и своих же братьев-христиан после раскола. Аввакума Петровича сожгли. А еще — много его последователей.

Но хуже то, что церковь слилась с государством, и посему все, написанное выше о соумирании, относится и к ней.

Приходится согласиться с Рыбаковым: «Со времен Константина Великого (306—337), крестившего Византию, христианство стало государственной религией и все дальше и дальше отходило от принципов „нового завета“, опираясь все в большей степени на полный коварства, жестокости и автократизма „Ветхий завет“ (Библию).

Силу такого государственного христианства составляло сочетание принципа незыблемости и безграничности власти, взятого из Библии, с принципом покорности и смирения, взятым из евангельского учения»<sup>29</sup>.

Государство — а с ним и церковь — требовало жертв ради своего существования и незамедлительно их приносило. Смерд никогда не прекращал своего соумирания. И сколько было совершенно неоправданных и бессмысленных жестоких этих соумираний!

Соумираться отправились на Ригу, как я уже писал об этом, и стрельцы летом 1656 года на стругах, сработанных в селе Каспля умельцами под доглядом стольника Семена Даниловича Змеева.

Здесь вот эти струги и проплывали, думаю я, продолжая путь на своей байдарке над подводными травами, похожими на длинные волосы русалок, над валунами, среди лесистых берегов с остроконечными елями. Да, Каспля вошла в зону леса.

Как они здесь проходили? В молчании, лишь плеща веслами? Или слышны были разговоры, а может, кто и песню затянул?

Например, эту:

Как далече-далече во чистом поле,  
Далече во чистом поле,  
На литовском на рубеже,  
Под Смоленском-городом,  
Под Смоленском-городом,

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Там же, с. 283.

<sup>29</sup> Там же, 456.

На лугах, лугах зеленых,  
На лугах, лугах зеленых,  
Молода коня имал,  
Молодец коня имал...

Но тут песню прерывает сообщение. Необходимо быть на Красной площади в скором времени.

Нет, это не казнь стрельцов. А для меня как казнь! Но Ольга Новикова из «Нового мира» неумолима. Моя книга о событиях, предшествующих этому походу стрельцов на стругах, то есть о попытке русских отбить Смоленск у поляков в 1532 году, может оказаться в коротком списке премии «Большая книга». И тогда внимание ей обеспечено. Какой же автор лишит книгу такой возможности? Хотя это и противоречит моему обычаю.

Это будет литературный обед в ГУМе.

Приходится согласиться. И значит, до устья Каспли не доплыву. А только до города Демидова, огуречной столицы и родины Юрия Никулина, — Поречья, как этот город прежде именовали.

Но многое мне стало ясно на этой реке. Те же скрижали нашел. Насчет Еремея и Пантелея еще не знаю. Пока не определился с точным временем будущей книги. Может, XIII век, тогда Еремей и Пантелей окажутся в книге. А может, XII век, тогда они еще не родятся. Какое время выбрать? Мне нужен волхв в полной силе. В XII веке он, конечно, сильнее, чем в XIII.

Но и в XIII еще Русь волховала: «Никоновская летопись дает более подробный текст:

1227. „Явишася в Новеграде волхвы, ведуны, потворцы и многая волхования и потворы и ложная знамения творяху и много зла содеваху, многих прелщающе. И собравшееся новгородци изымаша их и ведоша их на архиепископ двор. И се мужи княже Ярославли вступишася о них. Новгородци же ведоша волхвов на Ярославль двор и складше огонь велий на дворе Ярославли и связавшее волхвов всех и вринуша во огонь и ту загореша вси“.

Мы не знаем, какая часть населения Новгорода организовалась для ареста волхвов и потворников. Княжеские мужи вступились за язычников, вероятно, потому, что самого Ярослава в городе не было (он совершал морской поход) и ответственность за порядок лежала на них»<sup>30</sup>.

Удивительно, конечно, что народное язычество в лице волхвов терпит тут крах. Но как замечает Рыбаков, это финальный эпизод как раз усиления языческого жречества. Были годы неурожайные, и народ зароптал на христианских священников, даже архиепископа Арсения выгнали из его палат. Вспомнили о русалиях, обрядах, к которым раньше прибегали, чтобы урожайным стало лето, тут и понадобились чародейники, и они незамедлительно явились. Но, видно, и они не смогли справиться с неурожаем.

XII или XIII?

Я так и не решил пока.

А вот речной капитан мне явился из Бора. Седоусый, кареглазый, с большими руками, крепкой жилистой загорелой шеей. И он будет водить суда смоленских купцов в Ригу. Если, конечно, это будет XIII век. В XII веке Риги еще не было и в помине. Год основания города — 1201-й.

Надо учитывать все. Историческое повествование можно уподобить плаванию по бурной речке с камнями. Чуть зазевался — и наскочил на валун.

Это произошло, например, в романе «Радуга и Вереск», ради которого я и должен был прервать мой поход. Есть там сцена переговоров под Смоленском между поляка-

<sup>30</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 686.

ми и русскими. Так вот, говорят они, не сходя с лошадей. А на самом деле должны были спешиться, таковы были правила. Этим выражалось уважение друг к другу. Но мне застилала глаза вражда. Казалось, они так ненавидят друг друга, что готовы кинуться в кулачный бой, а не соблюдать этикет. И все же это упущение.

Еще только начиная этот поход на озере Каспля, в первый вечер после грозы, видел я над водой часть радуги. И радовался: добрый знак. Радовался как язычник или как христианин? Ведь и у тех и у других радуга в небесных божественных знамениях. Не знаю. Да и, правду сказать, все же потом я разобрал, что это гало, а не часть радуги.

Ба-бах! Звонящий хлопок одной ладони. Дзен по-касплянски. Это мастер Бо — Бобер плыл, не замечая мою лодку, а потом узрел и тут же скрыл голову с ушками в воде, а хвостом оглушительно шлепнул.

Тут его царство. Следы его деятельности везде. Мощный подгрыз гигантского вяза, эффектно заваленная древняя ива. Плотинки на ручьях. Домики, похожие на простой нанос мусора.

Гребу, наслаждаясь сосновым воздухом, тишиной и чистыми берегами. Тут нигде не подходят близко к воде дороги, потому и не видно следов жизнедеятельности автомобилистов, детей пластиковой эпохи. Я уже проводил эксперименты на реках. Как только видишь замусоренный берег, знай: туда подходит дорога. Подплываешь: точно! Ну, на глубокой реке можно ошибиться: дороги нет, а мусор валяется. Но приглядываешься и обнаруживаешь на песке следы тяжелой лодки. Кто-то приплывал на моторке, а это те же самые автомобилисты. И так везде. И сладу с ними нет, ибо их сердца механические, как говаривал Чжуан Чжоу. Ну, это он не об автомобилистах, а о сорте людей, теряющих чувствительность из-за увлечения механизмами. Но ведь и об автомобилистах? Провидец. По моим наблюдениям, среди этого племени почти и нет порядочных людей. Ибо родина их — в автомобиле. Там они не мусорят.

На берегу досаждают комары, и потому я пишу прямо в лодке. Кладу весло, достаю тетрадь. Иногда подгребаю, чтобы не наехать на корягу или валун. Чувствуешь себя Хемингуэем. Тот тоже писал, примостившись где-нибудь за столиком парижского кафе, на подоконнике.

...А вот мост. Демидов. Причаливаю под мостом. Неподалеку автостанция. Начинаю выгружать вещи на берег.

А стрельцы на стругах продолжают свой путь, глядят молча на меня, проплывая мимо. Их ждут бои под Ригой со шведами. Правда, Ригу они так и не возьмут. Как и я не возьму премию. Но с дочкой мы посидим на литературном обеде, поглазеим на редакторов, литераторов, пригубим красного вина, закусим спелым крупным виноградом и сыром. Да, я сразу не понял, какие там правила, и сам откупорил бутылку и разлил вино по бокалам под насмешливым взглядом писателя с бакунинской шевелюрой и бородой из-за дальнего стола. А потом уже пришел официант и начал разливать в бокалы тех, кто сидел напротив. Одной из персон была Славникова. Вскоре мы с ней и еще несколькими литераторами стояли на сцене. Наконец после двадцати лет виртуального общения я пожал руку Ольге Новиковой. Хотел и остальным членам экспертного совета пожимать руки, но меня остановили, это было нарушением регламента. Ведущий Бак окликнул меня и отвел в сторонку, объясняя, где я должен стоять.

Нам всем пятерым — а трое так и не явились — налили шампанского. И только я хотел осушить бокал, как все пошли со сцены. Пришлось и мне спускаться с бокалом, следя за пузырьками... Меня встретили директор издательства Алла Гладкова и мой внимательный редактор Татьяна Тимакова. И после приветствий и поздравлений я наконец-то взялся за бокал и угасил жажду.

Еще два дня назад правил байдарку по Каспле под сенью Оковского леса, южной его окраины. Действительно, с корабля на бал.

Шли с Настей по Красной площади, и мне внезапно вспомнились каспьянские скрижали... А тут их вон сколько, размером поменьше, с черепушку.  
На них страна и стоит.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 19

Меня, конечно, одолевают сомнения — прямо сейчас, мой читатель. Я не уверен, что... ты есть? Нет, наверное, кто-то самый упорный и добрел сюда, к этому дорожному знаку под номером 19. Что ж, с тобой и поделюсь своими соображениями насчет этой книги. Всюду говорят об устойчивом интересе к нон-фикшн — ломаем язык, ведь это всем понятно. Профессор Баевский, по свидетельству поэта Макаренкова, утверждал, что только за такой литературой будущее. Вадим Соломонович Баевский — светлый и сильный ум. Хотя он и занимался в основном поэзией, теорией стиха, но к его мнению стоит прислушаться.

Ему, наверное, как и многим сейчас, очевидна простая истина: закат русской литературы состоялся. Мы живем в потемках. Уже слышу возражения моего терпеливого читателя, мол, эх, да сколько уже раз приходилось слышать об этих похоронах!.. А литература жива. И дальше загибает пальцы: тот, этот, пятая, десятая... Но у всех этих имен нет главной составляющей — поддержки народной. Народные поэты и прозаики исчезли, вымерли. Такие, как, ну, Некрасов, Твардовский, Шукшин. Горстка читателей погоды не делает. В чем причина? Да в том, что нет больше сил на создание нового образа. Такого же, как Онегин или Обломов, Раскольников, Каренина, Маслова. Уж не говорю о трех богатырях былин и Дон Кихоте, образе образов. Сейчас на эту роль претендуют какие-то мышевидные герои в масках и с крыльями, какие-то... черт, не могу даже вспомнить ни имени этой писательницы-домохозяйки, ни имени ее главного героя, ну, такой, в очках парнишка.

Скорее всего, осевое время образов закончилось. Было осевое время с 800-го по 200 год до нашей эры, сверкающее именами Платона, Лао-цзы, Будды, Исайи, Заратустры, — определяющее время, по Карлу Ясперсу, для всей нашей цивилизации. И оно закончилось. То же можно сказать и о литературе. Правда, рамки этого времени шире. Первой вехой можно назвать «Сказание о Гильгамеше», это XXVIII—XXVII века до нашей эры. Ну, а последней? 1615 год. Год выхода второго тома «Дон Кихота».

Стоп, а как же... князь Мышкин и... там, бравый солдат Швейк?

Мышкин создан под воздействием образа Дон Кихота. После осевого времени Ясперса тоже ведь были Христос, Мухаммад, мудрецы Востока и Запада. Но матрица уже была отпечатана, так сказать.

Читатель в недоумении. Неужели автор в самом деле замахивается на нашего Шекспира, так сказать? Тщится создать образ, равный... равный...

В том-то и дело, что нет. Об этом я речь и веду.

И я удовлетворился бы описанием этих походов за три реки, если бы волхв Хорт уже не явился в мой сон на Воскресенской горе той осенью. И если бы на речке Гобзе, под несуществующим городом Вержавском не нашелся ему спутник, мальчик Спиридон.

Что же мне с ними делать?

Для того я и завел разговор о нон-фикшн и сумерках, чтобы это решить. То есть я могу продолжать повествование о хождении за три реки и тем избыть впечатления путешественника. Но как быть с этими персонажами? Так и оставить их ни с чем? Не рассказать их судьбы? А я-то уже привык к ним, особенно в плаваниях по верховьям



Днепра, Волги и Западной Двины. Можно сказать, что они были моими спутниками. Начиная с весеннего плавания в верховьях Днепра я неотступно думал о них.

Мальчишку Спиридоны я нашел на Гобзе в то же лето, когда плавал по Каспле. Сразу же, буквально через несколько дней после возвращения из Москвы, я уложил продукты, палатку, котелки в две клетчатые большие сумки, с которыми раньше ездили челноки, лодку «Большой бродяга» упаковал в рюкзак, сверху всунул сумку с фотоаппаратом, и все. Сумки прикрепил эластичными шнурами к тележке-кравчуковке, как ее назвала таксистка, подвозившая меня раньше до озера Каспля. И все.

На этот раз ехал на попутке, благодаря Интернету заранее договорился. Парень вез рыжую жену и сына в Пржевальское на озеро. За прибавку к плате согласился подкинуть меня и дальше — на озеро Ржавец, где и стоял когда-то город Вержавск.

Прежде чем я отправился к древнему городу и озеру, прошел вместе с этим парнем и его женой и сынишкой к вольерам, за которыми паслись зубры. С недавних пор в национальном парке «Поозерье» живут зубры. Сколько-то на вольном выпасе, другие в вольерах.

Мощный зверь с горбом и бородой лежал у самой ограды. Звали его Ярослав. Мои сопровождающие весело рассмеялись. Оказывается, их мальчугана тоже звали Ярослав.

— Ярослав, Ярослав, — проговорил мальчишка.

Зубр меланхолично-мрачно покосился на него.

Два Ярослава глядели друг на друга.

Когда-то стада этих быков и коров бродили по лесам, как и стада других диких быков — туров.

В моем романе «Радуга и Вереск» от рогов и копыт зубра погибает шляхтич Николаус Вржосек. Вржосек в переводе и есть Вереск. А Радуга остается в Смоленске, это башня Веселуха, вяселка старорусского говора — радуга.

Когда я описывал охоту на него, то еще ни разу не видел живого зубра. И вот — рассматриваю.

И Ярослав встает, словно почувствовав необходимость продемонстрировать свою статью. Да! Особенно удивителен его огромный нос. И выпуклые голубоватые глаза приковывают внимание. Фотографирую двоих Ярославов.

На выходе из вольеров мы прощаемся, автомобиль уезжает, я вдеваю плечи в лямки рюкзака и берусь за тележку. Тяжеловата ноша.

Иду вдоль озера Городище. Раньше оно называлось Ржавец. И деревня на одном его берегу носит то же название — Городище.

Сердце мое бьется не только от тяжести и усилий. Я вступаю в древний город Вержавск.

Сворачиваю с дороги и бреду уже по тропинке у самой воды, петляющей среди деревьев. С трудом преодолеваю кочки, корни. Но далеко и не забираюсь, ведь завтра-послезавтра предстоит возвращаться и этой же дорогой идти в обратную сторону — к речке Гобзе, чтобы сплавиться по ней до речки Каспли, устья, находящегося в том же Демидове.

И я обхожу склон высокого и крутого холма, который все здесь называют курганом, но это возвышение, оставшееся после того, как здесь пропахал все трактор ледника. И оно очень напоминает башню. Я забираюсь наверх. Там ровная площадка, заросшая травой и деревьями. Между стволов виднеется озеро. Так высоко разбивать лагерь ни к чему. До воды неудобно ходить, склоны слишком круты. Вот точно — башня. Дозорная башня Вержавска.

И я спускаюсь и устраиваю лагерь у подножия, обращенного не к озеру, а к болотцу. Между озером и башней просто невозможно поставить палатку. А здесь нахожу более или менее ровное место между елями.

Палатка установлена, вещи разложены. Пора и пообедать. Но служитель меня предупредил, что разводить здесь костры запрещено. Что ж, вода у меня есть, готовое мясо тоже, а еще огурцы, помидоры и, конечно, вареные яйца. И хлеб. Что еще надо.

Наскоро поев, беру сумку с фотоаппаратом, вешаю на плечо треногу в чехле и возвращаюсь на тропинку.

У воды высятся красноватые, черно-коричневые колонны черной ольхи. К самой воде клонятся желтые ирисы. «Башня» остается позади. А тропа выводит к длинному и прочному низкому мосту через протоку, соединяющую Ржавец (буду называть озеро по-старому) с другим озером — Поганым.

Эти наименования уже настраивают на определенный лад. Поганый — значит языческий, от латинского *paganus* — сельский, языческий.

А от названия озера Ржавец и произошло, как считают некоторые исследователи, название самого города — Вержавск.

Что о нем известно?

Из Устава Ростислава 1136 года известно, что самой платежеспособной волостью была волость Вержавляне Великие с городом Вержавском. В эту волость входили девять погостов, разбросанных до берегов Западной Двины. Погост, как объясняет Л. В. Алексеев, это и округ-волость, и центр этого округа. Каспля тоже была крупным погостом. В погосты приезжал князь и его дружина на сбор дани. Вержавляне Великие в 1136 году платили самую большую дань — 1000 гривен. Гривна приравнивалась к серебряной монете. И, следовательно, речь идет о 1000 гривен серебра. То есть 201 000 граммов серебра, что по нынешнему курсу ЦБ составляет 7 206 000 рублей.

И город в Уставе Ростислава — помимо Смоленска — только один — Вержавск. Поэтому и главная сухопутная дорога княжества была на Вержавск от Днепра и называлась вержавским путем.

Город этот был найден не сразу. Думали, что это Ржев на Волге, Вережуй Торопецкого уезда, искали его на реке Вержа в Смоленской губернии.

Пытливый исследователь смоленских древностей Иван Иванович Орловский, родившийся в Ельнинском уезде в 1869 году, окончивший Смоленскую духовную семинарию, а потом учившийся на историческом отделении Московской духовной семинарии, написавший под руководством историка В. О. Ключевского диссертацию и преподававший потом историю и географию в Смоленском женском епархиальном училище, пришел к заключению, что Вержавск стоял на этом озере, входившем в систему рек Гобза и Каспля. Он нашел там остатки укреплений.

Л. В. Алексеев и В. В. Седов обследовали это место и пришли к выводу, что это городище домонгольского времени. Седов особо отметил, что в «Списке городов дальних и ближних» XIV века он упомянут под наименованием Ржавескъ. А еще Орловский указывал на документ 1609 года, в котором говорится, что бояре Вержавска отправили в Смоленск людей литовского воеводы из Велижа, прибывших в Вержавск с посланием Смоленску. Следовательно, Вержавск мог находиться только между Велижем и Смоленском<sup>31</sup>. Так и есть — на озере Ржавец.

Сообщается, что город был дотла razорен польско-литовскими войсками в XVII веке. И он исчез.

Но я иду на его поиски.

Тропа раздваивается, и я пока сворачиваю направо и оказываюсь над крошечной бухточкой, в которой стоит деревянная лодка с веслом. Мгновенный просверк: сейчас и придет хозяин в длинной льняной рубахе, льняных портах и мокрых грязных лаптях, с острогой. Интересно, что я ему скажу? Мы поздороваемся? Пойдем ли друг дру-

<sup>31</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9–13 вв. М.: Наука, 1980, с. 159.

га? Он остро глянет на мою черную суму, еще острее на треногу в чехле. А где же лук? И правда, чехол похож на колчан со стрелами.

Стрелы у меня, друже, светосильные, луч дальномера из камеры «Никон». Вреда не причинят. Хотя как сказать... В определенных условиях это тоже оружие. Как и слово. А уж это-то льняной рыбац знает. Есть наветы, проклятия, есть и молитвы.

И слова приязни.

Каков был язык того времени? Времени первого упоминания Вержавска, то есть в Уставе Ростислава в 1136 году? На ум сразу приходят «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве».

Люблю эту поэму. Она трепещет синими молниями, кличет дивом, кроваво алеет сквозь тучи, клекочет орлами, брешет лисами, истекает сокровенным жемчугом через золотое ожерелье, скрипит лебедино телегами половцев: «...крычать тьльгы полунощы, / рци, лебеди роспущени», — хорошо-то как! Эти строки и воспроизводят тележный и лебединый скрип, ведь в голосах лебедей точно есть эти звуки протяжно-скрипучие, гортанные. Эту поэму словно бы писал живописец-музыкант, визионер, — почему же «словно бы»? — он и был одарен музыкальным слухом и зрением живописца-визионера. Дух автора горяч и быстр, как ртуть, чем напоминает таковой же Пушкина. Третьего трудно к ним добавить. Но нет, он есть! И это автор «Василия Теркина». Талант этих трех авторов как порох. Да получше, чем порох: тот вспыхнет и погас, а книги трех поэтов сияют десятки лет, Пушкина — уже более двух сотен, а древнерусского песнотворца — и все восемьсот лет, и это самый лучший пожар человечества, обдающий жаром духовным.

Но кроме этой поэмы, есть еще былины. Это устный русский эпос. Записывать былины начали в XVII веке, точнее, это были еще только литературные переложения. А в начале XIX века появился так называемый «Сборник Кириши Данилова», созданный в XVIII веке для заводчика Демидова.. Там был 61 текст. Полагали, что это все, больше ничего и не осталось от русского эпоса. Но в 1848 году П. В. Киреевский опубликовал былины, а в 1861 году начали публиковаться «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым». Рыбников был филолог, его арестовали в Черниговской губернии за то, что он исследовал культуру старообрядцев, вел с ними разговоры да и в Москве тоже все вел какие-то беседы непонятные... Держиморды государства смешны в своих доносах-отчетах были всегда. Его выслали в Петрозаводск. А он и там продолжал свои исследования, только теперь переключился на сказителей, певцов былин. Как пишут, первое знакомство с былинами произошло во сне... А! Вот вам и океанская переключка именем и времен, и стремлений: Сюаньцзан и Рыбников. Правда, Рыбникову не приснилась былина. Просто он спал у костра на пристани в Чуйнаволоке. И в его сне вдруг зазвучал голос, напевавший о Садко. Рыбников очнулся. Пел старик Леонтий. От него Рыбников узнал и о других певцах. Изъездив всю Олонецкую губернию, он собрал 200 былин.

Потом были и другие собиратели.

Конечно, язык былин уже совсем не тот, на котором со мною мог заговорить рыбац на озере Ржавец летом 2018 года. Но в былинах сохранился дух, лучше сказать, сохранился реликтовый свет давних времен.

В чтении былин и открываются дали дальние давних времен. И там стоит троица подревнее хорошо известных Муромца, Добрыни и Поповича — Святогор, Волх и Михайло Потык. Даже имена их внушительны и дремучи. Их и принято называть *старшими богатырями*.

«В колоссальном, типическом образе Святогора ясны черты глубочайшей древности. Имя его указывает не только на связь с горами, но и на священный характер последних...» — писал А. Н. Афанасьев.

О каких горах шла речь? Где на Руси горы-то? Некоторые исследователи говорят о прародине индоевропейцев, которая якобы находилась где-то в степях у гор Уральских.

Ну, вряд ли в былинах поется о столь давних эпохах.

Б. А. Рыбаков прародиной славян называет все пространство от Днепра до Одера. Гор тут и нет, если не учитывать, конечно, то, что исток Одера в горах. Может, там Святогор и пребывал? В Восточных Судетах? Или еще дальше — в Карпатах? В те времена их называли Сарматскими горами.

Или обретался богатырь прямо в Рипейских горах? Помните, по Геродоту, из-за Рипейских гор двигалась процессия гиперборейцев с приношениями Аполлону? Рыбаков Рипейскими горами называет горную цепь, образуемую Альпами и далее на восток Карпатами. То есть: Рипейские горы — это альпийско-карпатский массив<sup>32</sup>.

«На тых горах высоких, / На той на Святой горы, / Был богатырь чудный, / Что ль во весь же мир он дивный, / Во весь же мир был дивный — / Не ездил он на Святую Русь, / Не носила его да мать сыра-земля».

То есть выдерживали его только каменные горы.

Но все же однажды он заехал во чисто поле и развлекался, подбрасывая свою палицу под облака и ловя ее. Правда, нашел сумочку скоморошную, и как попробовал ее поднять, так и утоп по колено в земле. Да конь его спас, вырвал из земного плена и поскакал к горам Араратским. Так из-за этих гор он и получил свое имя?

По крайней мере, именно на горах Араратских он вдвоем с новым товарищем — Ильей Муромцем — находит дубовый гроб. И этот гроб оказывается в пору именно ему, Святогору. А от ударов сабли Ильи гроб только железными обручами опоясывался. Там и закончил свои дни титан, ибо, по смыслу былины, закончилось его титаническое время. Настала эпоха новых героев.

В этой былине кровь холодит дыхание Святогора. Он первый раздохнул в щелочку в гробе, чтобы дать сил Илье Муромцу для освобождающего удара по гробу, и Муромец стал сильнее, но освободить Святогора не смог. И тогда задыхающийся Святогор снова просит Илью наклониться к щелочке. Но Илья отвечает, что ему достаточно сил. А Святогор говорит, что богатырь-то молодец, не послушался, а то быдохнул Святогор на него мертвым духом... А ведь друзья-товарищи были. Правда, дружбе предшествовала измена. Красавица из хрустального ларя, что возил с собою Святогор, увидела спрятавшегося в *сыром* дубу Муромца возле шатра, где опочивал Святогор, да поманила его вниз. Рассмотрела богатыря да соблазнилась, пригрозив, что если откажет, крикнет Святогору, что напал на нее. Что ж, Илья уступил, свершил и это богатырское дело. А позже все Святогору открылось, и он зашиб красавицу, но с Ильей побратался...

## 20

Святыми горами на Руси называли меловые скалы по берегу Северского Донца, сейчас это Украина. На полтысячи километров восточнее Киева. Правда, название это произошло вроде бы позднее тех времен, когда складывались былины о Святогоре. Первое упоминание Святых гор относится к XVI веку. В XIV или XV веке там поселились первые монахи. Потом был построен монастырь.

Но, наверное, эти скалы вызывали восхищение и в более отдаленные времена. Во мгле они светились над рекой. Отражали густой солнечный свет утром и вечером и сияли днем. Рыбаков говорит об атрибуте Дажьбога — солнечном Белом Свете. Он считает, что позже, в XII веке, когда происходило обновление язычества из-за недоволь-

<sup>32</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 412.

ства княжеско-боярских кругов вмешательством церкви в их быт, — ну, мясо воспрещалось в постные дни, а на пирах как без мяса-то? — зародилось новое языческое учение о Белом Свете<sup>33</sup>.

Рыбаков пишет: «Возрожденное в начале феодальной раздробленности язычество было не таким первобытно-натуралистическим, каким оно представлено на лингаме Збручской композиции, и не таким конкретно-воинственным, как в пантеоне 980 г. Теперь, в эпоху наивысшего расцвета русских княжеств, достигших уровня передовых европейских стран, национальная, прадедовская вера обрела новую, более возвышенную форму культа света, солнечного света, „тресветлого солнца“. Главным персонажем, предметом почти открытого почитания стал не фаллический Род, не Перун, требовавший кровавых жертв, а солнечный бог света (во всех средневековых смыслах этого слова), т. е. сын небесного Сварога, Солнце-Царь Дажьбог<sup>34</sup>». И далее: «Возникает культ некоего неопределенного „Света“. Его именем (м. б. по примеру западных народов) хотят назвать первый день недели (Sonntag, Sunday), но церковь победила в споре...»<sup>35</sup>

Вот и могли те меловые скалы на Северском Донце и быть гнездом Святогора.

Почитание гор у славян общеизвестно.

В моей Местности горами называют холмы и отдельно стоящим холмам дают имена: Арефина гора, Марьяна гора.

А сейчас тропа вела меня среди высоких скал к целому горному бастиону. Точнее, от лодки воображаемого льняного рыбака тропа уже начала восходить на бастион. Это была мореная гряда, как пишут в справочниках, оставленная ледником. И среди трав и сосен, замшелых валунов и цветов я поднимался все выше, пока не достиг еще одного «кургана» с почти отвесными стенами. Этот «курган» стоял на гряде. Утерев испарину, я начал подъем. Тропа тянулась серпантинном.

И вот я наверху. Озираюсь. Открывается вид на озеро внизу, деревню Городище на том берегу и на неоглядные сумрачные дали лесов, уходящих в сторону Каспли и Смоленска, и в сторону Демидова, и в сторону Пржевальского и Западной Двины...

И всякие сомнения здесь исчезают. Где же еще и быть этому городу Вержавску? Место дышит древней силой. Святогорье смоленское и есть.

И сейчас этот город населен мертвецами. Я хожу среди них.

Но изумление вызывает упорство нынешних деревенских жителей: как они затаскивают сюда гробы? На веревках?

Вся верхняя площадка в старых березах, могучих тополях и соснах занята кладбищем. Кладбище устроено на месте городища домонгольского времени, где были найдены пряслица из розового шифера, керамика XII—XIII веков. Л. В. Алексеев считает, что на самом высоком месте в середине площадки, где не обнаружено ни культурного слоя, ни могил, находилась церковь Ильи Пророка, известная по документу 1609 года<sup>36</sup>.

Тут остается применить метод Рыбакова и по аналогии предположить, что в языческие времена на этом месте мог стоять идол Перуна. Илья Пророк заменил Перуна.

Что ж, небо тут ближе. И я не хотел бы оказаться здесь в грозу.

Город Вержавск и занимал всю эту гряду над озером. Это был укрепленный город, Иван Иванович Орловский еще застал тут остатки укреплений. Алексеев тоже пишет о вале, открытом им археологически.

Но еще более грандиозную находку здесь совершил педагог и этнограф Владимир Иванович Грушенко.

<sup>33</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 774.

<sup>34</sup> Там же, с. 776.

<sup>35</sup> Там же, с. 781.

<sup>36</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 160.

Этот смоленский мечтатель водил ребят по рекам, лесам Смоленщины и Псковщины и даже по Уралу. Мне тоже посчастливилось бывать в этих походах и впервые увидеть горы — Уральские. Водил — и водит, несмотря на свои *за восемьдесят*.

Грушенко было мало подвала в старинном доме купца Будникова в центре Смоленска, где базировался его клуб «Гамаюн», и он мечтал о целой стране Гамаюнии. А столицей этого государства хотел сделать Вержавск.

Но не получилось. Хорошей дороги сюда не было, добираться трудно. А надо было завозить много строительного материала. И ему предложили здание бывшей школы неподалеку отсюда, в верховьях Гобзы. Там и появилась эта столица Гамаюнии. И бесменным ее управителем долгие годы был и остается Владимир Иванович.

Но в Вержавск его тянуло.

И однажды его подопечные выкопали два древних славянских менгира, а попросту — два увесистых камня. Грушенко говорил мне, что это древние языческие знаки: животворящий крест и подземное солнце.

Но ведь Животворящий крест — символ христианский? Нет, изначально, говорил Грушенко, это был знак огня. Огнем был Сварожич, сын небесного огня Сварога. То есть огонь был существом живым. Такое понятие долго сохранялось на Руси — живой огонь. Об этом писали и Афанасьев, и этнограф Максимов. Его продолжали добывать по старинке — трением дерева о дерево.

Что ж, можно сказать, Грушенко обрел солнце Вержавска.

И велел его закопать. (В это мгновение я понял, что он будет главой русальцев в моей книге, то есть тех, кто готовил русальные обряды, а это были исключительно мужики высокого настроения и уважаемые всеми.)

Зачем?

Оставлять их здесь опасно — своруют. Увезти сразу — не так-то просто, камни тяжелые. Да и надо подготовить место для них. А таким местом выбрали берег одного озера, где камни будут под приглядом инспекторов национального парка.

Но я думаю, что солнце Вержавска никуда не исчезало. Оно уже давно с Грушенко. Он носит это солнце в себе.

...И все-таки я с любопытством приглядываюсь к земле вокруг. Где же эти камни они отыскали?

Впрочем, вряд ли здесь, на самой верхней площадке Вержавска. Здесь не могут работать археологи. Грушенко ратует за прекращение захоронений. Но пока ничего не получается. Хотя в самой деревне народу и почти уже нет. Но, правда, есть другая деревня поблизости. И оттуда везут мертвецов сюда. Может быть, их даже переправляют на лодке.

Сколько хлопот.

И тем не менее окрестные жители не соглашаются хоронить своих мертвецов внизу. Правее городища есть сосняк, там сухая песчаная земля. И там уже существуют древние захоронения — множество курганов. То есть жители Вержавска туда и несли своих умерших. А нынешние — не хотят.

Это, как представляется, яркая иллюстрация страниц из трудов того же Рыбакова, где он рассуждает о двоеверии. В желании поместить умершего ближе к небу и сказывается древняя вера в небесный вырий, рай языческий. Впрочем, и в рай христианский, ведь он тоже где-то в небесных пространствах.

А вообще на Радоницу, день поминовения умерших, конечно, пришедшим сюда легче настроиться на созерцание запредельного. Пусть это и не полноценное созерцание, требующее углубленного, молчаливого и, главное, трезвого духовного глядения, но какое-то приближение к этому. Оно должно быть здесь, на высоте, над озерным зеркалом, в виду гигантских лесных пространств, более успешным, чем внизу.

И раньше пытались заглянуть за черту. Та же обреченная на жертву девушка во время похорон знатного руса, которую поднимали повыше, дабы узрела она предков среди зеленых деревьев вырия. Представлялось то место и домом, как об этом пишет Рыбаков и приводит плач из погребального фольклора:

Там построено хоромное строеньицо,  
Прорублены решотчатые окошечка,  
Складены кирпичны теплы печеньки,  
Настланы полы да там дубовые<sup>37</sup>.

Ну и дальше про столы, укрытые скатертями, да уставленные кушаньями сахарными, питьецом медвяным.

А тут на кладбище, среди цветущего тмина и тысячелистника, среди замшелых стволов берез и крапивы, столики все из серых фанерок покоробившихся, из дощечек, пни вместо стульев да ветхие скамеечки со ржавыми гвоздями. И взгляды с фотографий, переведенных на овальные основания да на мраморную плитку. Иные лица совсем молодые. Вот чья-то бабушка в платке: Мария Михайловна Рожнова. А вот Михаил Ефремович Ефремов с недоверчивым и упорным взглядом. Сергей Иванович Иванов с песнярскими усами и длинными волосами, в белой рубашке, в пиджаке, при галстуке.

А как звали жителей того древнего Вержавска?

Белослав, Годимир, Далибор, Изяслав, Ярополк, Горислава, Яромила, Светоюра... Имена-то как песня.

Очи их озерные да небесные, лесные.

И они сопровождают меня, будто я и вправду выкликал мертвых, как это делали мои языческие предки в дни поминовений.

Вполне может быть, что кто-то из них и здесь обретался. От села Каспля сюда можно по речке и добраться, вниз по самой речке Каспле, до впадения в нее Гобзы, а потом вверх по Гобзе. От Вержавска до Гобзы недалеко — полтора километра.

В том, что Вержавск устроили именно здесь, а не на речке Каспля, где сейчас, при впадении Гобзы в нее стоит город Демидов, был свой резон. Сюда из Западной Двины всякий час могли пожаловать гости — викинги. С одной стороны выгодно контролировать путь из варяг в греки. Но, вероятно, вначале по нему шли не купцы с изделиями да винами, а воины с мечами и булавами. И лучше было схорониться поглубже в лесах — как раз выше по Гобзе, на горе вержавской. Правда, Вержавск это если и уберегло, то ненадолго. Как свидетельствует Алексеев, Вержавск был в свое время обложен норманнами данью. Они, видно, не поленились подняться вверх по правому притоку Каспли. Наверное, вержавцы оборонялись в своем городе на лесной гряде. Но викинги были закаленными в битвах воинами и с лесным народцем справились.

## 21

Меня мучила страшная жажда. Воды я с собой не взял на эту экскурсию. А так как вместо чая пил в обед минеральную воду, то жажда меня и допекала теперь. В отчаянии сорвал листки земляники, пожевал. Бесполезно. Возвращаться в лагерь не хотелось. Надо было спуститься на другую сторону гряды. И я продолжил путь среди рухнувших громадных деревьев, кустов и высокой травы, крапивы. У подножия бастиона земля была песчаной, трава почти и не росла... И тут я увидел роскошные зеленые розетки молодива! Сразу опустился на колени, срезал ножом один крошечный кочанчик, другой, третий, четвертый... Едва успевал выдуть из них песок. Кочны эти, величи-

<sup>37</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 113.

ной с небольшое яблоко, полны были свежего сока. Они и насыщали, и утоляли жажду. Я набил ими карманы брюк и куртки. И решил, что это некая награда мне за упорство.

На другой стороне гряды нашел в соснах курганы, много. И небольшое кладбище с крестами.

Кругом дома мертвых.

Рыбаков находит языческий обряд трупосожжения более сложным и торжественным, чем захоронение в земле. Об этом толковал один рус и Ибн-Фалдану, мол, глупые вы, арабы, в землю зарываєте своих мертвецов, и они там гниют, а наш с огнем мгновенно возносится в небеса. Рыбаков говорит, что при сожжении души предков попадают в среднее небо и могут помогать оставшимся на земле, то дождь посылать, то снег, туман. И волхв был профессиональным челобитчиком: мог отправлять правильные запросы предкам в это средненебесное ведомство.

Небо было устроено сложно. Над средним небом — верхнее небо, такой резервуар вод, сиречь *небесные хляби*. В среднем небе размещался вырий, рай с птицами и садами. По нему ходили луна и солнце.

«Первобытное представление о двух небесах („водном“ и солнечно-воздушном), разделенных прозрачной „твердью“ как стеклянным куполом, сводом (отсюда „небосвод“) сохранилось и в средневековых комментариях к библии»<sup>38</sup>.

Курган, как и вырий, оказывается срединным местом, только уже трехчастной модели вселенной: курган — это выпуклая земля, под ним — нижний мир, над ним верхний — небо<sup>39</sup>.

У вятичей сожженный прах помещали в домовину, обносили ее тыном и насыпали сверху курган. Были домовины просто окруженные тыном и не засыпанные землей. Это были целые деревни мертвых. Домовины даже воздвигали и позже, долго — над христианскими могилами, сообщает Рыбаков<sup>40</sup>.

Но и без домовин наши кладбища — городьба, между могилами и оградками лабиринты тропинок, приходится протискиваться. Эти железные оградки — тот же тын языческих далеких времен.

«Домовина с костями погребенных несомненно повлияла на известнейший фольклорный сюжет — „избушку на курьих ножках“, в которой живет Баба-Яга — Костяная Нога, одно из олицетворений Смерти»<sup>41</sup>.

А мне она однажды приснилась и вовсе не такая уж страшная. В моей Местности попал под ливень, перебрывая болотистую долинку речки Словажи, берущей начало в окрестностях хутора Твардовских. Гроза лютовала, молнии попадали в лес, слышен был надсадный треск. Но мне уже было наплевать. Удалось установить палатку под целлофановым пологом и не замочить ее сильно, сбросить тяжелую мокрую одежду у входа, забраться в спальник... И во время этой грозы и приснилась честная компания: бабушка, смахивающая на эту самую Ягу Костяную Ногу, в юбке, драной кофте, сером шерстяном платке, из-под коего, разумеется, выбивались седые космы, рядом с нею довольно опасный злобный кабан с клыками и дородная женщина с большими выпуклыми голубыми глазами. И Баба Яга, видимо, понимая, что кабана и себя представлять ни к чему, назвала только свою спутницу: «Это Снегуровна».

Хм, приятно познакомиться, наверное, хотел сказать я, но кабан как-то агрессивно себя повел, и я не успел ничего сказать и просто выскочил вон из сна.

И вот у Рыбакова в его фолианте «Язычество древних славян» нахожу рассуждения о сказках и толкователе русских сказок В. Я. Проппе, который, «анализируя образ Ба-

<sup>38</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 471.

<sup>39</sup> Там же, с. 75.

<sup>40</sup> Там же, с. 109.

<sup>41</sup> Там же, с. 110.



бы-Яги, выявил его двойственность. Наряду с привычной нам злобной сказочной колдуньей существовал в сказках и образ благожелательной Бабы-Яги, помогающей герою советом и делом»<sup>42</sup>. Эх, не дождался я совета лесной бабушки! А интересно ведь, что бы она мне сказала? Струсил. Или в этот миг просто шарахнули кулаком грома по той самой прозрачной перегородке между двумя ярусами — по целлофановому пологу.

И вот я бродил уже в сумерках среди «моделей кругозора», как определяет курганы Рыбаков, рассуждая следующим образом: «Курганы в Европе появляются лишь тогда, когда племена приобретают большую подвижность. Широко используется конь, люди становятся всадниками, а восприятие природы всадника сильно отличается от восприятия пешехода. Всадник избавлен от необходимости следить за дорогой, он может охватывать с коня весь горизонт; конный выше пешего, и кругозор его шире, далекие места для него доступнее. Все это приводит к тому, что (...) конные пастухи осознали округлую выпуклость видимой части земли лучше, чем это могли сделать земледельцы...»<sup>43</sup>

На озере кричали утки. Травы увлажнились от теплого дыхания земли и прохладного дуновения неба. Я немного обошел озеро, чтобы увидеть бастион-грядку из-за воды и, может, сфотографировать. Увидел, но уже было совсем мало света, и я поспешил обратно. Но уже не полез в город мертвых, обошел его снизу, между озером и бастионом. В тростниках и осоке вымок, хотя и был в плаще и сапогах от солдатской химзащиты. В плаще конденсат. А сапоги все же коротковаты, хотя и выше колен. Лучше надевать старые болотники. Да под старость они уже кажутся тяжелыми. И тренога. Надо ее менять на легкую походную пластмассовую.

По мосткам между двумя озерами — Ржавцом и Поганым — я уже шел в темноте. Где-то взлаивала собака. Скрежетал коростель. Пахло тиной. На Ржавце вырисовывался силуэт острова.

Нет, я бы никакой встрече на этих мостках, лежащих на самой воде протоки, не удивился бы сейчас. Хоть с льянным рыбаком в лаптях, хоть с главой русальцев Владимиром Ивановичем Грушенко в очках, в бороде и в звериной шкуре, — есть у него такая фотография в образе древнего человека. Да, он еще и камень держит.

С мостков ступил на землю, спотыкаясь о корни, прошел по тропе, примерился и полез сквозь кусты. Угадал точно. Склон первой «башни». Обошел ее, и вот силуэт моей палатки. Все на месте, вержавцы чужого не тронут. То есть чужих вещей. А я-то им и не чужой, вообще-то. И они это понимают.

## 22

Рано утром по тенту шелестел дождик, и я радовался, что никуда не надо идти. А само собирался встать ни свет ни заря и фотографировать. Да вот — дождь... И я с блаженством вытянул ноги. Да через несколько минут очнулся, как от тычка. Слушал-слушал: молчит, не шепелявит. Пришлось с кряхтением вылезать из спальника, одеваться, наскоро завтракать, облачаться в непросохший плащ, натягивать химзащитные сапоги.словно на какую-то операцию собираюсь — в царство мертвых.

Зевая, побрел к озеру.

По мосткам.

Мимо заводи с лодкой.

«Привет, Льянной!»

А он что мне ответил?

«Гой еси, добрый молодец».

<sup>42</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 128.

<sup>43</sup> Там же, с. 233.

Гой, по Далю, жить, говеть, здравствовать. Еси — быть.

Значит, живи и будь. Ну, насчет молодца — это он, конечно, хватил лишку. Мне под шестьдесят. Уже, выходит, старче.

Но мне некогда разводить древнеславянские церемонии, и я иду дальше. Тропа поднимается. По ногам ударяют крупные колокольчики на высоких ножках. Тускло желтеют цветы тоже на длинных стеблях. На озерах туманец. Одно озеро — Ржавец — справа, оно хорошо уже видно, но еще не все. А слева озеро Поганое, оно лишь сквозит серо между стволов. Его и сверху все не разглядишь.

Снова кричат утки. Гулко стучит дятел. Соловьи еще поют.

Подхожу к следующей башне и начинаю подъем.

Вержавск, город мертвых, молчаливо реет над зеленым миром.

Герои былин в мир мертвых не восходили, а спускались. И в сказках. Как-то и не вспомнишь русскую сказку, в которой бы герой поднимался в небеса.

Это наяву у Ибн-Фадлана героиня взмывает вверх — на руках дружинников — над воротцами перед ладьей с умершим. И она видит за воротцами своих умерших родных, и они веселые и живые. И видит этого господина сидящим в прекрасном саду и зовущим ее к себе.

«Так ведите же меня к нему!» — восклицает она<sup>44</sup>.

Вырий, по Афанасьеву (у него вырей), — название, восходящее к латинскому *vigetum* (местность, покрытая зеленью), это наименование употреблено Вергилием в смысле рая. Это теплая зеленая страна, куда на зиму улетают птицы и уползают змеи — прямо вверх по деревьям.

А в былинах по-другому выглядит потусторонний мир. Скорее он похож на мир праха и пыли, голых камней, как его представляли себе древние шумеры.

...Смотрел я на дали лесные с высоты и был полностью уверен, что этот пейзаж подлинно исторический, тех самых времен, XII или XIII века.

Правда, в деревне крыши коттеджа мешали.

Как предполагают исследователи В. В. Седов, Л. В. Алексеев и Е. А. Шмидт, здесь были возведены деревянные оборонительные стены с башнями. А ниже шел второй ряд деревянных укреплений. О том, что это так и было, говорят большие скопления обожженной глиняной обмазки, которой обычно и укрепляли деревянные стены. Здесь находили железные ножи, шиферные пряслица, стеклянные браслеты, арабские дирхемы и другие предметы. Все это свидетельствует о существовании города в домонгольский период. Городской посад был с восточной и западной сторон от основания детинца.

Чем они жили, вержавцы?

Возделывали землю, охотились, бортничали, торговали, сплавляли лес. Дуб всегда был в цене.

Скоро я это узнаю из первых рук.

Вернувшись в лагерь, перекусил, увязал сумки, погрузил на тележку, вддел руки в лямки рюкзака и спустился к озеру. Не терпелось наконец-то накачать лодку и отправиться вниз по Гобзе. По озеру решил на лодке не плавать. Все равно фотографировать в ранний час утренний или вечерний не получится с нее: чуть качнется, и все, кадр смазан.

На краю деревни набрал родниковой воды, да ручка пластмассовой китайской десятилитровой складной канистры не выдержала и лопнула, вода полилась на дорогу. А другой у меня нет. Что делать? Постучался в ближайший дом. Оттуда вышел тот инспектор, что рассказывал о зубрах. Поговорили. Он дал мне пластмассовую канистру на пять литров. Начал рассказывать о том, как сюда приезжает смоленский фотограф снимать зубров и вообще о делах национального парка, об истории деревни, как вдруг

<sup>44</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 308.

его требовательно окликнула жена. Он вроде отмахнулся, но та еще грознее окликнула, мол, на обед! И все, он закруглился, мы распрощались.

Эх, бабья дурь. Не дала человека выслушать, потомка тех древних вержавцев. Видно, чего побоялась. Где двое мужиков толкуют горячо о чем-то, там жди и третьего, скоро нарисуетя.

И он нарисовался, но значительно позже и в другом месте.

Звали его Евгений Иванович Шавров.

Но сперва я повстречал его зятя, он катил с кормом для зубров полевой дорогой в колдобинах. А я к тому времени вымотался, таская тележку по перекуроченным полевым дорожкам и вовсе без дороги, а так, по кустам и кочкам. На скачанной «яндекс-карте» была показана дорога прямо к петле Гобзы, а в действительности она отсутствовала. Все дороги здесь запахали под кормовые поля для зубров. Было жарко, донимали проклятые слепни. Я измучился. И увидев ездока на квадроцикле с мешками на багажнике сзади и спереди, махнул ему. Он остановился. Подошел, спросил у него, как ближе всего пройти к Гобзе? Крепкий белобрысый парень задумался, закурил, окидывая взглядом лес за полями.

— В-вон лес, — говорит, слегка заикаясь, — види-ите?

— Да.

— Во-он те д-деревья? Высокие? Там и есть Гобза. Ближе всего.

— А дороги, значит, нету?

Кивает, пуская струю дыма. Спрашиваю, что он, работник, да, национального парка? Оказывается, нет, просто приехал из Смоленска на выходные к теще, а сейчас вместо теста везет корм зубрам.

— Эх, — говорю, разглядывая его технику, — на таком-то танке к реке я быстро домчался бы хоть и без дороги.

Он смотрит на мой груз. Докуривает и отвечает:

— Л-ладно, сейчас корм закину, к тестю слетаю, спрошу, можно ли. Ж-ждите.

И я сел на кочку.

Парень снова мимо проехал.

А через полчаса примерно летит на своем квадроцикле. Я уж думал, что тесть не разрешил. Но смотрю, вроде и не он, а кто-то другой, более сухопарый, в камуфляже, в шляпе. И не по той дороге, а по другой, ближе к лесу. Я вскочил, замахал. Но он пролетел мимо, привставая, оглядываясь. А меня и не видит.

Да вот он, я! Пытаюсь свистеть. Не получается. Мне как раз весной поставили бюгельный протез на нижнюю челюсть. Отличная вещь. Лишь бы не забыть на какой-нибудь стоянке и не уронить в глубокий омут. Дорогая штука, хорошо, что «Песнь тунгуса» получила премию Льва Николаевича Толстого в прошлом году, не первую, а премию финалиста. И я смог вот поехать на Красную площадь обедать. А так бы как туда явился с прорехами во рту? Хм, сам-то Лев Толстой посмеялся бы. У него-то к тридцати годам во рту только два зуба и было. И лечиться у дантистов, а тем более вставлять зубы он наотрез отказывался. Действительно, человечеще. Но все его знали. И за бомжа не принимали. А тут, в Смоленске, поздоровались с учениками жены, так те за спиной зубоскалили: гы-ы, беззубый.

Дети, хотел я им сказать, а вы слышали про Льва Толстого? Или, к примеру, о Мигеле де Сервантесе Сааведре? Он ведь тоже был беззубый. Вообще.

Но не сказал. Постеснялся примазываться к когорте великих беззубых. Да и все же у меня еще и свои зубы имеются.

...Да ездок уже и так меня узрел, развернулся и лихо подкатил, заглушил двигатель.

— Что тут у тебя? — спрашивает.

Лицо загорелое, синие прозрачные глаза, пшеничные усы. Егерь национального парка.

— Вот лодка, то да се...

— Грузи.

Я схватил сумку, положил на багажник, вторую...

— Водка есть? — грубо и резко спрашивает егерь.

Мгновение думаю. Вообще с незнакомцами не употребляю. Наслушался историй. Начитался сводок криминальной хроники. Но что-то заставляет меня ответить утвердительно.

— Есть.

— Так я и знал! — с некоторой горячностью восклицает егерь. — А мне парнишка, ну, зятек-то, мол, там дядька какой-то с грузом просит отвезти, я сгоняю? А я ему: нет! Нет, парень, к этому дядьке я сам поеду. У этого дядьки водка должна быть. И угадал.

Мы оба смеемся.

Пока я укладываю рюкзак, он объясняет, в чем дело. Стукнуло ему на днях шестьдесят годков. Праздник затянулся. Все попито. В Пржевальское принципиально не едет, а то там и останется на веки вечные. Но... душа-то горит?

— Садись! — бросил егерь, кивая на сиденье позади себя, когда я все погрузил.

И мы поехали напрямик по кочкам, рытвинам, сквозь кусты. Ну, так я и думал — вездеход. Иногда он опасно наклонялся, и тогда егерь тоже отклонялся в противоположную сторону, и я ему подражал. Квадроцикл не заваливался.

Минут через двадцать мы выехали к речке Гобзе.

— Вот! — воскликнул егерь, глуша свою технику и утирая похмельную испарину.

Хотя и я был в испарине. Солнце палило.

Егерь терпеливо курил, поглядывая, как я ищущу по сумкам снедь, раскидываю дастархан из куска цветной материи от старых штор, ставлю железную кружку и, наконец, водку в пластмассовой бутылке.

— Самогон? — деловито интересуется егерь, присаживаясь на траву возле дастархана.

— Нет, финская водка «Лед».

Моя реплика как-то так вскипает прохладно в жарком воздухе.

— Кружка одна, — добавляю. — Хлеба нет. А вот хлебцы гречневые.

— Мм, как я их люблю! — энергично восклицает егерь. — Хоть зубов у меня и нет!

— Как у Мигеля де Сервантеса Сааведры, — тут же подхватываю я и добавляю про Толстого и про раба недостойного себя.

Егерь вскидывает светлые брови.

— В смысле раба?

Позже я ему все объясняю, ну, что, мол, пишу, следовательно, раб чернильный и так далее, а пока с усердием нарезаю копченую колбасу, чеснок, уже забыв, что егерю это есть будет нелегко. Но ведь и сам я голоден.

— Может, сварим кашу? — спохватываюсь.

Синие глаза егеря вспыхивают. Он остро глядит на меня, как на палача.

— А, ладно, — снова спохватываюсь я и откручиваю крышку, наливаю.

Закусывает егерь хлебцами. Они хоть и крепкие, но во рту рассыпаются. Просто надо ломать, и все. Что он и делает, отламывает кусочки и бросает в рот. Ну, я тоже выпиваю. Вообще-то, водка у меня на случай простудных заболеваний. Ну и так, вечером иногда шестьдесят граммов выпиваю, как суворовец в Альпах. Или сколько им подносили? Пишут, что до начала XX века в армейских артикулах был такой пункт «О пользе умеренного употребления водки». Была команда: «К чарке!» В чарке — 160 граммов. Ого, в три раза больше, чем у меня. Но в мирное время чарку подносили солдату лишь по праздникам, или в том случае, если свирепствовало ненастье в полевых условиях,

или от простуды, или вообще для поддержания здоровья, по усмотрению командира. В военное время — три раза в неделю.

Но стоп, это ведь сухопутные солдаты. А я-то уже без пяти минут матрос и капитан в одном лице, хотя и речной. Ну-ка, а что у моряков-то было? Флотская чарка — 123 грамма. Но! Четыре раза в неделю. Правда, в два приема, перед обедом и перед ужином. Боцман дунул в рожок, и каждый матрос встрепенулся: «Соловей поет к вину!» Водка и была хлебным вином.

После первой мы и познакомились с Евгением Ивановичем.

Разговорились. Родился он здесь. И его предки все отсюда. Вержавец он и есть. Отец его похоронен там, на горе. И я смутно припоминаю, что видел эту фамилию на обелиске: Шавров.

— Да, но это не мой батя, — говорит, утирая пшеничные усы, егерь. — У меня фамилия матери. А батя был Михайлов.

Я особо не удивляюсь, пращур, николаевский солдат, тоже был Доледудин, его сын — Доледудин Никифор Максимович, а уже его сын — Боровченков. И Гриша Боровченков на Донбассе стал Боровченко. А его племянник Виктор Исаченков в знак солидарности с геройским дядей стал Исаченко.

Егерь рассказывает дальше об отце. Был Иван Константинович Михайлов кавалером двух орденов Красной Звезды. Да, это большие награды в войну. А в молодости он гонял плоты. От озера Кошелева по Гобзе до Демидова, а дальше по Каспле до Суража, вдвоем с напарником, другом детства Орловым Иваном... Отчество егеря запомнотвал. Ну, короче, два Ивана. Делали они это по весне. Зимой заготавливали лес. Весной сплавляли. И если вода падала, то отправляли мальчишку подручного в Букино, там озеро. И — раз! — там поднимали загородку, вода подхватывала плоты, река тянула дальше, если снова мельчала, мальчик мчался сюда, в Городище, и тут поднимали заслон на озере Ржавец. Вот такая была система. Плоты доводили до Суража, все продавали, возвращались посуху. В особой цене был дуб. Набивали денежкой кошельки, или куда там они их прятали, пехом и пробирались в деревню, а то и подъезжали где на подводах. Всегда вдвоем. Но однажды отец егеря Иван приболел в Сураже. Не ходи, говорит другу, дай я отлежусь чуток. А тому не терпелось чего-то. К женке, что ли, спешил, или какое-то неотложное дело было, может, долг уплатить или что там... И пошел. В лесочке его убитым и нашли. Без выручки, конечно.

Мы выпили в память этого Ивана Орлова.

А потом и в память второго Ивана.

Пахло чесноком, колбасой, водкой и чистой рекой, бегущей поблизости.

Егерь закурил. Повел рассказ о своей работе. Он пытался отсюда уехать, жил одно время в Смоленске, работал на заводе, да леса эти демидовские снова его заманили. Службу свою он любит до дрожи. Ничего больше и не нужно. Только бы с питием разобраться окончательно, а то...

— Ну, давай, что ли, еще по чуть-чуть?

Однажды у него был случай. Набрел на мертвого лося в яме. Тот, видно, свалился как-то, а выбраться и не смог. Тут после войны много воронок, окопов. А у лося рога — лопатой. Егерь спустился, чтобы рога отрубить, убрал ветки, даже деревце, упавшее, видно, от ветра. Только за рога взялся, как что-то за шиворот свалилось. Схватился, посмотрел — кусок земли. И снова земля просыпалась... Тогда он обернулся, поднял глаза... И все ему стало ясно. Понял тут егерь Евгений Иванович Шавров, что ветки и деревце не сами сюда напали, а были принесены вот этой рукой... сиречь лапой, которую он и увидел над краем ямы. А потом и вторую, с желтоватыми загнутыми когтями. И сопение услышал. Наконец, и морду зверя узрел.

— Сомлел я, — признается Евгений Иванович с грустной улыбкой. — Ружье-то наверху оставил с рюкзаком...

Но зверь посопел-посопел, потоптался-потоптался топтыгин и как-то враз исчез.

Да, это характерная особенность дикого зверя, не желающего встречаться с человеком: идет, кряхтит, дышит, стучит, а как учует тебя — в миг какой-то пушинкой оборачивается. Дуновение секунды — и его нету нигде, растворился, как видение. Но этот зверь был настоящий. Когда Евгений Иванович выбрался, на земле следы лап рассмотрел.

Я плеснул в кружку, протянул Евгению Ивановичу.

Он взглянул на бутылку.

— Мы весь твой запас истребим.

— Да ладно.

— Нет, это по последней, — твердо сказал он и выпил.

На том и расстались. И я сразу поставил палатку прямо над текущей водой под могучим вязом, сварил макароны, вскипятил чаю и впервые за несколько дней поел горячего.

Попивал крепкий чай и глядел на лесную неширокую реку. Хороша Гобза!

### 23

Ночью мне пел соловей, как матросу — соловей вина. Но я все равно встал в четыре и пошел фотографировать зубров, они на воле и пасутся в этом урочище, называемом Раковка. Но кроме следов и кормушек да фотоловушки в одном месте, ничего не увидел. Вернулся в лагерь, еще немного поспал. После завтрака накачал свой корабль, погрузил в него, точнее, на него вещи и отчалил.

Это всегда самый лучший момент похода. Оттолкнуться веслом и устремиться вперед по чистой неглубокой речке меж лесных берегов, песчаных кос, дальше, дальше — до завала... Но его удалось преодолеть, не вылезая из лодки. И второй завал.

Течение быстрое, глядеть надо: то камень, то коряга, мель. Но ни деревень, ни машин, чистые берега, чистая вода. О такой речке только можно мечтать.

Лесной дух, птицы, плеск весла.

В одном месте в реке нежилась лосиха с двумя рыжими лосятами, спасались от кровососов. Греб я довольно шумно, и лосиха беспокойно озиралась, да ее сбивала какая-то оголтелая мамаша-утка, она курсировала прямо перед лосиным семейством от берега к берегу, била крыльями, утята едва поспевали за ней, плескались. А я уже близко. И глаза лосихи стали огромны от ужаса. Она вскочила, мгновение пребывала в оцепенении — и уже кинулась прямо вниз по реке в туче брызг. Тучки поменьше поднимали ее детеныши.

И дальше мне то и дело попадались лоси в реке. Я столько лосей не видел за все время своих походов. Просто лосиная ферма, а не река. Гобза течет по границе национального парка.

Рыжеватый бобер сидел на мели в воде и что-то соображал... Увидел меня — бацц! Дзен-хлопок одной ладони. И его нет.

Снова лось, мощный, с бархатистыми рогами. Взобрался на берег и не убегает, стоит и грозно выдувает трубами-ноздрями воздух, звук — как у реактивного самолета. Очень раздражен. Неспешно убегает, продолжая издавать соплами устрашающие звуки.

И я чувствую себя древним охотником.

Я и охочусь со своим фотоаппаратом. Встаю рано, брожу в тумане, ловлю солнце. Как и сейчас — по печальному березняку. Но восходит солнце где-то далеко в лесах и полях над Гобзой, и березы молодятся, веселеют в его теплом золоте, река млеет молочно, как Донец князя Игоря. И я вспоминаю вдруг одно неоспоримое свидетельство в пользу подлинности «Слова о полку Игореве»: использование автором половец-

ких словечек. Половецкий язык к моменту обретения «Слова...» был мертв. Но стал известен ученым после находки в библиотеке Петрарки латино-половецко-персидского словаря. А случилась эта находка только в середине XIX века. То есть через полвека после обретения в Ярославле в 1792 году сборника со «Словом о полку Игореве». Хотя, по новым сведениям, известный собиратель манускриптов Мусин-Пушкин присвоил этот сборник из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, будучи обер-прокурором Синода.

И образы там половецкие, как пишут исследователи. Те же половецкие телеги, что кричат, как лебеди. Сами себя половцы именовали лебедяниками. И предпочитали мир видеть синим: синее море, синее вино, синяя мгла, синие молнии. А у русских — зеленое вино, голубой Дон, лиловые молнии. Автор «Слова...» все видит как половец. Все правильно, вчувствовался.

А из слов половецких вот: харалугъ — чернота, черный вороненый металл, или «каралукский», по названию древнего тюркского племени карлуков; «...до куръ Тьмутороканя» — «кура» — «двор, ограда, постройка, стена»... И так далее.

То и дело мысли мои сбиваются на «Слово...» Потому что на самом-то деле за словом я и охочусь. Хочу в этих березняках, до света печальных, а с восходом солнца радостно озолоченных, в мокрых от рос травках, в тумане над рекой отыскать слово-ключ, слово, что отомкнет мне двери будущей книги. Отомкнет уста трех рек. Они-то текут, вон бурлит вода вокруг черных деревянных свай, изборожденных временем, но все противостоящих течению. А попробуй отгадай — о чем?

Тут был мост когда-то. А ни дорог, ни деревень нет.

В этих берегах ходили струги и ладьи, наверное, и кнорры викингов поднимались к Вержавску.

...И здесь поплывут вержавцы на плотках, а с ними главный герой — мальчик Спиридон. Я это понял внезапно. И это было главным итогом похода по древней речке Гобзе и в город Вержавск, мертвый город живых образов.

Устало я приплелся на песчаную косу в ивах, скинул мокрую от росы амуницию, залез в палатку, застегнул вход и растянулся... Тут же к палатке в кусты прилетел соловей и запел мне колыбельную.

Ах, хорошо-то мне спалось... спалось... да во сне привиделось: город заброшенный, советский, с флагами, гербами, плакатами, но разрушающийся, со стен домов осыпается штукатурка, колонны облезлые стоят, но есть пятиэтажки вполне добротные; горожане какие-то бомжеватые; мент шел — чуть меня не увидел, я скрылся за колонной, почему-то с ментом лучше было не встречаться; шла конопатая красивая девчужка с родителями, все канючила у них о покупке чего-то; куда-то вела длинная лестница... я по ней пошел, пошел... И взлетел.

Проснулся от выстрелов. Где-то выше по течению стреляли. Наверняка охотились какие-то горожане на лосей. И я пожелал им удачи. Лосям. Потому что эти горожане не из Вержавска.

И я сплавлялся по реке дальше, бил на плечах и руках жадных слепней, перетаскивал лодку и вещи через завалы, пережидал дожди в палатке, снова вспугивал лосих с лосятами. А однажды услышал шум воды, думал, рыбак плывет, но нет, это брел посередине реки задумчивый лось, глядел по сторонам, что-то иногда брал с воды темными бархатными губами.

На обед я высматривал удобную песчаную косу и причаливал.

Воду набирал из речки, она действительно чистая. А в ручье взял — бронзового цвета.

На одной такой песчаной косе искупался в обед, пока кофе настаивался. В небе плывут облака. У воды возле берега снуют пятнистые пескари, а значит, вода чистая. Тычут-

ся в мои ноги. Порхают синие и фиолетовые стрекозы. Слышна кукушка. В воду свешиваются желтые цветы с берега.

Никого нигде. Я как будто один. И не один. Со мной уже белобрысый мальчик с синими глазами, Спиридон из Вержавска.

В Демидове купил кучу знаменитых огурцов, ведро клубники для жены, дождался автобуса и поехал в Смоленск.

Гобза — значит богатство.

## 24

Зиму я не пустую потратил, а на чтение трудов академика Рыбакова, историка Алексеева, трех томов «Поэтических воззрений славян на природу» Афанасьева, «Православия» Сергея Булгакова и других книг. Море книг надо переплыть, чтобы попытаться написать одну книгу о трех реках. Правда, рек-то у меня уже больше, но и Каспля, и Гобза — это реки, соединяющие Днепр и Западную Двину. Они протекают по южной оконечности Оковского леса, как указывал Алексеев. Но и книги ведь как реки? А все же главных рек три: Волга, Днепр и Западная Двина.

Меня волновало то, что на верховьях Днепра я так и не побывал. То есть доехал тогда на велосипеде до самого истока, но так и не видел набирающего силу Днепра. От Дорогобужа до Смоленска — участок, пройденный и в одиночку, и с женой — Днепр мало меняется, ширина его остается примерно одинакова, только, конечно, он делается глубже после впадения Вязьмы, Вопи, Хмости, Волости, Ливны и других речек.

И я хотел пройти на лодке выше. Так и сделал.

В конце мая сел на «Ласточку», доехал до Гагарина, там пересел на маршрутку, еле затолкав походный скарб в багажник с помощью шофера, потом дождался автобуса в Новодугино, и снова это была тесная маршрутка, да в нее столько набилось народу — уж поистине, яблоку негде упасть. И я терпеливо топтался перед входом, пропуская все новых и новых пассажиров с сумками, рюкзаками, ведрами. Шофер был настроен как-то скептически. Багажника у него не было вовсе. Усевшиеся пассажиры глядели недружелюбно на мои сумищи клетчатые и рюкзак с веслами и спиннингом в чехле.

— Ладно, давай, — сказал мне молодой шофер и дал отмашку.

И я начал пристраивать свои баулы в проходы меж сидений, а тут еще какая-то тетка с тележкой и сумками пришла и тоже принялась прилипнуть к этой куче-мале.

— С такими чюмуданами на такси надо ездить, — бросила мне одна пассажирка.

Что я мог ей ответить? Рассказать о гонорах за книги? А книг у меня вышло порядочно как раз в последнее время, с пятнадцатого года — шесть штук. И еще неизданные лежат. Но за книги литератор моего полета получает чисто условные гонорары. Многие издания вообще перестают платить своим авторам. Ну и вот, я условно живой. Какое еще такси, мадам? А даймон книги про Оковский лес уже не дает покоя. Ни волхв Хорт из Арефина, ни мальчик Спиридон из Вержавска, ни русалец, ни поп Еремей и сотский Пантелей, ни скальд Скари, что в переводе означает Птенец Чайки, — никто из них уже не успокоится, мэ.

Водитель выходит, огибает маршрутку и сзади захлопывает дверь.

— Все. Упакованы, — бросает моя соседка, стоящая, как и я, на одной ноге.

И мы трогаемся. Едем, качаясь на колдобинах. После некоторой паузы в салоне растут как грибы разговоры на всякие темы, все громче, сильнее.

Через некоторое время вдруг одна пожилая пассажирка начинает тянуть мою неподъемную сумку к себе, бормоча: «Да вы там совсем на одной ноге, давайте поближе...» И я подвигаю сумку, встаю и на другую ногу. Моя соседка тоже.

Едем.



И лица деревенских жителей умягчаются, светлеют. Они начинают переговариваться и с водителем. Он подбирает девушку и умудряется ее посадить сзади. На слуху цены, жизнь призывника, огородные заботы...

Перед конечным пунктом — селом Днепровским — маршрутка сворачивает вправо и по отличной дороге катит в Болшево. Я читал про Болшево, что туда отвратительная дорога ведет. Но недавно там открыли дом престарелых, в строительстве участвовал госдумовец Неверов; у него здесь свои резоны. Он приезжает, по слухам, сюда отдыхать. Кроме того, поблизости дача и маралья ферма Володина. Телекомпания «Дождь» засылала сюда своих корреспондентов. Неверов эти слухи опроверг, а Володин никак не отреагировал на них. Но все в маршрутке в ответ на мой вопрос о дороге дружно отвечают, что Неверов сделал. И говорят, что да, он здесь любит отдыхать. Я продолжаю въедливо спрашивать насчет дома престарелых, мол, не «блатных» ли там селят? Но мне отвечают, что нет. Живут в нем сироты, ну, одинокие, ветераны, кто-то вышедший из тюрьмы.

В Болшеве я выхожу напротив магазина вместе с двумя или тремя местными жителями, маршрутка разворачивается и уезжает. Успеваю спросить, как лучше выйти к реке. Показывают, в какую сторону топать.

И я иду с рюкзаком за плечами и двумя внушительными сумками на тележке. Еще цветут яблони. Белеет среди огородов и садов церковь. Дома выглядят крепкими. Болшево, конечно, ожило. Возможно, к этому времени здесь вообще никто не жил бы, не пояись место работы — дом-интернат, отличная асфальтированная дорога.

Мне не по душе все эти депутаты и вся Госдума во главе с Володиным. Но что вижу, то вижу. Вообще, хорошо бы запретить депутатам и всем российским толстосумам отдыхать за границей. Глядишь, тогда и другие деревни, поля на Руси оживут.

...Полдня — и я в верховьях Днепра, в Оковском лесу. Ну, правда, тут, в Болшеве, еще нет леса, но Днепр — вот он. С шумом вбегает в две огромные глотки труб и вырывается на другой стороне моста. Ширина — метров десять. Век скоростей. Утром поезд стучал мимо высотных домов, стозвонно отражающих взошедшее над Москвой солнце. И вот — тишина, струение вод, пересвисты дроздов-флейтистов, аромат черемух.

Скорее уже собрать мой корабль. Уложить вещи. Усесться... оттолкнуться веслом.

И я пошел вверх по течению. Надо подняться максимально высоко. Вода напирает на нос моей лодки «Большой бродяга», гребу и гребу. Глубина около метра, иногда даже меньше, и тогда лопасти скребут по камням, а порою и глубже.

Мне снова хочется приблизиться к истоку жизни этих трав и птиц.

Исток любой реки наполняет странника чувством благоговения, а уж исток Днепра — тем более.

«Метафорический язык народных загадок называет раем водные источники: „два братца (ведра) пошли в рай (вариант: в воду) купаться“, что указывает на древнейшую связь идеи рая с небесными, дождевыми колодцами»<sup>45</sup>.

Где же и быть истоку великой реки, как не в таком небесном колодце?

А ключи от райского колодца у кукушки и сизой галочки. Афанасьев пишет, что, по народным представлениям, над той небесной криницей «таки разнии, прихорошии, пахнючии цвитки та ягоды, яблуки, хвыги, мындалы, розынки (виноград) и всякая овощь, а птыцы так хорошее спивають та щебечуть, що-й сказаты не можно»<sup>46</sup>.

Вот к такой чудесной кринице, к студенцу, ключу чистых вод и отправились мои герои — волхв Хорт, а с ним мальчишка Спиридон. Зачем именно, я пока не скажу. У каждого из них своя цель.

<sup>45</sup> А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Современный писатель, 1995, т. 2, с. 71.

<sup>46</sup> Там же, с. 73.

Белый латырь-камень всем камням отец.  
Почему же ен всем камням отец?  
— С-под камешка, с-под белаго латыря  
Протекали реки, реки быстрыя  
По всей земле, по всей вселенную,  
Всему миру на исцеление,  
Всему миру на пропитание<sup>47</sup>.

Так поет «Голубиная книга». И ее песнь мне сразу и является на ум, когда вижу впереди валун посреди течения. Но это еще не тот латырь-камень, с-под коего все три реки выбегают. Тот латырь-камень еще далеко. Имя его Валдай.

И я упорно к нему поднимаюсь за книгой.

Порой мне кажется, что документальное повествование слишком бедно. Факт — алатырь-камень, на котором держится документальное повествование. Но рано или поздно этот факт начинает давить. Бальзак или Стендаль заметил: глупо как факт.

Неожиданно приходит сравнение документальной прозы с миром безбожным. По крайней мере, я, воображая такой мир, сразу начинаю скучать. Такой мир плоский. И Бальзака или Стендаля я бы поправил: плоско как факт.

В лесах не раз убеждался в плодотворности религиозной идеи. Размышления на эту тему всегда увлекают и не дают впасть в отчаяние, заскучать. Они живительны.

Русские люди стародавних времен почитали все написанное правдой.

А разве не правдива первая русская проза, «Слово о полку Игореве»? Это документальная проза, исполненная высокой поэзии вымысла. Не мог же в самом деле какой-то див свистать на войско Игоря. И сам Игорь не оборачивался горностаем, белым голем, волком, соколом, и река Донец с ним не разговаривала и так далее. Но представляется, что в миг написания этих строк автор «Слова...» ничуть не сомневался, что все так и было: оборачивался соколом и волком, говорил с ним Донец. Ведь и читатель в XXI веке каким-то странным образом этому верит и удивляется: надо же... как они умели...

Конечно, можно посчитать все это лишь яркими метафорами.

Но у него и Всеслав скачет волком. А Всеслава, князя полоцкого второй половины XI века и начала XII, все считали вурдалаком, оборотнем, чародеем. Днем этот князь княжескими делами занимался, а по ночам метался волком по Руси, да так быстро, что пока звонил колокол заутреню в его Полоцке, он в Киеве был и успевал до солнца вернуться. В пути пересекал дорогу Хорсу, Солнцу.

Так и видишь летящего-бегущего в синей мгле волка, вдруг вспыхивающего всей своей жемчужной от росы шубой в волне света, что послал Хорс.

Летопись говорит о Всеславе, что родился он от волхования. И с особой метой: то ли родимым пятном на голове, то ли в сорочке, которую мать и повязала ему на голову. В Радзивилловской летописи он изображен с такой красочной короной на голове.

Всеслав занял и Новгород. На него выступили князья Ярославичи, и на реке Немиге в снегопад мартовский сразились оба войска. Всеславу пришлось бежать. Летом эти Ярославичи позвали к себе Всеслава, мол, клянемся не трогать тебя, давай мириться. Крест, как водится, целовали. Он прибыл к ним в ладье под Смоленском, и его схватили, лишь только он шагнул в их шатер-ловушку. Отвезли Всеслава с двумя его сынами в Киев в темницу.

Изумительна эта картинка в летописи, на которой изображен Всеслав с сыновьями в лодке, а с ними и гребец с веслом. Всеслав сидит в своей как бы окровавленной ко-

<sup>47</sup> Там же, с. 76.

роне, с длинными волосами, в одежде с меховым воротом, и лик его печально-задумчив, мальчики светловолосы и беспечны, словно на каникулы плывут, ну, или в гости к хорошей родне.

Но полтора года спустя восставшие киевляне освободят их и назовут Всеслава своим князем.

Да недолго киевский стол будет его, всего семь месяцев. Всеслав снова в бегах... Полоцк уже не ему принадлежит. Но он набирает войско и пытается овладеть Новгородом, да терпит поражение и попадает в плен. Правда, его отпускают почему-то...

Потом он вернет себе Полоцк, и при нем княжество достигнет расцвета.

Загадочный ореол вокруг этого князя останется. И фраза Бояна о нем: «Ни хитрому, / ни умелому, / ни птице умелой / суда божьего не миновать» — лишь добавляет этой таинственности. Ведь после всех бед он ладно правил в своем Полоцке, отстраивал и укреплял города.

До этой фразы автор «Слова...» говорит: «Хоть и вещая душа у него в храбром теле, / но часто от бед страдал».

Вещая — значит прозорливая. Но не все он умел предвидеть. Суд божий ему, наверно, грозил за его двоеверие и оборотничество. Рыбаков считал, что его двоеверие вполне возможно.

Именно его изображение в короне с кровавыми рубинами на концах обратило на себя внимание, потом, конечно, любопытным показалось его оборотничество. Ну, а когда волхв Хорт уже заявил свои права на главного героя книги, Всеслав тем более стал мне интересен.

Да и к Смоленску он имеет отношение. В «Поучении Владимира Мономаха» говорится, что он Смоленск пожег. Мономах кинулся туда, да не успел застать. Тогда учинил поход за Всеславом, пожег его землю...<sup>48</sup>

Ишь, огненный волк. Тень его еще появится в моей книге.

## 25

Но, разумеется, оптика веков тоже играет здесь роль. Факт, документ, как фотография, со временем обретает художественную ауру.

Мир леса и реки с отрочества представлялся мне каким-то уже искусством. Позже я начал думать обо всем этом как о книге. Ну, это известная метафора. И мне она пришлась по душе.

Ветер трепал эти страницы, напоенные светом и ароматом трав, цветов или хрустом и свежестью снега, перелистывал, вырывал и уносил куда-то в безвестность. И мне хотелось их удержать. Так и начал вести походный дневник. Ну, а потом уже захотелось что-то и обнародовать. Все мои писания — образчик пейзажного мышления. Поэтому так любви мне древние китайцы, они самые ранние и самые изощренные пейзажисты. Трактаты о живописи писали уже в начале нашей эры. Гу Кайчжи сочинил в IV веке трактат «Рассуждения о живописи». И еще: «Записи о том, как живописать гору Юньтайшань», «Записи о том, как живописать Горные ступени в облака» и «Гимн расцвету живописи Вэй и Цзинь».

Но и «Слово о полку Игореве» — шедевр пейзажного мышления. Наверное, из-за этого в первую очередь я и люблю поэму.

...Справа заметил чистый ручей, причалил к неудобному берегу в ивах, кое-как вылез, хватаясь за ветки, привязал лодку, достал бутылки и наполнил их родниковой

<sup>48</sup> Поучение Владимира Мономаха. В кн.: Русская литература 11–18 вв. М.: Художественная литература, 1988, с. 57.

водой. И, привязывая вспотевшие тугие хладные эти бутылки к корме, испытал ту самую слепую и древнюю веру в родники как в хранилища целебных сил.

Эту веру отмечал Сергей Васильевич Максимов, этнограф, фольклорист, совершавший свои экспедиции по дореволюционной России и писавший великолепные книги.

Он писал, что «эти родники, или криницы, представляют собой несомненные памятники седой старины, когда младенческий ум подозревал в них явное, хотя бы и незримое присутствие и, во всяком случае, близкое участие высших существ. Милостивым заботам этих существ и поручались такие места. Здесь попечительная мать сыра земля устроила так, что ключом бьющая из нее водяная жила и сильна, и непрерывна. Народившийся поток обилён чудесной водою, зимою не поддающейся даже лютым морозам, а летней порой, в палящий зной, холодной, как лёд, чистой и прозрачной, как хрусталь, и при всем том обладающей особенным вкусом, резко отличающим ее от воды прочих источников. Достаточно одних этих свойств, чтобы сделать подобные урочища заветными...»<sup>49</sup>

Мой ум всегда впадает в это младенческое состояние, когда в жару приникаю к родниковой жиле, как первобытный охотник к жиле убитого оленя.

И набрав воды из чистого источника, чувствуешь удовольствие от тяжести добычи. Теперь остается только отыскать удобное место для палатки, тенистое и с сухостями поблизости.

Да, все же напряжение этого дня сказывалось, и хотелось уже есть.

Я греб и высматривал место для стоянки. А солнце как будто нарочно мешало мне, слепило своими двумя глазами — небесным и речным. Здесь Днепр течет с запада на восток. Ну, а я поднимался против течения, то есть с востока. И буквально омывался этим чистым лесным и речным светом.

Свет смывал с меня коросту большого города, в котором я так и не освоился. Миллионы прохожих, тонны машин, несущихся по автострадам, чудовищные сталактиты высоток... Нет, сталактиты свисают с потолка пещеры, а сталагмиты растут снизу. Вот, значит, сталагмиты. Но мне казалось на улицах Москвы, что и сверху что-то свисает. И таким образом мы бродим в пасти мегаполиса. В пасти власти, тут ее источник. И меня, анархиста по духу, все время тянуло на Красную площадь, как тянет любопытного в зоопарке к клетке с тигром или резервуару с крокодилами. Азиатский дух этого места очень вятен. Мавзолей, бульжники, стены, башни, купола. Позади, в Александровском саду, есть грот со сфинксами. Мне хотелось сфотографировать их так, чтобы был виден и Кремль. И вот в снегопад я поспешил туда с треногой и фотоаппаратом.

На входе в сад меня остановил белобрысый полицейский и спросил, чего это такое, указав на треногу. Я ответил, что тренога. Он кивнул на Вечный огонь с караулом и предупредил, что туда мне приближаться ни в коем случае нельзя. Понятно. Хотя и не понятно ничего. Что я, треногой воспользуюсь как копьем? Буйное воображение у полицейского.

Но мне нужен был не вечный огонь и часовой, а сфинкс. Сфинкс как загадка Кремля. В чем эта загадка? Так вот я пытался ее отгадывать, фотографируя...

И влез на высокий парапет, чтобы снизу поймать в кадр сфинкса и одну из башен Кремля. Начал фотографировать. Рядом был расчищенный от снега люк. Там, видно, проходят коммуникации Кремля. И вдруг услышал какие-то крики. Хм, странно как-то. Будто на базаре какой-то галдеж. Но тут же Кремль вон, Александровский сад. Крики приближались. Невольно я оглянулся. И увидел бегущих в мою сторону двоих полицейских, один из них что-то орал и размахивал руками, второй бежал мол-

<sup>49</sup> С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Азбука, 2018, с. 212–213.

ча. Я даже посмотрел вокруг. Может, террорист с бородой поблизости? Но нет. С бородой — это был я. Полицейские мчались ко мне, издавывая меня площадной бранью. Я уже понял, в чем дело. И не сдержавшись, громко и беспощадно выругал бегущих полицейских. Тот, что орал, просто завизжал. Посетители всего мира с любопытством смотрели на нас.

Я спустился с парапета. Полицейские подбежали.

— Ты что? Сдурел?..

Дальше непечатное.

Отвечаю тоже непечатно.

Полицейский:

— ....! ....! ....? ....!!!

Второй молодой, видно, прикреплен как стажер, еще не освоил этот язык, точнее, не набрался наглой уверенности материть пожилого человека с фотоаппаратом у стен Кремля.

Об этом я и сказал его наставнику, белобрысому мужику средних лет. Его синие глаза чуть не стали зелеными. Губы побелели от бешенства. Но! Материться он перестал. Я тоже.

Мы смотрели друг на друга, как вечные антагонисты. Полицейский изумленно вопрошал, в своем ли я уме? Зачем полез наверх и т. д. Я отвечал, что в своем, а не в чужом, а полез, чтобы сфотографировать ту зверушку. Он посмотрел на сфинкса.

— Да вы что, ребенок?!

Я подумал и ответил, что, в общем, все фотографии немного дети.

— И что такого я совершил?

— Да нельзя!!! — крикнул полицейский.

— Ну, я увидел, что сюда уже кто-то забирался, — объяснил я, указывая на расчищенный люк и следы на снегу.

— А если бы вы увидели... увидели, что кто-то в этот люк прыгнул, что, тоже прыгнули бы? — ловко парировал он.

Я задумался.

— Вроде нормальный мужик, — сказал полицейский, — а рассуждение... Вы понимаете, что я сейчас вызову наряд, приедет машина, и все, вас увезут в отделение на разбор.

Тут до меня вдруг дошло, что с ментами, переименованными в полицейских, шутки и впрямь плохи. Да я не шутил. Просто хотел сфотографировать кремлевского сфинкса. Но, видимо, чего-то не учел. Это ведь не Смоленская крепость.

Полицейский размышлял, что со мной делать. Я снова заверил его, что не имел в мыслях ничего плохого, только хотел сделать кадр, и все. Сфинкс — это же не какой-то стратегический объект, верно?

Полицейский махнул рукой.

— Стирайте все на хрен!

— Фото? — спросил я.

Он кивнул.

Я отрицательно покачал головой, решив до конца бороться с режимом за свободу творчества.

...И вдруг полицейский, этот мужик синеглазый, с простоватым, незлобивым, в общем-то, лицом, уже для одного виду негодуя, отпустил меня и пошел вместе со своим стажером восвояси.

Легко и просто все разрешилось, я даже оторопел.

А ведь мог вызвать повозку, и там, куда меня доставили бы, стерли бы не только изображения с флешки, но при достаточном усердии — всю память, как они это умеют делать.

Не знаю, что двигало им. Поначалу он вел себя весьма некорректно. Почему он раздумал, ведь любое задержание — а тем паче автора «Голубиной книги анархиста» — это плюс, галочка там, в какой-то ведомости?

Я же и говорю: сфинкс.

И вот я на свободе, вдалеке от всех площадей и небоскребов, вдалеке от сфинкса, насквозь пронизываемый светом двух солнц, гребу вверх по Днепру. Наконец причаливаю к каменистой отмели. Под черемухами ставлю палатку, зажигаю огонь, наливаю воды в котелки, а в кружку немного водки.

— За начало похода.

## 26

По берегам растут старые березы.

Вода довольно чистая. А ручьев по берегам нет. Шкаликов в своей книге тоже отмечает это. Хорошо, что набрал в том родниковом ручье много воды сразу. Хотя, наверное, можно пить и воду из Днепра после кипячения.

Поют птицы, благоухают черемухи.

Днепр кажется загадочным.

Тем более что сопровождают меня волхв Хорт и малец Спиридон.

«Колдуны на воду нашептывают, чтобы наслать беду на недруга, и вообще редкое гадание обходится без того, чтобы вода не играла в нем существенной роли», — пишет С. В. Максимов. И добавляет, что народ верит в чары воды, в то, что она мстит за нанесенные обиды<sup>50</sup>.

В этом и отгадка долгого путешествия моих странноватых героев, Хорта, заросшего русой бородой по самые серые глаза, и синеглазого немого мальчишки Спиридона.

И я пытаюсь увидеть Днепр их глазами.

Но, конечно, берега в те времена были другими. Может, сразу у воды и росли ивы, березы, черемухи, но за ними тут же вставал стеною еловый и сосновый лес. И к самой воде выходили любопытные звери. Глядели на мужика в серой пропотелой рубахе и таких же портах, заправленных в стоптанные кожаные сапоги, и на его спутника в длиннополой рваной рубахе и портах.

А они отдыхали... Костер разводили от комарья.

Снова дерево через всю реку. Здесь я решил и на ночь остановиться. Умаялся, таская вещи, прорубаясь сквозь завалы легким скандинавским топориком, подаренным другом давным-давно.

И хладная луна полыхала в переливах речных, полоскала и так-то чистые рушники. Пели соловьи. Черемухи струили восточные ароматы. Днепр молодой был во всей своей языческой красе. Тут-то сердце Хорта радовалось. Далеко они ушли от княжеского Смоленска с его новой верой... Ну, как новой? Ей уже лет двести миновало. А все кажется новой, чужой и нелепой, противостоящей истинным силам: ветрам, грозам, водам и огню. В них — жизнь и сила. А не в каком-то заунывном бедняге, прибитом к кресту. Хорт видел его изображение в храме в граде на горе. Он был жалок, тщедушен, истекал кровью. Обычный человек, какой еще бог? Если сам себя не мог спасти, за себя не умел постоять. Как же он о народе печься будет?

Утром часть продуктов и тележку оставил в черемухах и пошел дальше. Я, литератор, ищущий книгу, а не Хорт.

Впрочем, Хорт и мальчик тоже утром вверх пошли. У них лодка-долбленка. У меня надувная байдарка. Они, конечно, о моем существовании не подозревают. А я их вижу. Долбленка у них, как у того вестника на картине Рериха «И восстал род на род».

<sup>50</sup> С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Азбука, 2018, с. 231.

К Рериху мы еще вернемся.

Тут неглубоко, и волхв толкается шестом. А Спиридон так сидит, зыркает по сторонам, чешет волосы под шерстяной овечьей грязной шапчонкой.

Ого, как далеко они забрались. Где ен, тый родимый Вержавск?

...Но это уже и не плавание, а какие-то скачки на речном коне! Только перетащишь лодку через завал, наладишься махать веслом, а впереди барьер из монументальных берез, наваленных бобрами-мастерами.

Берегом вещи таскать неудобно, берега низкие, топкие, а то крутые, сплошь заросшие ивами. Порой я похож на циркача под куполом небес и листвы: провожу лодку под стволом, а вещи кладу на этот ствол; сам сижу на стволе; лодка проведена, теперь можно и вещи грузить, а потом залезать и самому.

Жарко. Комары одолевают.

Под вечер дошел до череды завалов. Вылез на песчаный удобный мыс, достал дегтярное черное мыло и устроил речную баню. Потом уже пошел дальше смотреть. Место удобное для ночевки: луговина, березы и густые елки. Дальше на реке заводь, и вправо небольшой рукав уходит. Через него лежит упавшая береза. Прошел, балансируя, по ней. Посмотрел: и впереди, выше по течению завалы. Кажется, все. На этом путь вверх придется закончить. От Болшева я поднялся примерно на десять километров, а может, и меньше. Позади оставил устье речки Жердь. До истока отсюда, наверное, километров двадцать. Но я туда уже не дойду. На истоке я был.

В ельнике разбил лагерь, набрал в Днепре два котелка воды и приготовил обед: гречку с вяленным куриным мясом (жена постаралась), чай. Чай пью с черносливами и сухарями.

И после обеда отлеживаюсь в палатке. Здесь не жарко. Мышцы ноют, обгоревшие плечи саднят. Десять километров как все сто. Хотя верховья все манят. Таковы чары великой реки.

Днепр здесь шириной четыре-пять метров. Много отмелей каменистых. Но сразу за моим кострищем обрыв и глубокий вир.

Соловей защелкал.

Афанасьев приводит загадку: «За билыми березами соловейко свищет».

Какая ж это загадка, мог бы сказать Спиридон, если б язык ему повиновался. Но он лишь ухмыльнулся Хорту, пожал плечами. А тот говорит: «Ну, малый, помыслика». Спиридон смотрит: вот и березы. Слушает: кукушка. Но к вечеру и соловушка запоеет. Ничего не поймет. Кивает на березы. Хорт качает головой. Потом показывает сквозь русые усы зубы, разжимает зубы и высовывает язык.

Спиридон хмурится, отворачивается. Но Хорт его треплет по плечу и говорит: «Малый, запоеет и твой соловушка. Дай срок».

Но Спиридонушка уже и не верит. И многожды раз пожалел, что удрал тогда с купцами, поднимавшимися со своим товаром по Каспле в Смоленск, а оттуда — в Арефино, к великому волхву Хорту.

Афанасьев вспоминает, что в старинных памятниках пение соловья уподобляется щекоту, и начинает разбирать значение этого слова в различных славянских языках. В польском это лай, злословие, в великорусских областных говорах — дерзкая брань, щекатый — сварливый. Это дает ему основание для сравнения соловьиного пения с весенними глаголами бога-громовника<sup>51</sup>. И дальше, рассуждая о подвиге Ильи Муромца по обузданию Соловья-разбойника, он приходит к выводу, что Соловей-разбойник — олицетворение демона бурной, грозовой тучи<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Современный писатель, 1995, т. 1, с. 153.

<sup>52</sup> Там же, с. 156.

Вот мне-то давно в щеко́те соловья что-то такое разбойное и чудится. Пение его чарующее, спору нет, но вдруг он да и ударит глаголом-камнем по черепушке. Есть такой момент в его волшебном пении.

Может, Соловей-разбойник когда-то был на службе у бога ветров Стрибога. Да отбился от рук, как говорится. Подобным разговором мог занимать во время отдыха Хорт Спиридонушку.

А этнограф Афанасьев учено рассуждает о ветрах дальше и вот к какому интересно-му приходит выводу: «...гудок и гусли от гуду, гудеть — слово, употребляемое малороссами для обозначения дующего ветра»<sup>53</sup>.

Следовательно, гуслара можно назвать тоже Стрибожьим внуком, как называет автор «Слова о полку Игореве» ветры, ну, или правнуком. А скальда? Надо будет разведать.

Вечером с легким рюкзачком вышел на прогулку. Тишина и мощь сразу охватили меня, как только свернул от реки и углубился в лес. Это ведь Оковский лес. Вековые ели, сосны. А на самом деле — тысячелетние. Бело цветет жимолость. Белеют гусиные лапки, синеет хохлатка. Выворотни распахивают объятия земные.

Чтобы посидеть на стволе в Оковском лесу, стоило чуть свет тащиться с баулами на платформу, лезть в электричку, оттуда — на Белорусский вокзал, дальше — до Гагарина, до Новодугина, до Болшева, и еще преодолеть завалы, изнывая под солнцем....

И вот — Лес веет прохладой великой. А там, у реки, пекло. Над вершинами елей и берез белейшие облака. Это — часть образа. Мне еще надо найти иные части этой великой маски. Нет, это у буддистов Бамиана была маска из золота. И в моем сне. А здесь уже не маска, а лик, сотканный из света и тени, трепещущих листьев, лучей, еловых игл, глублин Днепра, подводных трав, облаков и дождей.

Еще много предстоит пройти.

Но как же славно выскочить из Москвы, нелепо гигантского города, из сплюснутой одномерной квартиры, повисшей над вечно шумящей бредовой дорогой.

То ли дело палатка на четырех ветрах да на лучах кругового солнца, в волнах трав и луны.

## 27

Поздним вечером на противоположном берегу, на луговом склоне в потоках света осторожно переступала косуля. А фотоаппарат в палатке!

Я кинулся назад, в лагерь под елками, уже сумеречными, насупившимися. Но пришлось пробежать еще дальше, только прихватив рулон туалетной бумаги. Наелся молодых отростков с еловых лап. Срывал эти светло-зеленые пальчики и жевал, чувствуя восхитительную свежесть. Еще сам себе в пример глухарей приводил, они любители этого лакомства. Много витаминов.

Перед сном услышал журавлей.

Лег. Через час вскочил как угорелый.

Глухарю хорошо! У него нет штанов, спальника, палатки.

Но утром напился крепкого чая, наелся риса, и все пришло в норму. После завтрака положил в рюкзак котелки, немного еды, бутылку с водой, кружку и пошел снова в лес. Не каждый день оказываешься в летописном лесу, у начала великой реки.

На боку у меня фотоаппарат в сумке, на плече тренога, за спиной рюкзак. С такой-то ношей здорово шагать по лесу, перелезть через поваленные деревья, ломиться сквозь кустарник.

<sup>53</sup> Там же, с. 163.



В лесу свежо. Люблю его здоровый хвойный дух, солнечные пятна, густую тень, зеленые сердечки кислицы у мощных бурых подножий елей; рябь папоротников — чудную рябь, двоящуюся: сейчас — тысячу — лет — назад — когда — он — цвел; мягкую землю; сети еловых сухих веточек в паутине; морской шум, в котором распахиваются невиданные дали; сокровенную глубину, в которую шагай не шагай, а не дойдешь никуда, глубь ускользнет волшебной змейкой.

Хорошо в таком лесу затеряться. И вспомнить ненароком Москву, чуждую, устроенную гордецами, жадными до славы, денег, развлечений. Вавилон и есть. Надо же, под старость я в нем как-то и оказался. А с юности мечтал только о лесе, о море, о горах.

Все там в Москве удобно, чисто, транспорт работает безукоризненно, во дворах много зелени, в центре концентрация истории просто оседает осязательно на лице этой патиной, а музеи, концертные залы да обыкновенная афиша, от которой дух захватывает?

Но что происходит в это время с остальной Россией? После долгого пребывания в Москве я попал в Смоленск и был потрясен дворами этого города, по которым явно велся огонь из скорострельных гранатометов. Тротуары разбиты, в лунках полно пыли, бумажек и прочей грязи. Но вот из подъезда выходит молодой человек, явно офисный работник, и он спокойно шагает по этой Монголии в миниатюре. До Смоленска войска Золотой Орды не добрались семьсот с лишним лет назад, но такое впечатление, что теперь-то точно доскакали и натрясли со своих седел степной пыли. Офисный парень даже ничего не замечает, привык. И я когда-то так же привычно ходил среди этих лунок и не задавался вопросом: а почему это так? Почему в той же Москве по-другому? Сейчас задаюсь этим и другими вопросами. За год я так и не привык к гастарбайтерам. В основном это таджики и узбеки. Их красные жилетки мелькают повсюду. Молодые парни с раннего утра до темноты скребут и чистят Москву, копают, укладывают асфальт, строят дома. Они работают явно с превышением всех допустимых норм. Работают в выходные, в праздники. Это похоже на рабский труд. Проскочила новость, что тридцать узбеков-дворников решили подать петицию властям района. Тут же к управе, куда они принесли петицию, подогнали автобусы, и полицейские увезли дворников в отделение, дабы *проверить их на экстремизм*. Эти же полицейские заставляют их бесплатно расчищать снег перед своими отделениями, жаловались другие дворники депутату Яшину. Зарплата смехотворная для Москвы — 20 тысяч.

Мне довелось служить вместе с узбеками, таджиками, киргизами, мы вместе тянули солдатскую лямку, готовили плов за баней, мокли и жарились на операциях в горах и степи. Когда вышел приказ о переводе в Союз представителей, так сказать, «мусульманской культуры» — как точно это было сформулировано, я не знаю, но смысл именно таков, — то многие из них отказались и продолжили служить с нами. И не все дожили до дембеля.

Конечно, никто вроде бы их не неволит, сами приезжают. Но, значит, таковы обстоятельства, что они вынуждены это делать. А президентам бывших союзных республик вместо того, чтобы обрушивать пыл-сарказм на этих ребят, стоило бы подумать, отчего это они предпочитают пахать здесь, а не в таких распрекрасных республиках?

Это еще Ислам Каримов призывал соотечественников не позориться с метлой на улицах Москвы. И тут же признавал, что в Узбекистане есть проблемы с трудоустройством. А по подсчетам Центробанка России, узбекские гастарбайтеры перевели 6 миллиардов долларов домой в 2012 году. А ВВП Узбекистана в этом году составил 51 миллиард долларов.

И средняя зарплата в том же Узбекистане в 2019 году — 12 тысяч рублей.

Остается добавить, что москвичи пишут на стенах и лавках... ну, всякие злобные пожелания этой трудолюбивой Азии. А должны бы благодарить этих обездоленных ребят.

Все это яркое проявление русской имперскости.

И как же здорово оказаться вдали от ее центра.

Компас у меня был с собой, но лучше ходить в лесу по каким-то ориентирам. И вскоре мне повезло наткнуться на чистый меланхоличный ручеек. Странно было видеть эту чистую воду среди грязных топей и корней. Ручеек вывел меня на край леса. Краем леса дошагал я до заброшенной дороги, а уже она вывела меня через лес к деревне.

Деревня была пуста. Я это сразу определил по отсутствию проводов на столбах. Правда, кто-то мог жить и без электричества. Я приближался к домам с цветущими яблонями и кустами сирени под взглядом черных окон.

Пустые жилища всегда оказывают на человека печальное воздействие. Вокруг них — печальное энергетическое поле. Возможно, и не стоит его пересекать. Но любопытство сильнее опасений.

И я заглядываю в пустое жилище. Вскрытые полы, балки, разрушенные печи, обрванные обои, стекляшки, какая-то битая посуда, обложка учебника.

Сразу пробуждается память войны. Точнее, войн: с немцами, с литовцами, с монголами, с французами. Они вписаны в нашу память навечно. Почему смоленские деревни так убоги и сиры, неприметны? Да потому, что история приучила к изменчивости бытия, этой философией, сродни буддистской, мы вспоены и вскормлены с пленок. Чем незаметнее твой дом и беднее, тем лучше. Может, и враг пройдет мимо. А не пройдет — так и не особенно придется горевать.

Но место все же красивое, лесное. И яблони благоухают, роняя цветы. Воздух чист. И воды чисты.

А никому ничего и не нужно. Ну да, попробуй-ка пожить в этой крапивной, комариной глуши. Да с детьми. Здесь даже мобильной связи нет. А в маршрутке из Новодугина сельские кумушки только и говорили про новости из Интернета.

Вольно вздыхать здесь заезжему литератору о богатствах природы и неразумии людском. Поселись и живи.

Спиридоношка с Хортом молча обходили пустую деревеньку и не умели уразуметь, что же здесь произошло.

Ни души...

Ох, и тяжело мне было возвращаться. Жарко. Глотка пересохла. Наконец дошагал до того ручейка-меланхолика, быстро разжег печечку, поставил котелок с водой на нее. Это у меня самодельная печка-щепочница. Купил металлическую круглую дырчатую сушилку для ложек, прорезал отверстие для щепок, сверху прикрутил металлическую форму для выпечки булок, на нее и ставлю котелок. Если щепки и веточки сухие, то вода вскипает быстро, но чуть только посырее, и все, будешь час мучиться.

Но в этом местечке полно было сухих еловых веток. Вообще ель — матушка странника, даст и постель, и огонь, и смолу для заживления ранок. И... накормит, хотел добавить я, но, вспомнив вчерашний опыт, не стану этого делать. Впрочем, если не жадничать, то и ничего не произойдет. Надо будет попробовать. Но не сейчас.

Сейчас у меня горячие рожки с майонезом и куриным сушеным мясом и много, много, много кружек кофе.

И я наелся ракушек, надулся кофе и теперь сижу в лучах вечернего солнца, привалившись к ели, и слушаю кукушку. Печурка слабо дымит еще, отгоняя комаров.

Интересно, а в чем готовили пищу Хорт с мальчишкой Спиридоном?

Сейчас-то они ушли вверх по Днепру, и я не успел рассмотреть. Но вернусь в город и порыщу по Интернету. (Но я просто зашел в Исторический музей на Красной площади и увидел железные котлы, а еще и муляж збручского идола и многое другое; збручский идол задвинут в угол, и рассмотреть все его стороны не представляется возможным; и вообще освещение в музее убогое, темно, как в пещере, видимо, для создания особой древней атмосферы, но экспонаты могли бы и хорошенько осветить, а то ведь

и подписи к ним не прочитаешь; или музейщики экономят в главном историческом музее страны?)

На закате вышел к лагерю. Все на месте. Переночевал и покатился вниз по Днепру. За полдня дошел до Болшева, а вверх поднимался два дня. Снова преодолевал завалы, но уже знал что да как, поэтому действовал быстро. На мосту впервые увидел людей за это время, мальчика и девочку на велосипедах. Девочка со мной поздоровалась, я ей ответил. Дети с любопытством наблюдали, как я перетаскиваю вещи, лодку, все загружаю и отчаливаю, устремляюсь дальше.

И постепенно Днепр превращается в таежную реку с высокими берегами, каменистым дном и перекатами. Это уже больше похоже на Оковский лес!

То и дело приходится вылезать из лодки и вести ее на веревке, много отмелей. Небо узкое из-за высоченных елей и тополей, сосен. После ночевки на берегу с удобной песчаной косой сплавляюсь дальше. Берега все выше. Так что мне уже вспоминаются реки Баргузинского заповедника даже. С утра как-то не по себе. Угнетенное состояние. Не выпался, что ли?

Но вот и объяснение: далеко гремит.

Я налегаю на весло, уходя от грозы. И это мне удается почти до вечера, пока реку не преграждает мост. Тут я и причаливаю, собираясь перетаскивать вещи и лодку через лежащий на воде мост. Но вдруг понимаю, что мост-то никуда не ведет. Ни слева, ни справа нет дорог, не видно и не слышно деревни. Значит, его притащило сюда весной откуда-то сверху. Но удивительно, как он цел, только посередине две-три дощечки вышибло, и все. Лежит, чуть накренившись, от берега до берега. И я по нему прохожу туда-сюда. Оглядываюсь. На берегу ровная поляна. Вон и елки поблизости. Упавший гигантский тополь, подгрызенный бобрами.

Гроза гремит уже рядом. И я решаю остановиться здесь. Только успеваю поставить палатку и натянуть костровой тент, как надо мной разражается гроза. Открываются те самые хляби небесные верхнего неба пращуров, и на палатку, на тент, на перевернутую лодку обрушиваются воды. Интересно, кто отвечал за эти хранилища? У кого были ключи? Не у Перуна же. Рыбаков об этом ничего не говорит.

Языческие боги на Руси суть: Хорс (солнце), Дажьбог (тоже связан с солнцем), Стрибог (ветры, небеса), Семаргл (небесная собака, ответственная за восходы), Макошь (плодородие земли и женщин), Велес (богатство, торговля), Род (вселенная), Рожаницы (плодородие), Сварог (солнце, огонь), Лада и Леля (брак, деторождение). Вообще Рыбаков замечает, что все это, возможно, «не различие божеств, а лишь различие наименований. Обилие имен-эпитетов хорошо известно в античной мифологии; подобная многоименность перешла и в христианскую эпоху: Мария, мать Иисуса, именовалась и «богородицей» и «царицей небесной» и «матушкой-владычицей» и др.»<sup>54</sup>.

Тут надо еще и Ярилу вспомнить, и Купалу, и Костробуньку. Но это уже представители языческого пантеона нижнего ранга; еще ниже русалки, лешие, водяные.

Небесного ключника среди них нет.

Но кто-то же отпер эти кладовые... И вот теперь хлещет с бешеной силой по моей палатке. Гром сотрясает высокие берега Днепра с остроконечными елями, и земля подо мной гудит древними гудлями.

## 28

Спал сладко до девяти часов.

Погода переменилась, похолодало, небо серое, дует ветер. А мне по душе такая перемена. Свежо!

<sup>54</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 421.

Выхожу к реке, умываюсь на Кривом мосту, так решил назвать его. По нему, видно, ходят звери, не замочив хвоста. Хочу выломать доску на костер, но передумываю почему-то.

Костер дымит. Печурку-щепочницу я закопал после того, как она мне битый час кипятила воду. Костер есть костер. У него и сидеть приятно, если прохладно. Легко сжигать всякий мусор. Не разводите же для этого рядом со щепочницей еще и костер? Вот и приходится таскать с собой мусор или уж закапывать его. Но лучше — сжигать.

Невольно и мусорные бунты вспоминаются. В Шиесе, что на границе Архангельской области и Республики Коми, в болотах, питающих Вычегду и Северную Двину, Москва хочет хоронить результаты своей жизнедеятельности. Местный народ против. Активистов хватают, шьют дела об экстремизме. Громче всех «Держи вора!» кричит вор. То же и с этими набившими оскомину делами об экстремизме.

Очевидно же, что государство и виновато в мусорной проблеме. Но пытается решать ее грубо, вырубая лес, запугивая народ и вываливая тонны мусора на водоносные земли. То есть чиновники, которых мы наняли, годами не выполняли свои обязанности, получая хорошие денежки. А теперь призывают омовцев и росгвардейцев на защиту своего гололупства. И те действуют силой.

Кто же виноват, что так долго раскачивались, что не поступают деньги на нужное дело? Конечно, жители Шиеса. Бей, омовец, дубинкой по голове. Фас, ату! Защити нерадивого чинушу, его автомобили, дачи, его отпуск на экологически чистые курорты Европы и Америки. Защити горстку толстосумов России, владеющих уже почти всеми национальными богатствами. Дай кулаком в живот девушке. Сломай ногу дизайнеру. И упрячь всех несогласных за колючую проволоку.

Кто же здесь экстремист?

...Не знаю, но что-то мне не хотелось отсюда уходить. Среди высоких елей льются чистые воды по зеленым водорослям, поют птицы. На другом берегу обнаружил родниковый ручеек. Дров здесь много. Прохладно. И можно греться у камелька, как говорится. Серый день по-своему хорош. Солнце слишком празднично, создает иллюзию «безоблачности» во всем. А серый день больше соответствует нашей жизни: не идет дождь, не сверкают молнии, и ладно.

Поднялся на правый берег. Ох, и высок же. По кромке идет лосиная тропа. Мощные ели в два-три обхвата. Наваленные туши деревьев, заросших мхами. Жимолость цветет бледно. Глянул вниз — река серо мерцает. Такой же высокий берег в Баргузинском заповеднике в верховьях речки Давшинки. Ну, только кедры там еще больше и толще, чем здешние ели. Но историческое измерение здесь, конечно, глубже.

Вот по той лесной дороге в пустую деревню наткнулся на штабеля уже трухлявых бревен и озадаченно почесал затылок: загадочна была во многом деятельность советских преобразователей природы. Много чего они преобразовали в такую гниль и в бетонные и кирпичные руины. Впрочем, и нынешние не отстают. Земля большая... — в этом, по Бердяеву, трагедия русских. Он выразился более философским образом: странством ушиблены.

...И очарованы. Потому и странствуем.

На следующий день дождь с утра. Но дрова у меня есть, чистая вода тоже, костровой тент натянут, провианта достаточно, даже водка имеется. Но вот сейчас я пьян только от горячей гречневой каши с мясом, от чая, овсяного печенья с черносливами и птичьих голосов. Птицы поют наперекор дождю. И костер ему не хочет сдаваться. Тент костер не закрывает, но дрова и так хорошо горят. Рядом бегут воды Днепра.

Какое успокоение нашло на меня вчера, когда вечером прошелся с треногой и фотоаппаратом по лесу. Сколь мягок его ковер. Колонны елей, осин. И там и сям на стволах знаки царской власти: следы когтистой лапы, затекшие смолой, как серебром.

...И тут, у костра, под тентом, я начинаю припоминать ночной сон. Ба, да мне же приснился Хорт. А я только об этом и мечтал. И теперь знаю, как он точно выглядел: серые, глубоко посаженные глаза, русые волосы, более светлые, почти пшеничные усы, борода темная. Такой пестрый лик.

Но приснился он мне вовсе не древним. Этот человек увозил куда-то понравившуюся мне женщину, а ее две девочки и мальчик оставались. Увозил он ее на автомобиле. Хорт спросил у меня, знаю ли я адрес электронной почты. Я ответил утвердительно. И они уехали.

А теперь я гадаю: чей адрес? Какой?

То, что это был Хорт, несомненно. Я это еще во сне понял.

Ну, так обычно и бывает, рано или поздно герои книги начинают сниться.

Хм, интересно, конечно, было бы написать Хорту по электронной почте и просто разузнать, как там все было на самом деле.

Вечером снова гроза, ливень. Но огню он нипочем. Горит, сверкает. И вверху грозно сверкает. И я думаю, что к смерти готов. Все или почти все изведаль, побывал на войне, жил на Байкале, написал несколько книг. Хотелось бы и эту книгу написать. Но — вот она, вокруг, лишь без моих героев.

И тут вдруг так сильно сверкнуло прямо в глаза, словно нечто чудовищное и ненасытное глянуло прямо в сердце, что ужас пронзил меня до самых пяток.

Готовься не готовься, а — страшно. Хотя мгновенная смерть и предпочтительнее. Мгновенная, но осмысленная.

Все мы здесь в капкане. Попались. Придет хозяин и вытащит, нанесет последний удар.

И все-таки толкуем что-то о свободе, счастье. Человек — забавное существо.

А разве ты не свободен, не счастлив прямо сейчас, без оглядки на будущее и прошлое?

Дождь не перестает. Какая-то птица запела. Особенно мне по душе песенка одной птахи — такая духоподъемная, у нее сразу нарастает сила, с первой ноты взлетает мелодия, прямо гимн какой-то, а потом уже замысловатые коленца. Что за птица? И что-то напоминает, чью-то музыку, песню.

Заперт в Оковском лесу, окован дождем.

Под вечер дождь стих, и я вышел на мокрый кривой мост, посмотрел влево — далеко видать, река тут удивительно прямая, течет среди елок, берез, осин и ольхи, посмотрел вправо — а тут сразу поворот у крутого берега, вода после дождя дымится, пахнет рекой, зеленью... И внезапно мне пришла мысль о каком-то старце, который и жил здесь, в хижине, и так же выходил на мост посмотреть и помолиться. И это было семьсот с лишним лет назад. И значит, Хорт со Спиридоном с ним уже встречались. Старец христианского толка. Наверное, им было о чем поговорить с Хортом.

Дождем небо вроде уже не грозило, и я решил быстро поужинать и пойти на прогулку. Так и сделал. Ходил вниз по течению и вышел к лугу и болоту. Над ними вставал туманец. Световая обстановка после дождя была отличная, и я фотографировал. Все птицы молчали, кроме того моего гимнопевца. Он не унывал и меня подбадривал, мол, будет солнце, странник, старик.

И я вдруг сообразил, чью песню его гимн напоминает: начало «Поколения дворян и сторожей» Гребенщикова. Не слышали? Послушайте. И слегка его же «Иванчай». Вот если начало той и другой переплести, то и получится гимн моей птички.

## 29

Солнце! И все горит и переливается: сосны, елки, воды, небеса и облака. Тут бы пропеть какой-нибудь гимн, языческий или любой, но что-то ничего местного на ум нейдет. А вот только Франциск Ассизский вспоминается. Его «Гимн брату Солнце».

Гимн этот, конечно, гениален.

Франциск на наших глазах преобразует мир языческий в мир христианский. Восхваляя брата Солнце, брата Ветра, сестру Воду, сестру Луну, брата Огня и мать Землю, Франциск благодарит Всевышнего, Всемогущего, Благого Господа. И вкус, дух язычества — вот он в этом гимне, явственно ощутим, но его осветляет и преображает благодарение единому Богу.

В конце гимна Франциск и Смерть хвалит, называя ее сестрой. Смерть избавляет нас от плоти. Да и сам этот святой плоть свою, как никто другой, не жаловал, словно все пытался выбраться из надоевшей одежды.

Известны и его отношения с миром природы, проповедь птицам, приручение свирепого Губбийского волка. Волк этот не давал проходу жителям города Губбио. Тогда к нему отправился Франциск, и когда волк ринулся к нему с отверстой пастью, святой просто осенил его крестом и обратился к нему, мол, поди сюда, ляг и не твори зла. И волк завилал хвостом, подошел и улегся у ног Франциска. Франциск заключил с ним пакт о ненападении. И то был пакт покрепче пакта Риббентропа с Молотовым. Два года волк жил в городе, ходил от двери к двери, получая пищу, и все его любили, а как он помер, скорбели о нем.

В другой раз Франциск приручил горлиц, выпрошенных у поймавшего их юноши. И те горлицы гуляли среди братьев монахов, как куры.

В одном городке на площади Франциск хотел обратиться к собравшимся, но тут налетели ласточки, щебетаньем все заглушили. И тогда святой обратился к ним и попросил их помолчать. И те примолкли и слушали его проповедь вместе с горожанами.

В ином местечке к нему прыгнул зайчонок, пойманный в силки и только что выпущенный одним из братьев. И всякий раз, как его отпускали, он снова прыгал к Франциску, пока его уже не отнесли в лес.

Рыбак один на озере подарил ему только что выловленного линя, и Франциск с молитвой его отпустил. А линь не уплывал, плескался у лодки и слушал молитву.

Можно ли верить всему этому?

Ведь явные сказки. Особенно про волка. Помню, как жена у костра под нашим Дубом в Местности, выслушав эти истории, так и спросила: «Это же сказки?»

И я рассмеялся и расцеловал ее за этот вопрос. Вот и все.

Насчет язычества есть интересный эпизод в «Первом житии святого Франциска». Вот он:

«А когда однажды один из братьев спросил его, зачем же он столь старательно подбирает и записи язычников, в которых уж точно не может быть имени Господа, он ответил ему: „Сын мой, ведь эти записки состоят из букв, а буквы могут сложиться в прославное имя Господа Бога. А все, что есть на свете, не принадлежит язычникам, да и никому из людей не принадлежит, а одному только Богу, Который один благ“».

Таким образом, и язычество оборачивалось прославлением Бога. И на самом деле ведь это было своего рода школой, без которой люди и не сумели бы принять новое Слово.

«И, что не менее удивительно, если он писал или диктовал какие-нибудь письма, необходимые для увещевания и спасения, то он не позволял вычеркивать в них какую-либо букву или слог, даже если эти буквы были лишними и за это его могли упрекнуть в неграмотности», — добавляет составитель «Первого жития...».

Слов из песни не выкинешь, добавили бы и мы. И это относится и к язычеству.

А еще и к спонтанному методу некоторых писателей, ну, например, Джека Керуака. Он Франциска почитал. И назвал первый свой роман «Море — мой брат».

Но еще привлекательнее для литератора его прославление госпожи Бедности. Честертон в своем эссе о Франциске говорит, что тот нашел тайну жизни, и она в том, чтобы стать слугой, вторым, а не первым, и не ждать ничего, чтобы обрадоваться всему.

В этом смысле все, избирающие стезю литератора, францисканцы. Ибо это стезя бедности, чаще всего безвестности. А в служении слову ведь можно увидеть и служение Слову, не так ли? Ведь «буквы могут сложиться».

Франциск, еще будучи добропорядочным сыном своего зажиточного отца, вынужден был пойти на своего рода подвиг, чтобы отказаться от отцовских богатств, вдохновляясь Евангелием: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21).

Ну, а литератору, начинающему свой путь, как правило, легче, у него ничего просто нет. И ему не надо продавать дорогие отцовские шелковые ткани и раздавать деньги нищим. Нет, деньги за имение отдал его последователь, присоединившийся к нему. А Франциск вырученные деньги отдал священнику на церковь.

Хорошо-то как родиться сразу бедным. И потом шагать рука об руку с госпожой Нищетой.

«Подпоясавшись веревкой, надев грубые штаны, они удовлетворялись вполне такой одеждой, не желая ничего сверх этого, поскольку утвердились в своем благочестивом решении», — снова слышно поучение для литератора из «Первого жития святого Франциска».

А ведь так и надо, при вступлении в члены писательского союза выдавать грубые штаны и веревку... Тиш! Без ухмылок и насмешек, пожалуйста. Это просто неуместно. Ибо как написано дальше: «Всегда они сохраняли уверенность, не подверженные никаким страхам, не отвлекаясь никакими заботами, не тревожась о дне завтрашнем и даже в долгом и трудном пути не заботясь, где найдут они под вечер приют».

Никакого отчаяния.

А еще мне по душе францисканцы, что они были бродягами. И сам Франциск постоянно странствовал, ходил к папе в Рим.

Странствующим бродягой литератором я и мечтал быть с отрочества. И стал им. И с Кривого моста, никуда не ведущего, приветствую Солнце.

### 30

Магическое время: 16 часов. Еще не вечер, уже не день. Время лесных созерцаний.

Брат Солнце сидит на макушках космических елей, иногда его закрывают дрейфующие туманности. А я лежу на мосту в никуда и ниоткуда посредине лепечущей прозрачной, серебрищейся на камнях воды.

Гляжу на облака, на прозрачный саркофаг самолета... Наверное, там летят фараоны, куда-то на север, значит, к полюсу, смотреть на льды. На мосту никуда-ниоткуда всякое можно увидеть.

Целый день нет дождя. И можно бы отплыть. Но как мне покинуть это место?

До обеда снова бродил по лесу, по его мягким коврам, фотографировал при солнечном свете, и это было увлекательно: свет то есть, то нет. Световой мастер без предупреждения то посылал луч, то накидывал на него ткань. Потому и может каждый фотограф сказать солнцу: брат. Без него светопись невозможна. Лес после дождя черный и неожиданно ярко-зеленый, светлый.

Отчалить можно, но хочу сфотографировать рано утром с моста Днепр — вдруг именно в конце речного туннеля и встанет солнце? Тогда это будет река света. Стоит подождать. Говорят, что великий Ансель Адамс по несколько месяцев жил в горах, в лесу, чтобы поймать нужное освещение. Да, его Сьерра-Невада с горными хребтами и пахнущей лошадьё, на которую и упал свет, стоит долгого ожидания.

Этот аргумент окончательно склоняет меня к... продолжению лежания на мосту, на коврике, с ботинками под головой вместо подушки.

Слушаю, как набегает Днепр на бревна моста и на валуны. Звук его округл, мягок, глубок, хотя здесь и совсем мелко. Видно, чувствуется будущая глубина. Вода серебрится. Травы под водой длинными русальными волосами выются. Комары не досаждают.

Я думаю о путешествии Спиридона с Хортом. По сути, они пошли за речью. У Хорта свои виды на речь трех великих рек, у него мальчишки из Вержавска — свои.

Приблизился ли я к пониманию этой речи?

Жаль, что не взял древнерусскую хрестоматию, тут-то и надо читать «Слово о полку Игореве», «Слово о благодати» Илариона... Там и «Хождение игумена Даниила». Это странствие в начале XII века в Святу землю считается первым образцом литературы путешествий. Жаль, что из «Хождения...» нельзя узнать дорогу, которой игумен туда добирался. Но скорее всего, по Днепру из Киева. Через Русское, или Черное, море он попадал в Царьград, сиречь Константинополь. Дальше — через пролив в Великое (Средиземное) море...

Дух захватывает от скупого описания маршрута. Мол, от Крита двадцать верст, а там — выход в Великое море: налево — к Иерусалиму, а направо — к Святой горе, к Риму.

Вот это перекресток! Налево пойдешь... направо... Игумен пошел налево. Мимо островов, на одном острове был город Трояда, там проповедовал некогда апостол Павел. Можно себе представить, как жадно на все это взирал наш паломник. Море слепило его, меловые скалы изумляли. Он приближался тоже к Истоку, к земле, по которой ходил Учитель. Плыл игумен дальше, мимо Эфеса, где в гробу Иоанн Богослов. И дальше лежал остров Патм, где Иоанн и писал Евангелие, где в одной из пещер ему привиделись сцены Откровения после двадцати дней поста. Уединение и пост дают свои результаты. И мне, как говорится, сирому и тупому, удавалось вкушать от этого древа уединения. Слышал я на Воскресенской горе на восходе великий хор женщин, их было, наверное, тысяча. И лишь один мужской зычный голос возвещал: «Господу помолимся! Господи Иисусе. Аллилуйя, аллилуйя! Господи, помилуй нас!» И только это пропелось-возгласилось, как тысяча женских ликующих голосов подхватила: «Господи, помилуй нас, / Господи, помилуй нас! / Господи, помилуй нас! / Господи помилуй нас!» У этого моления был мотив, это была песня. И снова звучал мужской голос. И женщины его подхватывали. И так повторялось довольно долго. Так что я успел взойти на гору и стоял и слушал под лучами солнца, светившего прямо в ольховые ворота, — такой там был проем в ольховых зарослях за полем, посреди которого гора и стоит. Смотрел вверх — и видел только синее небо. Это была слуховая галлюцинация после месяца одинокого житья, лесного и плохого питания. Но галлюцинация именно такая. Возможно, она была связана еще и с названием горы.

Продолжалось это примерно минут двадцать. Потом стихло.

Интересно, что потом, через несколько месяцев, когда я снова там оказался, то хор на мгновение прорвался, оборвался, спустя какое-то время опять прозвучал, и все, больше я ничего не слышал. Вот это действительно любопытно, ведь второй раз я недолго пребывал в одиночестве и хорошо питался.

Эта горная песнь потом сопровождала меня в странствиях, то есть я сам ее пел и до сих пор пою. И перед глазами встает то утро в последних числах августа, гора с сосновой короной и железным геодезическим знаком, окутанная пухом отцветшего иван-чая, розового от лучей раннего солнца.

Это как эпизод какого-то кино. Но произошло со мной. И странно было бы, если кто-то, допустим, снимал бы это на камеру и потом показал мне, и я увидел бы гору, солнце, сосны, ольховые врата и себя, глядящего вверх, но услышал бы только теньканье синиц да отдаленный крик черного дятла. Ошеломительно. Как мог бы киноопе-



ратор не запечатлеть такой светозарный и ликующий от горизонта до горизонта хор? Хор, льющийся сверху на гору и на всю землю окрест?

Ничего подобного в моей жизни больше не случилось. Это переживание самое яркое. Я далек от мысли, что это была не иллюзия. Конечно, иллюзия, слуховая галлюцинация.

Иоанн постился дольше, и духовный его заряд был велик. И он сподобился узреть и услышать свое Откровение: звуки труб, голоса, старцев в белых одеждах и с золотыми венцами на головах, море стеклянное, подобное кристаллу, животных, исполненных очей спереди и сзади, и одно как лев, второе — телец, третье с человеческим лицом, четвертое — орел, и у всех по шесть крыл, и они все взывают: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И еще ангелов с радугами и лицами, как солнце. И жену, облеченную в солнце, в венце из двенадцати звезд. И драконов, и зверя моря с семью головами. И семь чаш гнева. И блудницу на звере багряном. И трупы царей. И гибнущих людей в язвах. И толпы мертвых, стоящих перед раскрытыми книгами. И, наконец, новое небо и новую землю. И новый Иерусалим. А еще чистую реку, выходящую от престола. И на ней древо жизни.

...В общем, стоит странствовать, чтобы иногда строки этой Книги оживали.

А игумен достиг Яффы, оттуда пешком до Иерусалима, занятого тогда крестносцами. И со слезами он видел этот город и вступал в ворота с трепетом. Гроб Господень уже был близко. И он его увидел, это пещерка наверху церкви без крыши. Там скамья из пещерного камня. На ней и лежало тело Иисуса. И пять лампад с маслом освещают ее.

А вокруг камни, нет воды, только дождевая. Да все равно пшеница и ячмень родятся, и виноградники насажены и другие фруктовые деревья.

Шестнадцать месяцев он жил в монастыре в Иерусалиме. Ходил с войском короля Балдуина в сторону Дамаска. Потом вернулся в Иерусалим. Видел Иерихон, море Содомское, Иордан, Вифлеем. От Вифлеема он проделал опасный из-за нападающих сарацин и просто разбойников путь к Мамврийскому дубу и описал его подробно, изумляясь его крепости, — ведь столько веков-то уже миновало. И видел он различные места, связанные с героями Библии: лес, где власами застрял Авессалом, сын Давидов, гроб Лота, место, где Давид убил Голиафа, колодец Иакова, Фаворская гора. И светильник ему разрешил внести в Гроб Господень Балдуин накануне Пасхи. Игумен потом вошел в церковь вместе с Балдуином и другими монахами и видел, как снизошел небесный огонь на Гроб Господень, где и загорелись лампы с маслом. Все пели и молились, но огня не было. А тут набежала вдруг туча, полился дождь, да такой, что всех замочил. Но тогда-то и вспыхнули лампы в пещерке. И пошел огонь по свечам в руках и лампадам. Да не простой, а в цвет киновари.

Игумен перед этим говорит, что другие-то врут про сей момент, мол, голубь слетает с огнем, молнии зажигают масло. И описывает, как же оно на самом деле все происходит.

Это тот благодатный огонь, о котором толковал единственный житель Бора на Жереспее, Борис.

Сейчас раздаются голоса скептиков, мол, все это трюкачество. Я ничего и не утверждаю. Просто передаю слова игумена Даниила, ходившего в Иерусалим в 1106 году, и селянина Бориса, живущего сейчас, в 2019 году — надеюсь, ничего за год с ним не произошло, — в Бору на Жереспее.

...Пару часов спустя я и сам увидел некое свечение. Поднялся на правый высокий берег, перейдя мост, шел по лесу и внезапно был остановлен странным рыжим светом возле елок. Приблизился к этому месту, осмотрелся, поднял глаза. Диво дивное! Стволы молодых елей были серебряными. Такого цвета, как будто их освещает телеэкран. Солнце светило из-за Днепра, но серебрились стволы с другой стороны. Это был именно серебряный свет, а не окраска стволов. Чуть меняешь угол зрения, и свет исчезает, стволы становятся обычного коричневого цвета.

Серебряные ели.

У меня, конечно, есть объяснение. Просто позади елей висели плотные облака, на них светил брат Солнце из-за брата Днепра, и на стволах сестричек Елей мерцал отраженный свет.

И благодарение Господу за это.

Утром я отплыл. Встал рано, но не сумел сфотографировать солнечную речную дорожку. Ночью были звезды, и солнце взошло, но левее чаемой точки. И фотографии не получилось.

Позавтракав, я собрал лагерь, сложил вещи в лодку и отчалил. Днепр подхватил мою лодку, я оглянулся на мост. И мост, омытый дождями, серебрился в утреннем свете так, что я сразу и безоговорочно переименовал это место в Серебряный мост.

И никакой там хижины не осталось. А мне все казалось, что там-то и жил-был старец-отшельник. И сейчас так кажется. Мудрец у Серебряного моста. И он встречал мальчишку с волхвом Хортом, угощал их рыбешкой, расспрашивал.

Я бы и сам хотел с ним потолковать о многом, о том же благодатном огне и прочих чудесах; о священниках и церкви, похожей на еще одну ветвь власти, о зле и болезнях, о гибнущих безвинных людях, о государстве и войне, о самоубийцах. Да поздно спохватился. Днепр уносил меня все дальше и дальше мимо лесных берегов, валунов и трав, мимо деревень пустых и еще обитаемых.

Старец-то с Серебряного моста, конечно, многое знает, многое постиг в молчаливом созерцании. Он и сам весь в серебряных волосах, борода его серебрится.

Но раньше надо было думать, подготовить вопросы... А то ведь и мост я сперва как назвал? Кривым. А с новым названием пришло и новое знание. Так ведь часто бывает.

### 31

...А за окном уже снег. И мы пьем чай с малиновым вареньем. Вспоминаем, как собирали эту малину, отмахиваясь от слепней и комаров, утирая горячие лица...

Да, до снега, после майского путешествия на верховья Днепра, я еще успел побывать в местах волхва Хорта, вдвоем с женой, а потом уже отправился в одиночное плавание по истокам Волги и Западной Двины.

И, между прочим, погуляли мы по Красной площади, где проходил ежегодный книжный фестиваль, и увидели аж три мои книги. Одна из них попала в длинный список премии «Большая книга», но до короткого списка не добралась. Это «Голубиная книга анархиста». Название лишь на первый взгляд странное. Еще Бердяев отмечал склонность русских к анархизму. Русскую идею полнее всего выразили славянофилы, это чаяние святой Руси. «Славянофилы не любили государства и власти»<sup>55</sup>, — писал Бердяев. Я проникся к ним симпатией, еще ничего не зная об этом. Точнее, сначала меня привлекли идеи почвенников, Николая Страхова, Аполлона Григорьева, Достоевского. Потом, читая о спорах почвенников со славянофилами, заинтересовался последними. Суть разногласий уловить трудно. И те и другие верят в русские родники. Лучше других этот дух выразил Алексей Хомяков в стихотворении «Ключ»:

В твоей груди, моя Россия,  
Есть также тихий, светлый ключ;  
Он также воды льет живые,  
Сокрыт, безвестен, но могуч.  
Не возмутят людские страсти  
Его кристальной глубины,

<sup>55</sup> Н. А. Бердяев. Русская идея. СПб.: Азбука, 2013, с. 81.

Как прежде холод чуждой власти  
Не заковал его волны.

«Как прежде холод чуждой власти / Не заковал его волны», — тут Рерих вспоминается: поверх всяких Россией есть одна незабвенная. Любая власть для этого ключа — чужда. Абсолютно любая, кроме горней. С такой определенностью о государстве не высказывались ни Григорьев, ни Достоевский, ни Страхов. Страхов юлил насчет польского вопроса, польского восстания, читать его мучительно, вот уж ломающийся интеллигент: ни да, ни нет.

Бердяев писал: «У народа анархического по основной своей устремленности было государство с чудовищно развитой и всевластной бюрократией, окружавшей самодержавного царя и отделявшей его от народа. Такова особенность русской судьбы»<sup>56</sup>. Философ называет наибольшим анархистом у славянофилов К. Аксакова. И приводит его высказывания о том, что государство — это зло и ложь. Хомяков, отмечал Бердяев, порицал Запад за то, что тот не понимает несовместимости христианства и государства. Не отставал от них и другой славянофил, Иван Аксаков: «Общественный и личный идеал человечества стоит выше всякого совершеннейшего государства...»<sup>57</sup> Его брат Константин сравнивал государство с защитной корой и предупреждал об опасности разрастания этой коры, сжимающей сердцевину, что грозит гибелью всему дереву, и заключал, что «не в том дело, крепка ли кора, а в том, здорова ли сердцевина»<sup>58</sup>. Сердцевина и есть общество. Но какая это слабая сердцевина даже и сейчас. И сколь уродливо утолщение государства в лице жирующих чиновников, жестоких коррумпированных полицейских, всяких спецслужб, механических судей, штампующих обвинительные приговоры, как некие дьявольски бесчеловечные станки. Вся сила у нас и уходит в кору.

Иван Аксаков писал, что «без литературы немыслимо никакое общество»<sup>59</sup>. Вот, наверное, почему и существует до сих пор русская литература, все-таки общество хранит в памяти эту истину и вяло побуждает литераторов к жизни. Каково общество, такова и литература. Следовательно, общество времен Аксаковых и Хомякова было здоровее, энергичнее? Скорее всего, так и есть.

Славянофилы и сообщение Нестора в «Повести временных лет» о призвании варягов трактовали по-своему, а именно так, что русские в сердце своем не государственники, устанавливая жестокое государство они и позвали чужеземцев, то есть буквально предложили тем быть государством, топором и плахой, откровенно говоря. Но при этом славянофилы оставались монархистами. Как такое может быть? Бердяев на этот вопрос отвечает так: народу настолько противна политическая мощь и власть, что они все перекладывают на плечи царя, мол, вот тебе скипетр и шапка Мономаха, занимайся сам, а нас уволь. «Самый монархизм славянофилов — не государственный, а анархический»<sup>60</sup>.

На Руси и не то еще бывает.

А главная идея государственной власти, по Хомякову, проста: «Кровь и вражда не служили основанием государству русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщениа»<sup>61</sup>. Раз власть не на крови взошла, то и не должно ей быть кровавой. Но на деле было не так. И славянофилы это понимали. Потому и не жаловали власть. И та

<sup>56</sup> Там же, с. 183.

<sup>57</sup> И. С. Аксаков. О державности и вере. Минск: Харвест, 2010, с. 21.

<sup>58</sup> Там же, с. 73.

<sup>59</sup> Там же, с. 77.

<sup>60</sup> Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. В кн.: А. С. Хомяков. Философские и богословские произведения. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 547.

<sup>61</sup> А. С. Хомяков. Философские и богословские произведения. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 44.

отвечала им тем же. Журналы славянофилов то и дело закрывались. Иван Киреевский долго не мог вообще ничего опубликовать. Хомяков публиковал даже свои стихи с большими затруднениями. Даже бороду ему и другим славянофилам не давал царь носить!

«Циркуляр от министра внутренних дел гласил, что „Государю не угодно, чтоб русские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получают известия, что число бород очень умножилось...“ Далее в циркуляре следовало теоретическое обоснование: „На Западе бороды — знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по выборам...“ (...) Аксаковы долго еще хорохорились. Сергей Тимофеевич писал к самому шефу жандармов А. Ф. Орлову и испрашивал разрешения остаться „при бороде“, при этом немедленно переехав в деревню...

(...) После соответствующей «расписки в полиции» Аксаковы обрились.

Хомяков обрился, не дожидаясь...»<sup>62</sup>

Это время не Петра Первого, а время Николая Первого, 1849 год.

Поди пойми приказы этих царей.

Сбрить бороду!

Бороду сбрить!

Приказы-то одинаковые, а смысл разный.

Петр как раз следовал за модой Запада. А Николай в этом случае — шараялся.

Но, надо думать, в чем-то и Петр, и Николай сходились. А именно в понимании некоей смутной угрозы своему абсолютизму, исходящей от былых седых, как вот борода у старшего Аксакова, времен... когда и вообще государства-то не было, или когда народ имел силу под названием вече, или когда выбирал царя Михаила Романова.

Но хоть Алексей Степанович со смехом сбрил свою цыганскую бороду (это язвительный Герцен как-то поименовал его византийским диалектиком и бердичевским цыганом), за ним и за безбородым было установлено секретное наблюдение по распоряжению графа Орлова. Это произошло после очередного закрытия очередного издания — «Московского литературного и ученого сборника». Власть чуяла недруга. Вот что писал цензор по поводу нового издания славянофилов: «Рассмотрев статьи, помещенные во втором томе „Московского сборника“, я нахожу, что московские славянофилы смешивают приверженность свою к русской старине с такими началами, которые не могут существовать в монархическом государстве, и, явно недоброжелательствуя нынешнему порядку вещей, в заблуждении мыслей своих непрерывно желают оттолкнуть наше отечество ко времени равноапостольного князя Владимира...»<sup>63</sup>

Издание предложено было прикрыть, авторам сделать внушение и «всех их, как людей открыто неблагонамеренных, подвергнуть не секретному, но явному полицейскому надзору»<sup>64</sup>.

Мне кажется, что те славянофилы явно недоброжелательствуют и нынешнему порядку вещей.

Вот почему я ношу бороду.

Хотя и не все могу принять из славянофильских идей. Монархизм, даже столь навивный, — это уже засохшее и окаменевшее древо. Хотя между царем и генсеком я выбрал бы царя. Но это был совсем не тот царь, который грезился славянофилам. Славянофильский царь и есть несбыточная греза.

Мне по душе отвращение к насилию у славянофилов. Вот показательная история, приключившаяся с Хомяковым, отправившимся воевать с турками за Грецию.

<sup>62</sup> Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Новое литературное обозрение, 2000, с. 378, 379.

<sup>63</sup> Там же, с. 388.

<sup>64</sup> Там же, с. 389.

«Я... — пишет Хомяков матери, — был свидетелем славного дела 30-го мая, где видя так жестоко разбил наш главнокомандующий, и потом действующим лицом в деле 31-го, где дивизия наделала чудеса, поколотила турок жестоко, гнала их до Шумлы, взяла редуты (вещь, неслыханная для кавалерии), и знамен, и пушек пропасть. Я был в атаке, но хотя раза два замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад...»<sup>65</sup>

Не со страху не решился, Хомякова-воина все уважали за *блестящую храбрость*. На спор он один подъезжал к редуту, чтобы бросить бомбу, — и был ранен вместе со своей белой лошастью.

Вообще, Алексей Степанович Хомяков исключительно интересный персонаж, философ, богослов, поэт. У него было имение на смоленской Вазузе — Липицы.

«На Святой Руси нужен свой дом, своя семья для жизни, — писал он, — нужно внутреннее успокоение...»<sup>66</sup>

И у него был такой дом для успокоения и созерцания. И даже два дома, нет, больше, в нескольких уездах остались от отца деревни и от матери — в Тульской губернии. И страстный охотник Хомяков совершал охотничьи рейды из Тульской губернии до смоленских Липиц на Вазузе, длившиеся месяц. По прямой это 200 с лишним верст, а по тем стародавним дорогам и все 500 получится. Великая охота славянофила осенью. Вот было золото Нибелунгов, оставшееся на дне Рейна, а это — золото славянофилов: летописные осенние леса. Охотничья команда могла и немного дальше Липиц (так в старом написании, а сейчас деревня называется Липецы) заехать, в Оковский лес. Ведь Вазуза, по Алексееву, восточная граница этого леса<sup>67</sup>. А Хомяков был силен, гибок, отличный всадник и меткий стрелок. И, наверное, с ними бежали борзые или гончаки, скорее, гончаки. Но вот уже точные сведения, сообщаемые исследователем жизни и творчества Хомякова Вячеславом Кошелевым в книге, на которую я тут ссылаюсь: «уезжал в полеванье с одним доезжачим и двумя собаками»<sup>68</sup>. Кошелев добавляет, что эти осенние охоты превратились у него в ритуал, «несколько умягчавший неутоленную жажду путешествий»<sup>69</sup>.

Из деревни Хомяков писал жене: «Что за погода, как ясно, как тихо, как солнечно! Река замерзает и покрылась почти вся льдом чистым и прозрачным, как английский хрусталь; солнце днем и месяц ночью обливают ее серебром да золотом; а в самой середине бежит струя синяя, как Альпийские озера...»<sup>70</sup>

Вазуза и чиста, как хрусталь. По дороге к верховьям Днепра я проезжал над нею. Есть надежда, что как-нибудь осенью побываю и в Липецах и сплавлюсь по реке до Волги.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### 32

Понеси нас в путь счастливый,  
Волга, светлая река, — писал Хомяков.

И я мчался на попутном автомобиле в сторону Селигера, к Волге.

<sup>65</sup> Там же, с. 117.

<sup>66</sup> Там же, с. 276.

<sup>67</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9–13 вв. М.: Наука, 1980, с. 36.

<sup>68</sup> Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Новое литературное обозрение, 2000, с. 162.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Новое литературное обозрение, 2000, с. 171.

Попутчик, забравший меня после того, как мы списались по Интернету, растерянно спросил: «А у вас есть семья?» Наверное, мой вид был слишком странническим или бомжеватым, что, впрочем, почти одно и то же.

И бомж вырывался из Москвы на просторы родины. Наверное, его допекли полицейские и всякие благотворители с приютами.

После ночной оглушительной грозы, правда, и Москва была просторной и чистой, тем более уже при прощальном взгляде со стороны: белые и всякие, кирпичные и стеклянные дома-небоскребы, эстакады, трубы, мосты, космического орбитального вида развязки, залитые светом раннего солнца. Москва была похожа на город будущего. И это чувство только усиливалось по мере продвижения в глущи России.

Все происходило стремительно. Мелькали рощи, церкви, деревни, какие-то руины, реки, тянулись леса. В Зубцове проехали над Вазузой Хомякова. Потом въехали через узкую разбитую дорогу и чудовищную арку трубопровода во Ржев. Водитель коротко бросил: «Здесь живут одни уголовники». Это он, конечно, хватил лишку, но город, о котором столько приходилось слышать, читать, думать, видя его на карте неподалеку от Оковского леса, произвел ошеломляющее воздействие. Это явно ПОТЕРЯННЫЙ город. Он просто исчез с экранов радаров наших властей имущих мужей. Он остался в стороне от XXI века. Застрял где-то в первой половине века минувшего, что ли. Вид у него заколдованный. И действительно РЖАВЫЙ. Разбитые дороги, дома с осыпающейся штукатуркой, ржавые железные конструкции, заброшенные кирпичные здания. Ржевцы с сумрачно-заторможенным видом сидят на перекрестке в центре над какими-то банками, ведрами, провожают взглядом наш сверкающий автомобиль.

«Я убит подо Ржевом...» — строка из Твардовского звучит вдруг по-новому, пролетая, как некое видение, снарядом коряво-ржавым. И Москва отсюда кажется даже и не только городом будущего, но и вообще городом на другой планете.

Чувствуется, что мой собеседник за рулем охвачен легким ужасом, хотя видит это все не впервые.

Неужели это Россия, поднятая, по мнению многих моих соотечественников, с колен? Или это какая-то другая Россия? И мы нечаянно свернули не там?

Такое впечатление, что, проезжая по Ржеву, мы набрали в окна несказанной серой тоски, ржавой кручины. И она еще долго действовала угнетающе, не выветривалась, хотя мчались мы с большой скоростью, внезапно выскочив на дорогу с недавно уложенным асфальтом, что вызвало шок у водителя. Удивился и я. Казалось, что дальше дорога вообще исчезнет или превратится в путь нехоженный.

Селижарово развеяло этот морок. Поселок был опрятный и не унылый.

Осташков еще лучше, ухоженнее, веселее, а главное там — озерные дали. И это уже Валдай, наша гора Кайлас, наша Меру.

Селигер блистал на солнце, то пригасал, если набегало облако. До Селигера доходила граница Смоленского княжества. И я, архаичный человек, тихо радовался одному знаку: у дочери мы поселились вблизи станции метро «Селигерская». И там даже еще одна примета, что я на верном пути: под окнами детсад для немых. А мой-то Спиридонущка немой. Мой не мой, как и все здоровые персонажи. Что, впрочем, всегда вызывает изумление: ведешь, ведешь героя к чему-то, а он вдруг вырывается из твоих заботливых рук и делает по-своему. Ну, как наши дети.

Валдай — есть такой город, есть такое озеро, в древности было такое имя. Впервые название приведено в берестяной грамоте в середине XII века. Валдай и возвышенность. Самая высокая ее точка — 346 метров. Высота Воскресенской горы в Местности — 217 метров. Да, Валдай выше. Эту высшую точку называют Макушкой Валдая. Там рядом река Скоморошка. Это 51 километр по прямой от Осташкова. У меня не было

цели подняться на эту высоту. Но если бы попутчик не вез меня на исток Волги, я бы, конечно, попробовал туда добраться. Хотя сделать это и не так просто, как кажется, без машины. Да и не всякая машина пройдет.

Но мы ехали из Осташкова дальше на Свапуще. Названия уже сигнализировали о достижении мест, весьма отдаленных во времени. Там мы свернули на грунтовую дорогу. Поехали медленно, и голоса наши затряслись, будто от страха. По обе стороны стоял лес.

...И переехали Волгу.

Остановились. На самом деле отличный водитель, смысленный и разговорчивый человек лет сорока, любитель авторалли, поездивший по миру на своей тачке и бывавший в Финляндии, в Париже и так далее, — на самом деле он ехал не на исток Волги, а только до Свапуще по делам. До истока Волги оставалось километров десять-пятнадцать. Я собирался преодолеть это расстояние на лодке, оставив вещи здесь, в лесу на реке, уходящей по двум трубам под полотно дороги и дальше вырвавшейся в просторы озер Стерж—Вселуг—Пено. А водитель, повидавший полмира, но не исток Волги, высадив меня и подождав, пока я вытащу все мое «барахло», по его замечанию, спокойно развернулся, помахал на прощание и покатил обратно.

Как тут не вспомнить этнографа Сергея Максимова, писавшего, что на русского человека истоки великих рек не производят никакого впечатления, хотя реки в разговорах и называются порой кормилицами: «Даже исток такой величайшей благодетельницы русского народа, препетой и превознесенной, какова Волга, остается без всякого внимания, в полном пренебрежении. Вместо величественного сооружения над истоком Волги высится часовня в виде сторожевой будки, сооруженная окольным людом. Конечно, местные жители бессильны, по ограниченности своего кругозора, понять весь смысл мирового значения нарождающейся тут реки, и к тому же они не знают, что вода источника владеет целебною силою и заслуживает, не менее всех прочих, украшения богатым иконостасом»<sup>71</sup>.

Но как замечает другой исследователь, Александр Афанасьев, «простолюдины наши, после счастливого плавания, благодарят реку каким-нибудь приношением. Стенька Разин (...) принес в дар Волге свою любовницу, пленную персидскую княжну»<sup>72</sup>. Пишет он еще, что народ относится к рекам, озерам и потокам как к существам живым. И приводит рассказ из Тверской губернии о том, как Волга с Вазузой спорили, кто из них лучше, сильнее. Решили лечь спать и с утра пораньше побежать к морю Хвалынскому, сиречь к Каспию, кто первый достигнет, того и правда. Ночью Вазуза потихоньку встала и ринулась к морю. «Проснувшись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как следует; в Зубцове догнала Вазузу да так грозно, что Вазуза испугалась, назвалась меньшою сестрою и просила Волгу принять ее к себе на руки и снести в море Хвалынское. И до сих пор Вазуза весною раньше просыпается и будит Волгу от зимнего сна»<sup>73</sup>.

Вазуза у меня ассоциируется с золотом русским — славянофильским.

Афанасьев приводит еще одно сказание — теперь уже прямо о моих всех трех реках. Мол, некогда эти реки были людьми, братом и двумя сестрами. «Остались они сиротами, натерпелись всякой нужды и придумали наконец пойти по белу свету и разыскать для себя такие места, где бы можно было разлиться большими реками; ходили три года, разыскали места и приостановились все трое ночевать в болотах. Но сестры были хитрее брата; едва Днепр уснул, они встали потихоньку, заняли самые лучшие,

<sup>71</sup> С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Азбука, 2018, с. 221.

<sup>72</sup> А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Современный писатель, 1995, т. 2, с. 119

<sup>73</sup> Там же, с. 116, 117.

отлогие местности и потекли реками. Проснулся поутру брат, смотрит — далеко его сестры; раздраженный, ударился он о сыру землю и в погоню за ними понесся шумным потоком по рвам и буеракам, и чем дальше бежал — тем больше злился и рыл крутые берега»<sup>74</sup>.

А это сущая правда, на Днепре и впрямь такие берега и много нависающих или рухнувших с обрывов полузатопленных деревьев.

Но посмотрим, каковы его сестры.

И я начинаю перетаскивать вещи с дороги в лес на обочине, где есть спуск к речке.

В это время мимо проезжает автомобиль — и тормозит, сдает назад, дверца открывается, и степенный водитель, нерусский, чернявый, интересуется, куда мне надо, не подвезти ли? Едет он от истока, так что я благодарю его, и он уезжает. Да если бы и к истоку, я не поехал бы. Подняться к чаше Волги я хочу старым дедовским способом — на лодке. Выше по течению целых два озера — Большие и Малые Верхиты. Значит, река будет полноводной. А уже дальше, от самого верхнего озера выйду на дорогу и километра три преодолею другим способом — философским, по определению Григория Сковороды, старца и странника, бродившего с Библией на еврейском языке и флейтой. У меня нет ни того, ни другого, но я надеюсь на иволог, а вместо Библии будет книга рек.

Пока разбираю вещи, перекусываю, надуваю байдарку, по дороге едут и едут автомобили. Иные тормозят, хлопают дверцы, и пассажиры выходят и начинают восклицать: «Волга!.. Это Волга?! Стань сюда, нет, левее... Так. Внимание!» Фотографируются. Слышен детский смех. Дверцы хлопают, и авто устремляется дальше, к истоку. Да это просто какое-то автопаломничество.

Я знаю, что на истоке есть деревня Волговерховье, два-три обитаемых дома и женский монастырь. На Днепре мужской. Интересно будет сравнить.

Наконец загружаю все в лодку и отчаливаю. Но никакой легкости нет, приходится проталкиваться в густых травах. Река от недавних затяжных дождей вышла из берегов, точнее, затопила распадки, а берега-то у нее слишком высокие, чтобы их затопить.

И вот я на быстрине. Ширина реки пять-шесть метров, глубина меньше метра, а в иных местах глубже. Вода прозрачная, с легкой окрашенностью в бронзу или медь, этот окрас на всех лесных реках из-за болотных ручьев.

Грести приходится с усилием, лодку сносит. Очень быстрое течение. Вода бурлит на поваленном дереве. Но мне удастся пройти над ним, над его кроной. Поворот. Волга стремительно набегает на лодку, пытается ее развернуть, увлечь за собой. Работаю веслом уже изо всех сил и все-таки преодолеваю желание Волги снести меня, как стру-Вазузу вниз, к морю Хвалынскому.

Нет, вверх.

Брызги летят мне в лицо. Хватаюсь за кусты, чтобы перевести дыхание. Река мчит-ся вниз, пенясь от ярости, заливая кусты, травы, деревья. «Да разве это Волга?» — очумело спрашиваю я. Какая-то горная река. Такие я видел в Сибири, на Алтае, за полярным кругом.

Да, дедовский способ не так прост.

Отпускаю куст и машу лопастями, как крыльями, с такой быстротой, что, наверное, сейчас и взлечу. Но всего лишь продвигаюсь на несколько метров выше. Впереди снова упавшее дерево. Да и через него удастся перейти по воде. Лодку поворачивает боком к течению, и в одно мгновение я рискую перевернуться, но удерживаю равновесие и снова правлю вверх.

Нет, вверх.

Вверх.

<sup>74</sup> Там же, с. 118.



Да впереди меня ожидают прочные завалы. Вгоняю лодку в залитые водой травы, снова отдыхаю.

Нет, видимо, Волгу мне не переспорить. Но только потому, что дальше идут сплошные завалы. А так, по течению, я все же поднялся бы. Хотя и чертовски это трудно.

Смирившись, поворачиваю назад и почти сразу причаливаю к удобному берегу. Здесь распадок между гребнями, что тянутся вдоль реки. И на одном из гребней, в елях и соснах ставлю палатку, внизу натягиваю костровой тент. Воду зачерпываю прямо из реки. Будет каша и чай на волжской воде! И, конечно, немного водки в честь начала... в честь начала — ну и ну. Да просто: за Волгу!

И я выпиваю из железной кружки, закусываю дымящейся кашей с поджаренной на сковороде колбасой и луком. После того, как Нина потчевала меня на Арефинском роднике макаронами и кашами с поджаркой и жареными грибами, я решил всегда брать в поход сковороду вопреки моей нелюбви к походной стряпне.

Неподалеку на сосну опускается небольшая хищная птица. Кобчик? Его можно спутать с пустельгой. Но кобчик темнее, самец. Этот как раз темноватый.

От потухшего костра поднимаюсь на гребень, залезаю в палатку, оставляя оба входа открытыми, вытягиваю ноги... Первый день всегда трудный. Вспоминаю все события. Все-таки оторопь берет от скорости: шесть часов, и нет Москвы, а вот — верховья Волги, тишина... Впрочем, машины-то здесь хорошо слышны. На самом деле я очень близко остановился от дороги. Что делать, выше не подняться.

Прямо из палатки вижу внизу Волгу.

Волгу?

Неужели это Волга?

### 33

Царский сон в высоких палатах среди колонн и ковров из мха и черничника.

Да что-то снов царских не запомнил.

Но этот гребень над Волгой, где стоит моя палатка, как прообраз самого Валдая. И лежа в палатке и глядя на обе стороны, я осознаю этот факт. И вникаю в звучание имени реки: Волга. Как-то она всегда была от меня, жителя Смоленска на Днестре, далека. И в каком-то рассказе или в повести, уже не помню, мой герой сетовал на то, что все почитают Волгу главной русской рекой, хотя очевидно, что это — Днепр. Днепр — струна русского государства. По ней вся страна настраивалась. Ну, правда, времена Киевской Руси миновали. Столицей стал неприметный городок, основанный Юрием Долгоруким и почти сразу — по историческим меркам — разоренный Батыем. А Москва-река впадает в Оку, Ока в Волгу. Но герой находил больше величия у Днепра. Все главные события «Повести временных лет» на Днестре, а не на Волге.

Да все же надо уже признать, что песни и стихи о Волге лиричнее, проникновеннее.

На ум сразу приходит Зыкина. Ни о какой другой реке никто так не поет. Как? Чудесно, плавно. Здесь Зыкина сама, как река, разливается.

Волгу славить начали поэты еще в XVIII веке. Иван Дмитриев: «О Волга! рек, озер краса, / Глава, царица, честь и слава». Карамзин — в том же веке: «Река священнейшая в мире, / Кристальных вод царица, мать! / Дерзну ли я на слабой лире / Тебя, о Волга! величать».

У Некрасова родовое имение стояло на Волге, и этим все сказано. «О Волга! колыбель моя! / Любил ли кто тебя, как я?»

А Гончаров? Он родился на Волге в Симбирске. И живописал реку в своем «Обрыве»: «Марфенька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно.

— Вот эти суда посуду везут, — говорила она, — а это расшивы из Астрахани плывут. А вот, видите, как эти домики окружило водой? Там бурлаки живут. А вон, за этими двумя горками, дорога идет к попадье. Там теперь Верочка. Как там хорошо, на берегу! В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов.

Райский молчал».

Вот и я молчал, слушая шелест и бурление снизу. Мне не хотелось признаваться себе, что многое отзывается на это имя и что поневоле я начинаю чувствовать большую приязнь к этой реке, сопернице Днепра.

Волга или Днепр?

Я даже засмеялся в голос. Что за детский спор.

«Чуден Днепр при тихой погоде...» У Гоголя магия Днепра. Запорожские его казаки живут за днепровскими порогами, потому и запорожские. Жили они на острове на Днестре. Тоже ведь сила!

При таких воспоминаниях поднялась во мне днепровская волна. Конечно, смоленский Днепр не столь величав, но хотя бы и вполовину!

Ладно, сейчас я попробую по мере сил исследовать Волгу.

И я вступил в заповедный Оковский лес. Мхи глушили мои шаги. За плечами у меня был легкий рюкзак, на боку сумка с фотоаппаратом. Лагерь с лодкой на свой страх и риск я оставил, ничего не пряча. Авось пронесет. Или кто защитит. Ну, не то что я думаю, будто рядом ангел-хранитель. Хотя вот мыслитель Сергей Булгаков писал, что «человеку дано иметь своего Ангела Хранителя, предстоящего пред лицом Господним. Это есть не только друг и покровитель, хранящий от зла и влагающий благие мысли, но, в известном смысле, и небесный первообраз человека»<sup>75</sup>. И он называет их небесными прототипами человека, его духовными сродниками. Это определение явно перекликается с идеями Платона о первообразах и вызывает большую симпатию. Но тут же возникают и вопросы. Их я тоже хотел бы задать старцу на Серебряном мосту. Значит ли это, что у человека, попавшего в беду, хранитель был плох? Ведь беда случается и с положительным во всех отношениях человеком, христианином, верным, честным и так далее. Да вот он переходил дорогу, а тут вылетела BMW с обкурившейся какой-нибудь актрисой или сыном депутата или полицейского начальника, а то и с попом, такие случаи известны. Авария, смерть или покалеченность. Как это понять?

И еще возникает вопрос: к чему множить сущности, если можно обойтись одним всеведением, присущим Господу? Тут сразу и жестокая мысль о бритве Оккама мелькает.

Наверное, вопросы наивные. Но куда от них деться? Всегда не хватает такого старца на Серебряном мосту, которому можно было бы запросто задавать любые, абсолютно любые вопросы.

Примерно то же самое можно спросить и о святых, выполняющих почти ту же роль, что и ангелы. Булгаков осторожно замечает, что почитание святых «при наличии религиозной темноты и суеверия (...) может быть практически нарушаемо в сторону многобожия и языческого „синкретизма“, на почве которого мирно уживаются с христианством пережитки язычества»<sup>76</sup>.

Булгаков на этот вопрос отвечает так: святые нужны для примера и ободрения.

Ну, а чтобы пример был животрепещущим, к нему и следует обращать свою молитву. Это уже мог бы сказать тот старец с Серебряного моста.

Вот потому я и поминаю в странствиях Герасима Болдинского с тех пор, как по дороге на исток Днепра на велосипеде заехал в Болдинский монастырь.

Многоступенчатость духовной жизни необходима людям, а не Всеведущему. Наверное, и это мог бы сказать тот старец у хижины с дымящимся костерком.

<sup>75</sup> С. Н. Булгаков. Православие. Очерки учения Православной Церкви. Минск: Харвест, 2011, с. 173, 174.

<sup>76</sup> Там же, с. 169.

А кстати, Булгаков сообщает, что на празднике всех святых творится память не только о святых прославленных, но и непрославленных, «которых Господь заключил в безвестность»<sup>77</sup>.

И я сразу же думаю о том старце у хижины перед Серебряным мостом. Кто знает, может, именно там он и жил в уединении и подвиге одиноких молитв. И еще есть непрославленные поэты, писатели, художники и философы. Они просто не хотят прославляться. Впрочем, тут приходит на ум притча о слуге, зарывшем талант. Ведь здесь какое-то противоречие?..

Раздумывая примерно таким образом, я шел по лесу над Волгой. Она текла где-то внизу, по дну ущелья. В самом деле, берега столь круты и высоки, что ни за что не поверишь, не зная, где именно находишься, будто это среднерусская река. Настоящая тайга. Когда солнце выглядывало, река блистала среди пышных папоротников и обильно усыпанных кровавыми каплями кустов волчьего лыка. Волчье лыко! Его так здесь много, будто ты вступил во владения волколака. Хорт — это имя означает Волк. И глаза его и впрямь были серыми с оранжевыми точками...

Уж не знаю, доберутся ли они сюда с немой мальчишкой, или много ниже по течению Волги их перехватят викинги, идущие в море Хвалынское за золотом, а то и наоборот, уже возвращающиеся вверх по реке.

Поиски родника должны, конечно, были привести их и сюда, к истоку Волги.

Свой родник на Валдае искал и Рерих.

А нашел — жену.

Он с нею познакомился в окрестностях Бологого в имении князя Путятина, Еленой Шапошниковой, дочерью известного архитектора, академика, во время археологической экспедиции.

Рериха влек этот край как узел пути из варяг в греки. Путь этот он исследовал около двадцати лет. Результатом была «славянская симфония» из множества картин на древнерусскую тему. Сам Рерих хотел создать двенадцать картин этой симфонии под общим рабочим названием «Славяне и варяги». И они появлялись в эти годы его странствий по Валдаю: «Гонец. Восстал род на род», «На чужом берегу», «Сходятся старцы», «Идол», «Поход»... Позже он написал три варианта картины «Волокуч волоком». Это варяги и есть. То есть скорее русские крестьяне, перетаскивающие варяжские корабли.

По мне, так в этой картине не хватает жизни. Суда варяжские выглядят как музейные экспонаты. Будто эти суда только что смастерили. Самих варягов нигде не видно, а крестьяне — или кто это корабли тащит? — похожи на каких-то святых старцев в белых одеяниях. Хотя трудовое напряжение и передано в согнутых спинах... Впрочем, таков вообще стиль этого живописца.

Но «Гонец...», «Поход» и другие картины цикла много лучше. «Поход» так просто шедевр! Войско ополченцев со щитами на спинах, обутого в лапти, идет распадком. Труд ратный не только сражения, а вот такие переходы, походный быт. Мне этот распадок напомнил одно место в афганской провинции Бараки, где мы остановились на ночь в декабре. Точнее, колонна остановилась ниже, в заснеженной степи. А вот к скалам на горе мы поднялись с ребятами — просто так, покурить, посмотреть. И увидели вечернюю степь, далекую цепочку белых гор, наши танки, тягачи с орудиями, бронетранспортеры. На скалах и вокруг лежали такие же клочья снега, как у Рериха. И на нас была тоже простая одежда солдат: бушлаты, сбитые кирзовые сапоги, обожженные у буржуйки и костра рукавицы, цигейковые шапки-ушанки со звездочками. Ну, вместо копий и луков с мечами — автоматы, подсумки с рожками. И я прекрасно помню, какой страннической тоской охватил меня этот вечерний пейзаж, как мне захотелось идти здесь

<sup>77</sup> Там же, с. 166.

горными и степными тропами с рюкзаком, а еще лучше — за осликом с переметными сумами, полными походного скарба...

Внизу нас всех вызвали к особисту, он вцепился в нас с расспросами: зачем мы туда ходили? на что смотрели? почему никому не доложили?

Он был прав. Время от времени кто-то уходил, как говорится, на ту сторону из подразделений сороковой армии. По-моему, совсем недавно такой случай и произошел, ушли четверо гранатометчиков. Никаких последствий вызов этот не имел.

Наверное, и из того древнерусского войска, изображенного Рерихом, кто-то переходил на сторону половцев, например.

Сумрачный и тревожный дух «Похода» Рериха царил и в тот вечер в далекой заснеженной провинции.

«Сходятся старцы» — эта картина полна древней жизнью, запахом тлеющих угольев у корней великого дуба, возле которого расселись языческие думцы на камнях. Внизу вечернее озеро. Еще один старец поднимается сюда по тропинке, и белая его борода длинна, как предстоящие думы.

«На чужом берегу» дивно хороша! Там склонился над мертвым товарищем воин. Как тот погиб? Что произошло? Неведомо. Позади них море, или озеро, или великая река, лодка. Как они сюда попали? Откуда? Под головой мертвеца камень. Он как будто прилег отдохнуть, а опустившийся на одно колено и опирающийся на руку товарищ в островерхом шлеме как будто о чем-то его вопрошает. В первый миг так и воспринимаешь эту картину. Но потом понимаешь, что миг тот — там, на берегу — был скорбным. В ногах у лежащего щит, на животе меч, рядом боевой топор. Остается лишь гадать, что же случилось.

Поразительный все же «диалог» с мертвецом. О чем его вопрошает товарищ?

А над волнами чайки, и они, конечно, пронзительно кричат. И волна с шумом накатывает на чужой брег. Тон этой картины тот, к которому в конце концов пришел великий предшественник Рериха Рембрандт. Коричневый. Ему много слов посвятили исследователи. Это архаичный цвет. Молодой Рерих сразу к нему обратился, потом-то его палитра станет другой, яркой, словно лес и поле после дождя. Но этот пример, возможно, говорит о выучке у Рембрандта. Или об интуиции двадцатитрехлетнего художника, исследователя валдайских древностей.

А «Идол» его просто гениален. Перед воротами стоит идол деревянный, корявый, с пустыми глазами, сквозь которые просвечивает белый склон, но в этих дырах сквозит какая-то немислимая беспощадность. Стена, тупик, но ради деревяшки ты будешь принесен в жертву, гой еси чужестранец или даже свой, кому выпал жребий. Он в тебя и вперяется своими дырами у этих врат. И врата эти — врата смерти. А ты не знал? Вот предсмертный рог, на, осуши и не бойся больше. Ибо отправишься ты в ирий...

Работа эта похожа на страшный сон. Таков лик язычества. Впрочем, была и другая сторона, и во второй книге, надеюсь, вы это сами увидите.

Но должен признаться, что этот ранний Рерих мне нравится больше зрелого и позднего. В ранних работах есть «почва», терпкая жизнь, а потом палитра его высветляется, как у Ван Гога в Париже, но если у Ван Гога при всех его ярких красках чувствуется «почва», то Рерих слишком воспаряет и теряет с нею контакт. В музее картины Николая Рериха соседствуют с работами его сына Святослава, и это очень показательно: сын как будто доводит до предела стиль отца, его живопись уже почти гламурна, а может, и не почти. Гладкопись, некая расслабленность, но при этом яркость сохраняется.

Древнерусский Рерих интереснее индийского, хотя среди работ, посвященных Индии и вообще Востоку, есть, конечно, замечательные. Но восточная экзотика что-то затмевала. Хотя именно Восток стал главной темой его творчества, и слава Рериха зиждется на этом.

В пору своих изысканий на Валдае Рерих написал статью «По пути из варяг в греки», в которой он рассуждает о волоках на порогах. И между прочим, замечает, что до порогов на Волхове могли идти в мореходных судах, а после порогов садились на лодки меньшего размера.

В статье «Неотпитая чаша» Рерих писал: «А вот чудо. Среди зеленого, мшистого луга, около овечьего стада, наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина. Чаша неотпитая. Яма — сажени в три шириной. Сажени три или четыре глубиной».

Этот родник он нашел в селе Мшенцы. Говорят, этот родник бездонный. Там карстовые провалы.

Рерих в этой статье всю Русь так поименовал — чашей неотпитой. Но из этой чаши и он отведал кристальных вод, и нас надоумил. Да что толку. Вблизи родника в Мшенцах построили трассу Москва—Санкт-Петербург, и проектировщики наотрез отказались отнестись трассу на километр в сторону. Эта та самая трасса, что прорубилась и сквозь Химкинский лес.

В России привыкли резать по живому, по святому. Не привыкать.

### 34

Иногда распадок между холмами был так сильно затоплен водой, что приходилось отклоняться от реки. Я доставал из рюкзака купленные перед походом очень легкие сапоги из полимерного материала «Эва» и надевал их. Но сапоги лишь до колен, и пройти в них можно было не всюду.

Лес был преимущественно еловый, но встречались и сосны, мощные тополя, березы. Иногда в соснах можно было идти как в парке, чисто, сухо, только шишки валяются во мхах. Но начинается смешанный лес, и движение затрудняют туши упавших деревьев, хотя и покрытых мхами, но тут же проваливающихся под ногой с хрустом и чавканьем, словно пасти неведомых зверей.

Всюду видны были следы лосей. Но самих сохатых не было. Да и птицы как-то по-малкивали и не летали. Лишь изредка откуда-то доносился грай волжского ворона.

Волга то приближалась, то удалялась. И бурлящая песнь ее то была слышна, то затихла. А иногда и она сама пускала в глаза солнечных зайчиков, и я глядел на нее, стремительно перекатывающуюся через поваленные деревья, несущуюся среди папоротников.

И с каждым шагом, приближавшим меня к истоку, росло то самое чувство священного, которое с детства присуще мне, как, впрочем, и многим моим соотечественникам. Мне представляется, что в этом одно из особых свойств русских, делающее нас несколько архаичными. На первый взгляд это вовсе не так. Это впечатление происходит оттого, что всегда торжествует как раз человек, задушивший в себе священное. Он на виду. На коне. На броневике. Да и советский эксперимент был направлен именно на уничтожение самых ярких носителей этого священного чувства, и больше семидесяти лет это чувство целенаправленно вытравливали у остальных.

Да, к слову. Надо определиться с этим понятием, верно? Что такое священное? Не буду изобретать велосипед и вообще тягаться с философами. Так что лучше обратиться к одному из специалистов в этой области. Мирча Элиаде одну свою небольшую, но чрезвычайно емкую работу так и назвал: «Священное и мирское», дав и самое простое определение: «Священное — это то, что противопоставлено мирскому»<sup>78</sup>. Далее он раскрывает и уточняет это определение. Проявление — я бы сказал, прорыв — священного он предлагает называть иерофанией, то есть «нечто священное, представляющее перед нами». Иерофания произведено от греческих слов *священный, светоч, свет*.

<sup>78</sup> М. Элиаде. Священное и мирское. М.: МГУ, 1994, с. 17.

И так и бывает, что из древесной кроны или трещины в камне и рвется свет иного. В моей Местности есть такое дерево — дуб, изогнутый в виде сольного ключа или какого-то дракона с длинной шеей. Но сравнение с сольным ключом мне нравится больше. И я здороваюсь с ним за сухую ветку, возвращаясь после долгой отлучки. Таков же Арефинский родник, и Воскресенский родник, а за речкой Ливной родник Василевский. Таковы же горы: Арефинская, Воскресенская. Таково же урочище Славажский Никола на месте деревни и одноименной церкви. Даже над воссозданным хутором Твардовского Загорье есть этот свет. Я его явственно ощущаю. И для меня эти природные объекты священны.

«И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исход, 3, 5).

Вот мне и хочется всегда это сделать, идти босиком по Арефиной горе. И вообще босым ходить по Местности.

То же чувство у меня возникло и теперь, когда я шел по мхам Оковского леса, приближаясь к истоку Волги. Следов людей здесь не было ни единого. Все звуки внешнего людского мира умолкли. Ну, наверное, сюда приходят люди. Это можно заключить хотя бы из того, что на кустиках брусники ни одной ягоды, все собрано, вообще все, подчистую. Уж не знаю, как это удалось ягодникам. Все-таки близость дороги сказывается.

Но — как тихо. И мох не хранит следов.

И я иду дальше. Предчувствие иерофании не может заглушить проснувшийся голлод. Да и усталость сказывается. И я сажусь на ствол сосны, достаю из рюкзака хлеб и прочую снедь. Запиваю обед холодным чаем из бутылки, все убираю, уронив крошки на мох, и пробираюсь дальше.

И внезапно узкая Волга засверкала сквозь листву множеством серебряных зеркалец. Еще несколько шагов, и я увидел кусок громадного зеркала, а потом вышел на берег и окинул взглядом уже почти все озеро — озеро Большие Верхиты. Это было оно. После лесных дебрей озеро казалось гигантским, просторным — той самой чашей, о которой толковал Рерих. Мне захотелось что-нибудь пропеть, крикнуть. Но вместо меня это сделала чайка.

Озеро выглядело заповедным. Над ним замерли облака. Со всех сторон его окружали ели и сосны, березы, старые осины, черная ольха.

Увидеть все озеро было невозможно, оно загибалось к югу.

И я двинулся дальше по берегу, но вскоре уже вынужден был отклониться в сторону, идти нельзя было из-за топей и завалов.

Еще через некоторое время я поднялся на холм в старых соснах и елях, черничнике, мхах и папоротниках. Прошел по холму, обернулся — и снова узрел те же серебряные ели, что и на Днестре, на Серебряном мосту!

Это, конечно, и было иерофанией в чистом виде.

Как это описать? Сфотографировать?

Ну, разумеется, я достал фотоаппарат и прилежно наводил объектив на эти серебряные ели и мхи с папоротниками, но уже знал, что ничего не получится. То же произошло и с елями на Днестре.

Иерофанию невозможно сфотографировать, вот что. Как и теофанию. Фотограф в Гефсиманском саду, тем более на Фаворе, где лик Христа просиял, а одежды стали белыми, или на Голгофе потерпел бы поражение. Скорее всего, изображение было бы примитивным, как снимки полицейской хроники.

Иерофания доступна поэтам, живописцам — и да, в первую голову, музыкантам, сочинителям музыки, подобным Скрябину или... или Оливье Мессияну.

Этого французского композитора я вспомнил неспроста. Еще когда начинал этот путь от лагеря к озеру, взойдя на высокий гребень берега, поросшего соснами, и увидев

далеко внизу сквозь алые ягоды волчьего лыка серебрящуюся речку, тут же подумал о симфонии Мессиаана «Из каньонов к звездам». Это музыка тишины, птиц и звезд, двенадцать частей как двенадцать лет нескончаемой иерофании и теофании. Из пустынь и ущелий мы возносимся в горный мир, на звезду Альдебаран, где кругом поют созвездия. А внизу поют иволга, малиновка из Африки, американский пересмешник, древесный дрозд, птицы Гавайских островов. И всюду дует таинственный ветер — трубач сквозь сконструированную ветровую машину. А еще звучит песок в барабане — сей выдуманный инструмент Мессиаан назвал геофоном. Это звук Земли.

И меня как будто и возносила симфония Рериха—Мессиаана.

Или то была прелюдия, а сейчас звучала уже другая симфония — Большие Верхиты. Автор — Валдай.

И я точно был на вершине русского космоса. Ощущение высоты и чистой глубины было явственно и упоительно.

И где-то внизу вскрикивала чайка.

### 35

А ей отзывался волжский ворон.

Мне бы хотелось продлить это пребывание на вершинах, описать некие видения или прозрения, но ничего этого не было там. Молчало озеро Большие Верхиты. Впрочем, говорило — своим именем — именно о высоте и размахе.

Представляю, какое стихотворение написал бы здесь Велимир Хлебников. Название этого озера в духе его древнеславянских неологизмов. Волхование Хлебникова тут и потребно:

Ты поюнна и вабна,  
 Душу ты пьянишь, как струны,  
 В сердце входишь, как волна!  
 Ну же, звонкие поюны,  
 Славу легких времирей!

Уж этот пиит пил мед поэзии полными пригоршнями. *Ты поюнна и вабна...* Это здесь, среди серебряных елей и мхов, над озером Большие Верхиты, звучит как признание в любви. *Душу ты пьянишь, как струны. О, да. В сердце входишь, как волна!* И эта волна — волжская.

Уже через день мне это стало ведомо.

Да, выше, к озеру Малые Верхиты и дальше к истоку и Ольгину монастырю я не пошел ни сегодня, ни завтра. Сегодня уже было поздно, а завтра — а назавтра начался дождь, и мне только и оставалось полеживать в палатке да сидеть у костра под тентом. Да в непромокаемой одежде на 2000 водоупорных единиц собирал лисички, а потом долго жарил их.

Сотворив молитву, приступил к трапезе. Ох, и вкусны же были сочные чистые лисички!

Странствовать с молитвой веселей. Хотя христианство и не назовешь веселой религией. Другое дело — кришнаиты, например. Перед походом мы с женой и дочерью сходили в Сокольники на день Индии, там и увидели шествие кришнаитов, огороженное двумя толстыми канатами, которые несли преимущественно мужчины, а за канатами танцевали молодые разукрашенные и разнаряженные молодые женщины с неугасимыми улыбками ярких губ, а позади двигалась увитая цветами и задрапированная

разноцветными тканями «карета», — видимо, в Индии это слон, а здесь машина, но совершенно скрытая цветами и тканями да почему-то ужасно тарахтящая и выбрасывающая клубы черного дыма. И наверху в балдахине восседали девушки и юноши в цветах и какой-то важный американский кришнаит-проповедник в гирлянде цветов и в ковбойской шляпе, седой, с красноватым одышливым лицом, а рядом с ним пожилая женщина, абсолютно русская тетка, наяривающая на аккордеоне. Все хлопали в ладоши, смеялись, пели, ковбой что-то выкрикивал в микрофон, зрелище было пьянящее и в полной степени попсовое. Никого не хочу обидеть, но христианство выше и благороднее. Хотя бы только на бытовом уровне.

Да вот Кропоткин в «Этике» пишет, разбирая по косточкам Спинозу, что веселость более способствует духовному совершенствованию, нежели печаль; более того, печаль этот процесс тормозит. Но христианство — это страдание и печаль, хотя в глубине и сокрыта великая радость. И мы действительно ежедневно взыскуем радости. Но печаль кажется глубже.

А меня как писателя всегда вела радость, цель моя была проста — воспеть красоту мира. Только этого и хотелось. Так ли уж просто? Это удалось сделать одному Уолту Уитмену, замечает Борхес.

...Отвлечло какое-то движение на Волге. Посмотрел: светлый, поистине серебряный бобер переплывает реку, совершенно бесшумно. Исчез.

Ну, вот... Я только хотел воспеть грибы лисички, а вон куда меня увело, к «Песни песней», — я ее еще не упомянул, но уже о ней подумал. Кажется, и Борхес о ней говорил, рассуждая об Уолте Уитмене. Мол, только автору «Песни песней» да Уолту Уитмену удалось драматизировать свою радость.

А здесь песнь песней — волчий хор.

В первую ночь совсем неподалеку пел небольшой волчий хор. Да, такие места — с распадками, чащобами, водой — волкам и любви. Хотя и странно, что они поселились неподалеку от дороги. А может, это была какая-то бродячая труппа волков, потому что в дальнейшие ночи я их не слышал. Но во время похода к озеру Большие Верхиты то и дело наткнулся на характерные волчьи экскременты — белые из-за обилия кальция, сиречь перемолотых костей жертв.

Волчий хор, крики сойки да крумканье ворона. И переливы Волги. Симфония «Из глубин Оковского леса к звездам» продолжается.

А ночью, глянув сквозь сетку выхода в палатке — дождь поздно вечером прекратился, и на ночь входы остались открытыми, — я узрел звезды, но не вверху, а внизу. Это были светлячки. Мгновение, дух захватывающее.

И утром проглянуло солнце. Правда, и тут же скрылось. Пойдет ли дождь? Я начал собираться. Конечно, можно было выйти на дорогу и потопать в сторону истока. Меня наверняка подобрала бы попутка. Но я этого не хотел. Не хотел ни с кем говорить. Уже впал в молчание, как обычно. Это особенное состояние. И его усиливала симфония-чаша «Озеро Большие Верхиты». Ну, или не симфония, а... в общем, то, что удалось там почувствовать. Вот это чувство вершин славянского мира я и боялся расплескать в разговорах и лицемерии автомобилей на истоке, туристов... Нет, нет. Нет!

И после завтрака я погрузил вещи в лодку, отчалил. И синева засквозила в макушках елей, солнце хлынуло жарко.

...И наконец лодка, протиснувшись по коридорчику из кочек и трав, наконец она вошла — или вышла — в простор — на простор, вырвалась из каньонов, над которыми должны быть звезды, выскользнула в озеро, первое в череде волжских озер, в озеро Стерж. И сердце мое пронзил невидимый стержень Волги. И это был стержень всей страны.



Волга была в цветах: на островках адели султанчики, а воде плавали белые кувшинки и белые цапли, много белоснежных цапель. При моем появлении они воспарили, словно белые кувшинки; сверкая крыльями на солнце, они летали невиданной эскадрилью. Наверное, тренировались перед осенним забегом на тысячи верст в сторону Индии, небесные такие кадыкастые бегуны. Ведь о них и писал главный волжанин земли Русской Некрасов:

Я рос, как многие, в глуши,  
У берегов большой реки,  
Где лишь кричали кулики,  
Шумели глухо камыши,  
Рядами стаи белых птиц,  
Как изваяния гробниц,  
Сидели важно на песке...

Точно! Эта эскадрилья и была похожа на какие-то египетские изваяния или рисунки с гробниц.

По озеру шла волна, качая белые кувшинки и мою лодку. Чуть справа и впереди на берегу виднелись развалины церкви. Сначала я держал курс прямо на нее, а потом свернул. Волны иногда заливали нос моей лодки. Но провиант был упакован в герметичный синий мешок, и ничего ему не грозило.

Вечернее солнце освещало прибрежный лес, скульптурно выделяя уже осенней расцветки деревья, по-моему, вязы и липы, курчавые сосны, лодку и большой коричневый дом с четырьмя окнами на озеро, белую лодку на воде и серую лодку с серыми фигурками рыбаков. Впереди лежал остров. А за ним угадывалась озерная даль, ширь. И вокруг простиралась ширь озерная, вольная, свежая. Изредка бабахали выстрелы. Сегодня открылся сезон охоты на водоплавающую дичь, и раннее утро в своем лагере еще на реке меня приветствовало оголтелой канонадой. Это было нечто в высшей степени варварское и глупое! Можно было подумать, что началась какая-то невиданная бойня, война, да, долгожданная война с европейцами или американцами. А это просто палили по уткам. Я опасался, что тушки сбитых птиц попросту затруднят мне плавание. Так, наверное, палят по оленьим диким стадам жители тундры, оголодавшие на морошке и рыбе и дождавшиеся большой охоты.

Но вряд ли среди стрелков было много местных. Тут, по берегам волжских озер, живут в основном дачники-москвичи. Вот они и палили, не жалея ни пороха, ни птиц, ни бензина на моторную лодку.

Постреливали они и сейчас, вечером. Тут и охота, и рыбалка, и отдыхающие. Там и сям виднелись крыши коттеджей-хуторов и деревень. Над крышами вились дымки.

И все-таки присутствие людей, даже сорвавшихся с цепи охотников-утятников, растворялось в спокойном серо-золотом дыхании Волги. И меня сразу и навсегда захватило это дыхание. Волга! В самом имени оно, дыхание высот и глубин, шири.

— Волга-красавица, — победенно и убежденно бормотал я, разрывая веслом волны.

И лодка послушно всходила на волну, а точнее, прободала ее, как утюг, тяжело груженным носом. И с носа из-под ослепительно-синего мешка стекала вода. Это качание, эти звуки, запахи меня завораживали. Я всегда мечтал жить у большой воды, с детства. Вот как эти неведомые хозяева из коричневого деревянного одноэтажного одинокого дома, глядящего на меня с левого соснового берега. Кто они? Что думают сейчас?

Чужая жизнь нас всегда волнует. И когда оказываешься в подобном месте, испытываешь изумление: о, пока ты находишься якобы в центре страны, тут не прекращается

своя напряженная жизнь. И день за днем кто-то смотрит на эту озерную ширь, слушает плеск волн, крики чаек, встречает поутру солнце и провожает его вечером, вкушая свой хлеб.

Громадность страны поражает. Ее леса и реки, озера бесконечны. Это неиссякаемая поэма пространства и маленьких людей, затерявшихся в нем. И вдруг и ты становишься одним из ее героев. Поворотом ключа в двери, поездкой в автомобиле, взмахом весла ты входишь в нее. Всего-то и надо принять решение о походе. И ты персонаж поэмы.

И она длится и сейчас, когда ты сидишь на шестом этаже над московской улицей и видишь из окна высотные дома, краны, голые деревья, серые небеса. А там, на берегу озера Стерж, в четыре окна коричневого дома кто-то смотрит на волны, чинит, может быть, сеть или читает, просто думает о звере и рыбе... Такие-то дома принадлежат местным. У дачников коттеджи.

Как и тысячу лет назад, волжский житель добывает хлеб насущный в реке и в окрестных лесах. И эта делящаяся нить не рвется, несмотря на свою древность и всякие катаклизмы истории. Нить-струна. И она *поюнна и вабна*. И странник счастлив чувствовать ее дрожь в жилах. Ему ничего больше не нужно.

### 36

Причалил уже на закате к берегу возле гигантской, поваленной в воду упорными бобрами осины, успел до темноты приготовить ужин, а потом залег в палатку, как обычно, не задраивая иллюминаторы-выходы, и прямо возле палатки горели капли света светляков, а в кронах переливались далекие звезды... Жалко, что нельзя прямо в этот текст встроить звуки симфонии Мессиана. И внезапно хлынул дождь! Удивительно! Звездно было, закатное солнце светило ласково, и на тебе. Успел задрать люки.

С утра было пасмурно, моросил дождь. И я, дожидаясь хорошей погоды, замешивал блинную муку в волжской воде, раскалял сковородку на огне, лил в нее подсолнечное масло и выпекал блины. Складывал их на сорванный папоротник. И хорошо выпеклись блины. Уплетал их с кашей, потом с крепким чаем. Выпил и водки под блины-то. Сидел под тентом, вспоминал давешнее плавание через озеро Стерж. Снова понимал, что это — глубь русского пространства. Глубь и высота. *Глубота и высота*, как у Клюева.

Ты, пустыня, мать-пустыня,  
Высота и глубота!  
На ключах — озерных стынях —  
Нету лебедя-Христа!

Это он про советские Соловки писал. Охотнички-большевики в лебедя этого и метили.

И снова я думал, что центр-то здесь, а не в Москве или еще где-то.

Но как важничают москвичи, дерут нос. Тот мой водитель именно таков. У него все города — «ж...», кроме Москвы. Вообще-то, он приехал в Москву лет двадцать назад, женился здесь, завел детей. И теперь как будто заклинает провинцию: сгинь, сгинь, сгинь! И признает, что москвичей не любят. И многие москвичи это признают. Не любит Россия Москву? Да и жителей других крупных городов? Читал, что псковичи, тверские, ленинградские селяне как завидят дачников, так сразу насупливаются: «блокадники» пожаловали отнимать нашу пайку: ягоды, грибы, рыбу. А на самом-то деле «блокадниками» себя эти селяне и чувствуют. Россия в блокаде, а Москва в фаворе. Для дачников сбор ягод-грибов — развлечение, а для местных — выживание.

Во времена Хорта и Спиридона Москва еще была маленьким городком. Тогда гремел Киев, и другие города были сильны: Новгород, Смоленск, Полоцк, Ростов.

«Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя», — рек Прутков. И это его высказывание можно адресовать властям предрежащим. И пожелать: будьте специалистами по всей России, а не только по Москве.

...Дождем грозили набухшие свинцовые тучи, но было тихо, ни капли не сеялось сверху. Все замерло, онемело. И после обеда я не выдержал и отчалил. Лодка моя скользила по глади озерной, над тучами и чайками. И я чувствовал себя небожителем.

Хорошо странствовать по воде. Не быть вьючным животным. А быть капитаном смотра: гребь и гляди направо, налево, прямо, вверх, правь веслом, отдавай себе любые команды и с легкостью выполняй их: лево руля — лево, право — право!

И я, как обычно на лодке, начал тихонько декламировать любимого Рубцова:

В жарком тумане дня  
Сонный встряхнем фиорд!  
— Эй, капитан! Меня  
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть...

И впереди вырисовывалась церковная луковка — не церковная луковка... То ли луковка, то ли такой формы крона березы... Крона или корона?

Это была луковка полуразрушенной церкви, через некоторое время я причалил к этому песчаному берегу в старых ивах и березах и дошагал до руин. Вокруг церкви, огороженное валом из камней, было кладбище. И кладбище довольно опрятное, ухоженное. Мох на камнях придавал всему вид старинный, даже древний. Это кладбище даже напомнило одно сельское тоже кладбище во Франции, к которому я вышел, собирая грибы. Пригласили пожить в сельском доме пару дней, вот я и бродил в округе. И то кладбище удивило своей ухоженностью. Ведь у нас все по-другому, по крайней мере, на смоленских деревенских, да и городских кладбищах. Ну, а это волжское кладбище было ему под стать.

И ведь поблизости не видно было деревень. Значит, кто-то приплывает, ухаживает. Серая осыпающаяся церковь словно выростала из этого серого тихого дня.

Во времена Хорта здесь, конечно, строили церкви из дерева.

Я вернулся к лодке, занял свое место на слегка надутом сиденье, толкнулся веслом и выплыл из-под старых нависающих ив. Снова заработал веслом.

Долго плыл и как будто обогнал пасмурный день, зашел за его край и увидел солнце. Или оно увидело меня. Уже поздно вечером вышло из темных теремов и по-царски пожаловало меня и всех золотом. Как преобразились сумрачные леса по берегам! Останавливаться не хотелось. Плыть, плыть, плыть... дальше и дальше среди этих предосенних лесов, любуясь золотой и медной от солнца листвой и бронзовыми стволами. Но некоторые деревья уже и без солнечной окраски были карминного цвета. Вязы. Осень приближалась.

И я причалил к песчано-каменистому берегу в шиповнике и вязах. Среди вязов, убранных в золотые доспехи, и поставил палатку, а у самой воды развел костер и сварил манную кашу на сгущенном молоке, добавил топленого масла, заварил чай, достал гречневые хлебцы и приступил к ужину. Солнце уже село, но было светло. Небо и воды огневели, как россыпь углей в моем кострище.

Какой простор лежал передо мной!

Это очарование не смогли нарушить все стреляющие где-то поблизости охотники и какая-то безумная компания, промчавшаяся мимо на катере с дикой музыкой и осатанелыми воплями.

А к ночи стало совсем тихо. Над далеким берегом взошла звезда. И я лег в палатке с открытым иллюминатором. И видел Волгу. И звезду. Звездный стержень озера Стерж чуть изгибался на воде, порой дробился, снова обретал целостность, устремляясь острием своим прямо в мое сердце.

«О, Волга», — бормотал я, старый днепровец, борисфенит.

### 37

Поворот озерной волнистой шири серо-солнечной в облаках и ветре — и глазам предстала неожиданная картина: две церкви.

Готовясь к путешествию, я читал обо всем, но все совершенно позабыл. И вот вижу эти церкви над водою как некое чудо. Особенно это касается той церкви, что слева, — она стоит как невеста. Деревянная! И я уже гребу, зачарованный, не спуская с нее глаз. Чуть в стороне дома небольшой деревни, причалы с лодками. А вокруг церквей зеленеет молодой сосновый бор. В садах круглятся яблоки. Уже был Яблочный Спас, как раз на него и пришлось открытие охоты на уток. А я еще не пробовал яблок этого сезона. Яблоки очень люблю.

Гребу, и обе церкви качаются передо мной: деревянная и краснокирпичная.

Высматриваю причал. Да вот, под ивами плоский песчаный берег, лодка. Туда и правлю и причаливаю, беру фотоаппарат и направляюсь к храмам. И по пути мне попадаются две яблони. На одной яблоки кислые, с горчинкой уже, задичали. А на другой — вкусные, сочные. Но я пока не собираю яблоки, прохожу дальше, к деревянной церкви. Она вся деревянная, только основание из огромных серых валунов. Высокое крыльцо ведет к запертым воротам. Внизу, под крыльцом как бы галерея и тоже дверь — на большом поржавевшем замке. Церковь необыкновенно стройная. Это моя первая деревянная церковь. И я чувствую, что уже влюбился в нее. Щелкаю фотоаппаратом, хожу вокруг. Вот на деревянном столбике доска с надписью. Читаю. Это церковь Рождества Иоанна Предтечи, срублена в 1694 году.

Как же леснику в нее не влюбиться? Это словно бы дочь самого леса. Как будто она и не срублена-собрана, а сама как-то явилась, вызрела из леса.

Место называется Ширков погост. Обе церкви Рождества Иоанна Предтечи. Краснокирпичная построена в начале прошлого века. Она тоже выглядит живописно с высокой колокольней и двумя куполами, одним побольше, другим поменьше. Чем-то церковь напоминает храм Василия Блаженного. Это пример зодчества XVII века, но строился, напоминаю, храм в начале века двадцатого. Этот храм действующий, хотя сейчас его двери и были на запоре. А деревянная церковь безмолвствует, как говорится. Она музейная реликвия. Но в это трудно поверить, таким теплом, такой жизнью веет от всего ее облика. Силуэт деревянной церкви, когда отойдешь к кладбищу в соснах на взгорке, поистине человеческий, женственный. У нее даже есть ладони. Хотя и не одна пара, а больше.

Воздух там здоровый, сосновый. Земля песчаная, сухая. С пригорка открывается вид на озеро — это уже озеро Вселуг, на его даль, на близкий остров, на деревеньку сбоку.

И, конечно, уже тоска берет. Не хочется отсюда уходить. Здесь бы пожить, а то и во все остаться. Немного таких мест на земле. И я сейчас, в квартире на шестом этаже, сам себя спрашиваю: ну, неужто она там есть? Эта церковь Рождества Иоанна Предтечи? И над нею свершаются ночи и дни, ночи звездные и дни солнечные, дождливые, а ско-

ро уже и снежные? В поздней осени, какая сейчас стоит, есть одна особенность: в мире как будто обнажается век девятнадцатый. Так мне всегда кажется. Не знаю, Пушкин ли здесь виной с его «Осенью» или кто-то другой. А зимой время делается еще древнее: тут уже века восемнадцатый, семнадцатый... Вот бы увидеть эту церковь, убранную в иней. Тогда и сойдется ее время и время внешнее.

Да я и так не мог отвести глаз от ее серого деревянного наряда.

Но пора было отчаливать. Что я и сделал, набрав полные карманы и шапку яблок.

Плыл и, оглядываясь, видел силуэты церквей Рождества Иоанна Предтечи. Над ними облака вытягивались какой-то праздничной вереницей, то ли свадебным поездом, что бывали в старину, — поезд из возков, — то ли клубами из трубы настоящего паровоза, как на картине Ван Гога.

Ветер поднимал волну, лодку качало сильнее, нос заливало. Я и не мог толком отведать яблочек Ширкова погоста. На небе громоздились облака, вдалеке уже валили тучи. И под дождем я установил лагерь в молодых соснах. И не жалел, что дождь преврал сегодняшнее плавание раньше, чем нужно. От костра под тентом, если привстать, я мог видеть через гигантский водный простор тонкие силуэты церквей Ширкова погоста.

И всю ночь пыхали зарницы из-за лесов и вод, из-за деревянного Иоанна Предтечи. Дул сильный ветер, сыпался дождь, иногда крупный, проглядывали звезды и луна, а я смотрел какие-то нелепые сны, но вот две черноокие и чернокосые девушки из этих снов были хороши.

Утром меня разбудила моторка. Все же многовато их там было. Гоняли туда-сюда, жгли бензин. Кто еще может так транжирить деньги? Уж явно не местные. Местные если выплывают на рыбалку, то не со спиннингом или удочками, а по-тихому, с сеточкой, утром поставили, вечером сняли. А эти сновали взад-вперед, на резиновых разноцветных лодках, оснащенных японскими моторами. На противоположном берегу я видел их автомобили, палатки, наверное, туда ведет хорошая дорога.

На моем берегу было спокойнее.

Утро настало пасмурное, накрапывал дождь, и я выстирал тельняшку, носки и сидел под тентом, сушил все у костра, оглядывал ширь озерную, привставал и видел обе церкви на горизонте. Ближе к обеду их уже иногда освещало солнце. И, пообедав, я отплыл. Обернувшись, бросил прощальный взгляд на церковь, перекрестился и замал веслом.

Озеро Вселуг показалось мне крупнее, чем Стерж. В какой-то момент я понял, что плыть в такую волну далеко от берега небезопасно. Ветер крепчал, хотя и светило меж густых облаков солнце. Нос лодки постоянно захлестывало. Волны шли сбоку, и приходилось сильнее грести правой рукой, и она быстро устала. Если начнется шторм, то мне несдобровать. Ведь не получится натянуть фартук, это не так-то просто сделать и на спокойной воде, а когда лодку все время качает и разворачивает, тем паче. Волна подкатывала уже к краю баллона, норовя попасть внутрь. Лодка у меня с закрытой декой, и я сижу в сухости и чистоте в одних пластмассовых шлепанцах. Если надо вылезти на берег, то вынимаю скрученные сапоги, принайтовленные шпагатом к мешку на носу, надеваю их и тогда уже ступаю в воду и в грязь. Это создает эффект трюма, что ли, как на настоящем корабле. Конечно, здесь можно только сидеть. Но в хорошую погоду я вынимаю ноги из носа и кладу их сверху вдоль мешка с провизией, вытягиваюсь и почти лежу.

Я решил править точно поперек волны и приближаться к правому берегу. Это позволило «разгрузить» правую руку. На волнах качались чайки. Всюду виднелись лодки рыбаков. Мощно ревя, мимо прошла большая моторка с двумя молодыми мужиками и мальчишкой в красных спасжилетах. Один мужик правил, а другой просто вос-

хищенно ловил грудью и лицом солнечный ветер Волги и казался хмельным то ли от этого ветра, то ли от скорости, а может, и от выпитого. Увидев меня, он вскинул руку в приветствии. Оторвав руку от весла, поприветствовал и я их. Мужик радостно улыбался.

Вообще здесь можно далеко уплыть: от той дороги на исток, возле которой ночевал я, через три озера и дальше уже по озеру Волго до плотины, построенной в середине XIX века, взорванной в Великую Отечественную войну и восстановленной, — всего около девяноста километров. А дальше через плотину уже нужен волок, обнос.

Ветер и волны в конце концов прибили меня к длинному песчано-каменистому мысу, поросшему травами и голубыми шариками цветов. На поляне среди этих цветов я и разбил лагерь неподалеку от зарослей можжевельника в двух шагах от воды.

Костер мой горел на песке у самой воды. Потом погас, но вместо него в воде уже отражалась первая звезда, а потом и серебряные блюдца других звезд и еще позже луна. Сколько было звезд вверху и внизу! И вдали желтели огоньки деревень. И грудь моя расширялась этим волжским простором. Мне уже нечего было сказать в этом споре Днепра с Волгой. Днепр вообще казался мне теперь какой-то нерусской рекой. Вообще, кривичи — это балтославяне. И правил там их бог или первосвященник Криве. Днепр, как конь норовистый, скачет по трем странам. А Волга вся в России. Да, Днепр был главной рекой Древней Руси. Но все это было давно и быльем поросло. Волга поет в сердце всякого русского. Голосом Зыкиной. И стихи этой песни удачны. Имя «Волга» уже напевно. «Днепр» имя корявое, кривичское. А имя «Волга» — плавное, как и сама река. И душа России ведь женственная, как и сама Волга. И волглая душа-то. Философ Георгий Гачев так и рассуждал о России, что это мать сыра земля. И еще бесконечный простор. Так это все Волга и есть. Три с половиной тысячи километров ее пространство. Она и соединяет Запад и Восток, правда, не без помощи сестры — Западной Двины. По Западной Двине поднимались викинги, купцы и воины, перетаскивали ладьи в Волгу и скатывались на восток — к хазарам, к булгарам, а дальше уже посуху в Среднюю Азию и еще дальше — за море и за горы — в самый эпицентр ковров и специй, украшений и орнаментов — в Багдад. А в другую сторону с караванами и в Китай. У греков она была Ра, что значит «щедрая». Позже ее называли Итиль. Древние русы называли ее Вльга. Арабы ее именовали Ателью, сиречь рекой рек. Иван Грозный всю Волгу сделал русской. По ней везли хлеб, меха, мед, воск, рыбу, соль, лес. Павел Первый и Александр Первый соединили каналами Волгу и Балтику, дабы кормить и обустроить Петербург. От Рыбинска до Петербурга по этой системе можно было добраться за сто с лишним суток. И курились по Волге костерки бурлаков, звучали бурлацкие песни.

Если умру — по мне  
Не зажигай огня!  
Весть передай родне  
И посети меня.

Это снова Рубцов, а как будто бурлак пел. И я ее повторял, гребя наутро от мыса с голубыми цветочками через великое сверкающее волнистое поле озера Вселуг. Было так жарко, что, переплыв то поле великое, причалил к травянистому берегу и выкупался, вымылся с березовым дегтярным мылом. Съел горсть кураги, запил холодным чаем и поплыл дальше, за новый мыс.

И на повороте и входе в новое озеро увидел белую церковь с колокольной. Там начиналось озеро Пено.

На Днепре нет этого — неожиданных встреч с храмами у самой воды.

Белая церковь, купол, кресты. Православие — волжская религия с поволокой.

Что, сразу почувствовался некий привкус языческий?

Да именно об этом и толковал Бердяев в книге про Хомякова. Что славянофильство питалось не только восточноправославным христианством, но и русской деревней с ее тысячелетним бытом, а основе этого быта — исконное русское язычество. Бердяев уточнял, что «язычество, просветленное христианской правдой, но просветленное не до конца»<sup>79</sup>. У славянофилов было искание Града Божьего в Древней Руси, а не в будущем.

Эту непросветленность окончательную я чувствую и в себе. Наверное, еще и потому славянофильство так увлекло меня. И мне теперь интересно посмотреть, что произойдет с мальчишкой Спиридоном, с волхвом Хортом? Что им откроется в этом большом странствии по христианско-языческому кругу вод и лесов? Часто так бывает, что герои и самому автору на что-то глаза открывают. Сочинение романа похоже на исследование: прежде всего себя, а потом уже и мира.

А силуэты взыскуемого Града я все же видел на этой реке.

### 38

Прощальные краски Волги вечером и утром были пепельно-синие, мягкие. Ночью полный Ковш звезд висел над озером Пено, а еще сбоку и поселок смотрел на мою стюанку в соснах электрическими очами. Утром встал пораньше, заварил покрепче чая, сварил вермишель, пережарил на сковородке лук с сырокопченой колбасой, вывернул туда из котелка вермишель и поставил сковородку на угли. Завтрак у меня всегда сытный — заправка на весь день. К чаю мед. На обед обычно супец, кофе, курага, сушки, сыр, горсть пережаренного еще дома арахиса. Ужинаю молочной овсянкой или манкой с гречневými хрустящими хлебцами. Но вес все равно теряешь, и ощущение легкого, а то и сильного голода никогда не проходит. Уже через пару часов после завтрака во время гребли начинаешь чувствовать голод. Все же плавание — занятие трудоемкое. Тем более по озерам. Течение здесь почти незаметно, да его фактически и нет, лишь между озерами вода немного убыстряется. Но все равно лучше плыть — и даже по волнам, чем шагать с тяжелым рюкзаком на хребте.

Мне осталось переплыть небольшой заливчик, и я быстро это сделал, высадился у лодочного причала поблизости от дороги. Выгрузил вещи, вытащил и сдул лодку. В это время сюда же причалил седой синеглазый старик на железной моторной лодке и в капитанской кепке. Мы немного поговорили. Старик местный, родился и жил в поселке Пено, работал в лесхозе. Сказал, что раньше по озерам ходили пассажирские суда, но рыбы было много больше. А сейчас — вот он с раннего утра рыбачит, а поймал... И он показал мне небольшого окушка.

— Разве это рыбалка, а? — с вялой застарелой обидой спрашивал он.  
 — Да, сожженный бензин дороже, — ответил я.  
 — Раньше я за утро, только выплыву, двух-трех шук возьму, ну?  
 — Слишком много моторок, — поделился я своими впечатлениями.  
 — Да главное, электроудочками все выбивают напрочь.  
 — И вода грязная, — добавил я. — Цветет, хотя уже на носу осень.  
 — Это так, — согласился он, снимая кепи и приглаживая редкие волосы. — Плотина подпират, не дает свежего тока.

Я спросил, почему рядом с тем сосновым мысом, где я только что ночевал, на большом участке берега вырубали лес. Или там его и не было?

— Да как же! — оживился старик. — Был бор. Но сколько-то лет тому назад... вот помните, ураган пронесся?

<sup>79</sup> Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Т8RUGRAM, 2018, с. 22.

Да, я помнил, в Местности он повалил Колупаевскую березовую рощу и посадки вдоль железной дороги.

— И этот ураган ударил сюда и все, как бритвой, — чик! Все, все срезал. Лысяя макушка осталась. Поваленный лес потом убрали. Красивый был бор...

— Не хотел бы я там оказаться в палатке.

На причале появились два пацана с удочками. Один из них подошел к старику и спросил, чего у него есть. Старик не стал даже ему показывать свой улов. Как я понял, это был его внук. Старик наладил ему удочку, и мальчишка уселся рядом с товарищем ловить рыбу в густой акварельной зелено-желтой цветущей воде.

Мы попрощались со стариком, и я покати́л мою тележку с вещами к дороге. Потом вернулся за рюкзаком. Поход мой по Волге длился девять дней. А кажется, месяц или даже больше. Начинал я его убежденным и непреклонным борисфенитом, а закончил побежденным днепровцем. Первенство Волги в русском самосознании стало для меня очевидным и бесспорным.

Теперь предстоял путь по Западной Двине. Именно здесь в древности и был волок с Волги на Западную Двину, а точнее, с Западной Двины на Волгу. Сюда и поднимались викинги купцы и воины из Варяжского моря со своими товарами: выделанными кожами, янтарем, бивнями моржа, медом, рыбой. И еще один живой товар везли викинги, ценившийся на вес золота у арабских шейхов, — соколов. Кстати, личным княжеским знаком Рюрика считается сокол, падающий на добычу, по сути, трезубец. На серебряной монете Ярослава Мудрого тоже стоит этот знак. Как и на монете Владимира Святославича. И само имя Рюрик созвучно русскому рарогу, то есть соколу.

В межозерье Пено и Селигер Алексеев отмечает большое скопление древних поселений. Он пишет, что, по мнению другого исследователя, И. М. Красноперова, «к Новгороду шел путь «волоком 2–3 в. до р. Исни Большой (называемой крестьянами Женей), впадающей в озеро Пено, а из него в Волгу» и заключил, что здесь и была Ження Великая Устава 1136 г.»<sup>80</sup>.

На берегу Большой Исни я и стоял сейчас. На самом деле это узкая речка, уходящая в сторону озера Охват, из которого вытекает Западная Двина. В общем, по ней можно еще подняться и продвинуться в сторону Западной Двины на пару-тройку километров. Алексеев замечает, что «помимо рыболовства можно было получать выгоды от сухопутной дороги по волоку Стерж—Селигер»<sup>81</sup>. А также за работы на волоке между озером Пено и озером Охват.

Кроме Женни Великой, здесь были и другие феодальные центры Смоленского княжества: Жбачев и Хотшин. Хотшин находился на озере Волго. «Торный путь по нему, по-видимому, и объясняет, почему с него взыскивалась столь крупная сумма: у Хотшина Волга суживалась, с озерного переходила на быстрое речное течение, что, несомненно, требовало некоторого переоснащения судна — остановки. В 1899 г. у Хотшина на высоком «кургане» высилась деревянная часовня с кладбищем»<sup>82</sup>. Речь идет о деревне, носящей современное название Хотошино перед плотиной в конце озера Волго. Туда я не пошел. Отсюда, из поселка Пено на озере Пено ближе до Западной Двины. Именно здесь на Западную Двину и переправятся мои Хорт и Спиридон. Здесь они повстречают викингов. Ну, точнее, уже потомков викингов. Эра викингов закончилась, как принято считать, в 1066 году в Англии, в сражении при Гастингсе между англосаксонской армией и войсками нормандского герцога Вильгельма. Английский король был убит, погибла его армия. И Вильгельм стал королем Англии, установив феодальную монар-

<sup>80</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9–13 вв. М.: Наука, 1980, с. 55.

<sup>81</sup> Там же.

<sup>82</sup> Там же.



хию, по сути, объединив страну, как это произошло и у нас. Только более мирным способом: Рюрика, как сообщает летопись, мы пригласили покняжить; после его смерти Олег, тоже, судя по всему, скандинав, с маленьким сыном Рюрика Игорем отправился из Новгорода в Киев, зайдя по дороге в Смоленск и подчинив его; в Киеве, правда, ему пришлось обмануть тамошних правителей скандинавов Аскольда и Дира, сказавшись купцом, те вышли к ладьям и были убиты. В Киеве Олег и обосновался и правил, пока рос Игорь. А хорошее имя Олег, историки выводят его от прилагательного «священный», «сакральный». Так и возникло единое государство Киевская Русь.

Но многие у нас с этим не хотят соглашаться.

Интересно, что англичан не волнует норманнский вопрос. И шотландцев, ирландцев, французов, итальянцев. Хотя уж норманны кроили тамошнюю историю, как хотели. Во Франции образовалась целая область Нормандия. В Ирландии, Британии осталась россыпь скандинавских названий. Пишут, что «из 126 деревень на острове Льюис — одном из нынешних Гебридских островов — 110 имеют либо чисто скандинавское название, либо какое-то его подобие»<sup>83</sup>. Дублин был основан викингами. И знаете, что кричали возмущенные дублинцы, пришедшие к причалу, где строители хотели снести древнюю деревянную стену, оставшуюся от построек викингов? Они пришли со щитами и кричали, потрясая ими: «Оставьте в покое наших викингов!» Это было в 1977 году.

Викинги — это пираты, бродяги, бандиты, как они могли, находясь на столь низкой ступени развития, править тут у нас и создавать государство?! Это уже наши восклицания и потрясения именами и фактами, как щитами и копьями.

И Рюрик на самом деле не Рюрик, а Ророг, Сокол. И летописец наврал — летописец новгородский, поправлявший летопись Нестора в угоду своему князю, как доказывает Рыбаков, чтобы принизить роль матери городов русских<sup>84</sup>, — а немцы в Российской академии наук Байер, Миллер, Штрубе, Шлёцер вранье подхватили, да Ломоносов их опроверг. К нему присоединился Третьяковский. «Русь» и «варяги» — слова греческие, мол. И варяги, а следовательно, и Рюрик — это полабские славяне, жившие на севере и востоке современной Германии и на побережье Балтики.

Но так ли уж отличались кривичи и радимичи, поляне и вятичи от варягов? И те, и эти были язычники. Правда, письменность у викингов уже была — руны. Есть какие-то глухие намеки на существование дохристианской письменности и у нас, указание на некие *черты и резы*. Но, во-первых, никаких археологических подтверждений этому нет. Во-вторых, не относится ли это упоминание к викингам, сиречь варягам? Черты и резы ведь это и руническое письмо.

Руническое письмо, впрочем, это еще не книжная культура, она возникла только с принятием христианства примерно в то же время, что и у нас.

У викингов формировались феодальные отношения, во главе общины стоял вождь, но решения он принимал вместе с общиной, собранием, называемым тинг, это то же самое, что наше вече. К X веку тинг превратился в альтинг и тинвальд, по сути, первые в Европе парламенты, а вождь стал именоваться конунгом.

Жилища викингов, даже знатных, богатых, были, конечно, примитивными по сравнению с хоромами бояр и князей на Руси. Это был огромный — 15–30 метров в длину — домище из дерева, а чаще из переплетенных стволов и прутьев ивы, обмазанных глиной; без стекол или бычьих пузырей в окнах, закрывавшихся только ставнями

<sup>83</sup> Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации». Викинги: набеги с севера. М.: Терра—TERRA, 1996, с. 101.

<sup>84</sup> Б. А. Рыбаков. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2018, с. 404.

зимой; по центру горел огонь в очаге, дым уходил в отверстие в крыше; тут же спали, ели, хранили запасы зерна и прочего продовольствия, домашние животные находились в дальнем конце этого жилища. Правда, в избе на Руси люди тоже делили кров с коровами и овцами. Но в княжеских хоробах было светло, просторно и не так людно. Дом знатного викинга был похож на казарму.

И городов там было мало, историки называют всего три главных города Скандинавии эпохи викингов: Хедебю (Дания), Бирка (Швеция), Каупанг (Норвегия).

Неспроста же викинги называли Русь так: Гардарика, сиречь Страна городов. Новгород, Киев, Смоленск, Изборск, Полоцк, Ростов, Муром, Ладога, Любеч, Псков, Чернигов, Вышгород, Искоростень, Червень и так далее.

Лесов в Скандинавии меньше, зато много гор, ледников. Города на Руси были деревянными. Климат Скандинавии суров, лето прохладное, хотя зимы благодаря влиянию моря и не такие морозные, как на Руси.

Ремесло у викингов было развито слабо, в основном они занимались земледелием, скотоводством, рыболовством и морской торговлей с набегами. Вот мореходами они были весьма искусными: доходили до Африки на своих судах, заселили Исландию, устроили два больших поселения в Гренландии, а сын Эрика Рыжего Лейф доплыл и до Северной Америки. Так что эту страну надо было бы назвать Лейфленд. А что, хорошее название: заменить одну букву «е» на «а», и получится Жизненная страна: Лайфленд.

Ходили на своих кораблях они и через Гардарику: по Неве в Ладожское озеро, оттуда по Волхову в Новгород, по Западной Двине, по Днепру и по Волге.

Были викинги и беспримерно отважными воинами.

На Руси ремесла и города были развиты лучше. И дружинники умели сражаться. Но вот, например, профессиональных поэтов в то время — и еще долго — не было. Я имею в виду скальдов. С сагами, конечно, можно сопоставить наши былины. Но былины возникли несколько позже, а собраны и записаны были и вовсе только в конце XVIII века. Тогда как саги начали записывать уже в XIII веке. Так же как и поэзию скальдов.

Был, как прибой,  
булатный бой,  
и с круч мечей  
журчал ручей.  
Гремел кругом  
кровавый гром,  
но твой шелом  
шел напролом.

Это отрывок «Выкупа головы» Эгиля, знаменитого скальда, написавшего свое великое стихотворение за ночь перед смертью от руки заклятого врага, у берегов его владений корабль скальда разбился, и он был обречен на смерть; за поэта хлопотал приближенный правителя Эйрика Кровавая Секира, но безуспешно, поэт получил отсрочку на ночь и вот по совету друга сочинил хвалебный стих этому Эйрику Кровавая Секира. И прочитал утром. Эйрик отпустил его, что делает ему честь как ценителю изящной словесности. Чем-то этот эпизод напоминает историю взаимоотношений древних арабских поэтов с тамошними властителями: арабы за стих тоже могли щедро вознаградить, но и подвергнуть пытке: бить по пяткам палками, пока поэт не обделается, а то и вовсе обезглавить.

А спасительный стих скальда и вправду хорош:

Серп жатвы сеч  
сек вежи с плеч,  
а ран рогач  
лил красный плач.  
И стали рдяны  
от стали ледяной  
доспехи в пьяной  
потехе бранной.

И скальдов было немало в ту пору. Саги того времени читаешь как захватывающие романы. А исландские саги — это еще и свидетельство о жизни почти анархического мира. Ведь в то время в Исландии, открытой и заселенной викингами, не было государства. Поселенцы шутили, что им ни к чему короли и преступники. (Жаль, что этот опыт закончился бесславно: вожди устроили кровавую череду войн за землю, власть, закабалая крестьян, как и повсюду в Западной Европе; в XIII веке все они решили подчиниться норвежскому трону<sup>85</sup>.)

О чем все это говорит? Для исследователя, считающего весь мир существующим ради Книги, то есть книгоцентриста, — о многом.

Словом, мне кажется ничуть не оскорбительным известие о призвании варягов. Наоборот, если вспомнить мысль славянофилов о том, что народу земли Русской так была чужда идея устройства государства, что он и не хотел сам за это браться, а пригласил исполнителей со стороны, этим можно гордиться.

В русской истории скандинавы оставили свой след, документы и археологические находки ясно свидетельствуют об этом.

Да, в истории, но не в русской душе, это надо признать вслед за Рыбаковым, который говорит, что ни в одной былине нет скандинавских имен, и лишь в былине о сватовстве заморского гостя Соловья Будимировича к племяннице Владимира Забаве Путьичне есть отголоски истории взаимоотношений русских с норманнами. «А. И. Лященко уточнил хронологию этой былины и сопоставил ее со знаменитым сватовством норвежского короля Гаральда Третьего Гардара (1046—1066 гг.) к дочери Ярослава Мудрого Елизавете. Русская княжна первоначально отказала норманнскому конунгу; он, как мы знаем из его собственной песни, долго горевал о том, что „дева русская Гаральда презирает“, и снова отправился в путешествие. Он побывал в Византии и в Италии. После вторичного предложения Елизавета Ярославна согласилась стать женой Гаральда и уехала с ним в Норвегию»<sup>86</sup>.

Нет скандинавских имен и на карте нашей страны: ни городов, ни деревень, ни речек.

И это свидетельствует, скорее всего, о том, что влияние норманнское было подобно молнии: сверкнуло и прошло. А Новгород с Киевом соединились бы и без этой сверкающей сварки.

Взять хотя бы Смоленск, сто пятьдесят лет он был польско-литовским, и что? Снова вернулся. Ибо дух этого города русский. Таков же был дух и всей земли времен Рюрика.

### 39

«В Смоленской земле, — пишет Алексеев, — варяжские вещи и погребения появляются тоже в 9 в., но, видимо, несколько позднее. Таковы равноплечная фибула из

<sup>85</sup> Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации». Викинги: набеги с севера. М.: Терра—TERRA, 1996, с. 139.

<sup>86</sup> Б. А. Рыбаков. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2018, с. 107, 108.

д. Клименка на берегу Каспли (2-ая четверть — конец 9 в.), редчайший скандинавский полубрактеат, чеканенный в Хедебю (Дания, около 825 г.) и найденный в кладе у деревни Кислая на притоке р. Каспли Жереспее, овалыные фибулы с кольцом, щипчики, ланцетовидные стрелы, мечи из курганов у д. Новоселки к северо-западу от Смоленска, наконец, вещи из самых ранних курганов Гнездова (т. е. древнейшего Смоленска), где встречены также равноплечные фибулы и другие норманнские древности, а также диргеми Аббасидов...»<sup>87</sup> В Гнездове обнаружено и варяжское погребение в ладье. Алексеев указывает и другие скандинавские погребения на Смоленщине.

Алексеев отвергает мысль о том, что древнейший Смоленск был основан варягами. Но в то же время признает, что «в Гнездове, мы видели, особенно сильна была связь со Скандинавскими странами, а весь характер памятника, как недавно доказано, близок многим поселениям Скандинавии»<sup>88</sup>. И соглашается, что «в некоторых случаях варяги были основателями таких административных пунктов по сбору дани»<sup>89</sup>. То есть Гнездово на самом деле очень похоже именно на такие пункты, как Тимеревское поселение в ярославском Поволжье и в Старой Ладогге.

А если Смоленск, как Дублин, основали викинги, что это меняет? Отменяет ли это неповторимость древнего города? Умалает ли все героические деяния смолян?

Вообще в этих яростных спорах о норманнах есть какой-то расистский привкус. Или просто затхлое дыхание политики.

Примерно об этом же писал историк С. М. Соловьев более чем полтора столетия назад: «Скажут: славяне должны были обратиться к своим же славянам, не могли призывать чужих, но имеет ли право историк настоящие понятия о национальности приписывать предкам нашим 9 века? Мы видим, что племена германское и славянское, чем ближе к языческой древности, тем сходнее между собою в понятиях религиозных, нравах, обычаях; история не провела еще между ними резких разграничивающих линий, их национальности еще не выработались, а потому не могло быть и сильных национальных отклонений. Последующая наша история объясняет как нельзя лучше призвание варяжских князей: после новгородцы и псковитяне охотно принимают к себе на столы князей литовских, да и вообще в наших предках мы не замечаем вовсе национальной нетерпимости: немец, лях, татарин, бурят становились полноправными членами русского общества, если только принимали христианство по учению православной церкви (...), но в половине 9 века (...) поклонник Тора так легко становился поклонником Перуна, потому что различие было только в названиях»<sup>90</sup>.

Смешной фильм как-то довелось посмотреть, снят в 2010 году, называется «Ярослав. Тысячу лет назад». В нем рассказывается о начале деятельности Ярослава, прозванного потом Мудрым. В его подчинении есть варяг Харальд. Этот варяг без памяти любит русскую девицу, которую хотят выдать за Ярослава против ее воли. Ярослав попадает в плен к племени «медведей». Харальд оказывается полной скотиной, пытается отравить Ярослава, убивает свою любимую, хватается за сына Ярослава в качестве заложника и в конце погибает от княжеского меча.

Что тут смешного? Да то, что у князя Ярослава Мудрого на службе действительно был Харальд, викинг, точно такой наружности, что и в фильме: с соломенными волосами и приятным лицом, как его описывают в документах. Будучи родственником убитого в Норвегии короля, он перебрался в Гардарику и поступил на службу к Ярославу. Служил верой и правдой. Да влюбился в его младшую дочь. Но Ярослав не хотел отда-

<sup>87</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 81, 82.

<sup>88</sup> Там же, с. 141.

<sup>89</sup> Там же, с. 104, 105.

<sup>90</sup> С. М. Соловьев. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1—2. М.: Астрель, 2001, с. 98.

вать дочь за королевского отпрыска без королевства. Две другие его дочери были отданы за королей: Франции и Венгрии. И тогда Харальд отправляется в Царьград и поступает, как и многие его соотечественники, на службу в личную охрану императора, добывается звания начальника этой охраны, совершает множество подвигов, становится владельцем великих богатств, возвращается в Киев и кладет все к ногам возлюбленной, ну, или, точнее, к стопам великого князя, ее отца. И тот отдает дочь за героя с соломёнными волосами. Через пару лет Харальд с женой отбывает на родину и добывает себе королевскую корону. Вскоре он приобретает прозвище Харальд Суровый, потому что беспощадно расправляется с врагами. Он воюет с датчанами, шведами, англичанами, основывает Осло, но и не помышляет о Гардарике. В отношении своего тестя он безупречен. Погиб Харальд Суровый в Англии в сражении за королевский престол.

Ну, можно сказать, что создатели фильма вывели собирательный образ викинга-варяга, не имеющего никакого отношения к исторической личности. Но зачем давать ему внешность и имя скандинава, зятя Ярослава? К чему путать доверчивого зрителя?

Ну как, ответит, наверное, режиссер и сценарист, чего тут непонятного? Варяг — он же представитель Запада, Гейропы.

Да, антизападничество сейчас в моде, в фаворе у нашего правителя и его команды.

«Россия, Восток и Запад — вот мировая тема, над которой предстоит работать нашему поколению и поколениям ближайшим. В этой теме, указанной нам славянофилами, сходятся все нити»<sup>91</sup>, — подводя итог деятельности всех славянофилов и Хомякова в частности, писал Бердяев.

Вот новое поколение и работает.

Бердяев замечал, что «в плоть и кровь России, в быт ее вошли элементы нехристианского Востока и отравили ее»<sup>92</sup>. Восточный деспотизм и питает нынешнюю власть, интоксикация очевидна.

Сами славянофилы Запад критиковали, но не отвергали. Большинство же у нас сейчас отвергает Запад, пользуясь при этом всеми достижениями западного ума. Ну, хоть тем же компьютером.

Послушайте Хомякова: «Неразумно бы было не ценить того множества полезных знаний, которые мы уже почерпали и еще черпаем из неутомимых трудов западного мира; а пользоваться этими знаниями и говорить об них с неблагодарным пренебрежением было бы не только не разумно, но и нечестно»<sup>93</sup>.

Вообще, Хомякова хочется цитировать и цитировать. Любовь его к России была зрячей, а не слепой.

«Умножать войска, усиливать доходы, устрашать другие народы, распространять свои области, иногда не без неправды, — таково было наше стремление; вводить суд и правду, укрощать насилие сильных, защищать слабых и беззащитных, очищать нравы, возвышать дух — казалось нам бесполезным»<sup>94</sup>. Да полноте, сто сорок лет назад это говорено или буквально сегодня?! Это же буквально программа нашего сегодняшнего президента и правительства.

...Но вернемся на этой реке времени ко дню... какому? Уже стала общим местом сентенция о разном течении времени в столице и в провинции, тем более — в лесу, на реке. Время здесь, конечно, другое. А у меня, совершающего путешествие за книгой об Оковском лесе, оно и подавно иное. Тут рядом мои незримые спутники — волхв Хорт и вержавский мальчишка Спиридон.

<sup>91</sup> Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Т8RUGRAM, 2018, с. 254.

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> А. С. Хомяков. Философские и богословские произведения. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 243.

<sup>94</sup> Там же, с. 353.

И я выхожу с ними на дорогу Осташков—Андреаполь—Западная Двина (город).

У меня тележка с кое-как притороченными вещами. Особенно я не старался все укладывать, потому и получился целый цыганский ворох. Это меня озадачивает. Как пойду шестнадцать километров? Ведь именно так я и хотел сделать: волок так волок. Чтобы хоть в малой мере почувствовать тяготы волочения. Сизые облака над озером пугают возможностью дождя. Мимо проезжают автомобили. Некоторое время я просто стою и поглядываю на ближайšie дома с цветочками на подоконниках и заборами, окидываю взглядом мой скарб, отгоняя беспощадную мысль о новой настоящей укладке всего... Поднимаю руку и голосую. Первый же водитель разводит над рулем обеими руками, мол, он бы с радостью, но... Не знаю, что ему помешало, вроде один едет, автомобиль вместительный. Кто-то просто не обращает внимания на бомжеватого автостопщика в тельняшке с горькой барахла. Едут и едут мимо. «Почто ты так-то машешь?» — мог бы спросить Хорт. Но разве в его времена не помогли путнику торговцы, дружинники? Ведь и самого Хорта со Спиридоном подберут викинги, и они поплывут на их ладье дальше. «Вы же сами со Спиридоном стопили викингов», — ответил бы я.

Викинги ходили по Западной Двине, называя ее Дюной.

В «Саге о Хрольве Пешеходе» сказано: «Поплыли они вверх по реке Дюне и грабили там по обоим берегам, жгли постройки и отнимали скот [везде], куда бы ни приближались. Много людей оказалось у них в руках, и поэтому стало у них много войска». В этой же саге есть ссылка на героя другой саги — «Саги об Ингваре Путешественнике»: «Эта река — третья или четвертая среди самых крупных рек в мире. Истока этой реки искал Ингвар Путешественник, как говорится в саге о нем». До этого речь шла о Дюне, то есть о Западной Двине.

Вблизи озера Меларен в Швеции установлены камни с руническими надписями о путешествии этого Ингвара. Его прозвали Ингвар Путешественник. Он был то ли сыном шведского короля, то ли сыном принца, в общем, рассчитывал на достойное положение. Но король отказал ему в звании конунга. И тогда Ингвар отправился в экспедицию на кораблях в Гардарику.

Это было во времена Ярослава Мудрого, в 1036—1042 годах. Любили викинги этого князя. Да ведь он был женат на шведской принцессе Ингигерде, или Ирине порусски. И эта женщина была под стать своему мужу, прозванному Мудрым; участвовала в государственных делах и даже возглавляла войско в одном сражении. Да приняла православие и основала первый на Руси женский монастырь.

Ингвар пробыл какое-то время на службе у Ярослава Мудрого и узнал о трех больших реках Гардарики. Великой почиталась средняя. Сага не называет никак эту реку, но что за река великая течет на восток по Гардарике? Конечно, Волга. Ингвар пошел по ней на Восток. Как уточняет рунический камень из Швеции: «Они храбро пошли за золотом и на востоке орлу отдались, они умерли в земле Аббасидов».

Они видели в плавании разные чудеса, видели гигантский дом, серебряный котел и его владельца великана, стоящий на земле полумесяц, дракона на золоте, город из мрамора, гостили у языческой царевны. По-видимому, они пересекли Каспийское — Хвальинское, или Хазарское — море. Сражались. Но большая часть дружины полегла от неизвестной эпидемии. Сын Ингвара потом повторил поход отца.

В саге упомянуты три реки Гардарики. Правда, сказано, что текут они с востока. С востока течет только одна из рек Оковского леса — Дюна, сиречь Западная Двина. А Волга течет — на восток. Днепр — с севера на юг.

Но для меня три главные реки Гардарики, как понятно уже вам, это Днепр, Волга и Дюна.

И сейчас я чаял перебраться на Дюну.

«Путь из варяг в греки начал функционировать в 9 в., он проходил через главный водораздел европейских рек и пересекал, следовательно, как мы говорили, Смоленские земли кривичей, что не могло не сказаться на их развитии. С нашествием половцев на южнорусские земли значение этого пути снизилось, а с усилением торгового значения Западной Двины и возникновением в ее устье Риги (1201 г.) и вовсе приобрело почти лишь местное значение. Меридиональный путь прошлого уступил место широтному по Западной Двине»<sup>95</sup>. И Смоленск тогда был «окном в Европу», а точнее, речным портом, связывавшим европейские порты и остров Готланд на Балтике с Русью. И главной дорогой здесь и была Дюна, Западная Двина.

...А все автомобили пронеслись мимо. Как вдруг остановился один с небольшим кузовом. Дверцу открыл, похоже, армянин в грязной спецовке.

— Э, чиво? — спросил он.

— Мне на озеро Охват.

Он обернулся к водителю тоже в рабочей одежде, и они о чем-то переговорили на своем языке.

— Э, знаешь, ми нигде ни ту... ни то...

То есть, как понял я, не туда едут. Поблагодарил их, и они уехали. Да и хорошо, а то ведь кузов у них был перепачкан глиной, там валялись ведра и лопаты, не знаю, как бы я ехал.

Ну, волок так волок, решил уже я, да вдруг проехавшая мимо «буханка» затормозила, дверца открылась:

— Куда?

— Охват!

— А мы туда и едем!

Из кабины выпрыгнул парень с перебитым носом и помог загрузить мои вещи. И мы помчались на этой раздолбанной «буханке» к Дюне.

У магазина затормозили, парень этот лихого вида сбегал за двухлитровой бутылкой пива, на ходу поздоровался с такими же ребятами у дверей, и мы покатали дальше.

Долго же ехали. И я прикидывал, как осуществлял бы здесь историческую реконструкцию волока. И радовался, что эти пацаны помешали моему предприятию.

Мы въехали в какой-то поселок, пересекли мост, и машина затормозила. Я вынул деньги. Водитель сразу отказался, мол, да что тут ехали, ну, двадцать пять кэмэ, по пути ж было! Но его тертый и уже чуть закосевший от пива товарищ с перебитым носом велел деньги взять — на бензин. Простоватый и честный водитель продолжал упорствовать. И тогда его товарищ сам взял две сотни и снова помог мне выгрузиться.

Махнули на прощание руками и расстались.

Внизу текла широкая река. На дорожной железной табличке у моста было написано: ЗАПАДНАЯ ДВИНА.

Дюна!

И я начал таскать вниз экспедиционное добро.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### 40

Ложусь я рано, потому и встаю рано, и вижу первый свет, фотографирую, умываюсь по пояс, не одеваясь, развожу костер, варю вермишель, вынимаю из чехла сковородку, наливаю туда подсолнечного масла, крошу лук, чеснок, посыпаю солью, кладу нарезан-

<sup>95</sup> Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9–13 вв. М.: Наука, 1980, с. 81.

ную колбасу с салом и поджариваю это, а потом высыпаю туда вермишель и снова поджариваю, стараясь поджарить вермишель до легкого хруста, вешаю на огонь котелок с водой для чая и усаживаюсь на сидушку с воздухом уже с высохшей бородой, тут пора и тельняшку натянуть, чтобы комары не донимали.

Передо мной большая сковорода с ароматным дымящимся жаревом, в двух шагах озеро, тростники, мой берег в тени, а вот противоположный в солнце. И чем меньше вермишели на сковороде, тем выше солнце встает и тем ярче разгораются сосновые стволы противоположного берега, а зеленые кроны просто ликуют, поют зеленую песнь бытия. Мышцы мои ноют после вчерашней гребли против ветра, да и каждое утро так, и это доставляет удовольствие и хочется снова дать работу рукам, плечам, прессу, спине, скорее сесть в лодку и выгребсти в самое нутро утра сияющего, блестящего, зеленого, золотого. Хм, поэзия скальдов неотступно преследует меня на Дюне, уча аллитерации.

В ладье викингов, как я уже говорил, будет скальд Скари, сиречь Птенец чайки. И он лучше меня пропоет славу Дюне.

Все-таки дух викингов силен на Западной Двине. Возможно, это связано не только с сагами и историческими сообщениями, но просто с самим названием реки.

Но здесь, на озере Охват-Жадень, меня охватывают другие ассоциации, когда я оставляю «карельский» берег и выгребая к солнечным соснам. Оглядываю озерные дали с бескрайними лесами и чувствую себя индейцем из романов Фенимора Купера, героем «Песни о Гайавате»:

Если спросите — откуда  
Эти сказки и легенды  
С их лесным благоуханьем,  
Влажной свежестью долины,  
Голубым дымком вигвамов,  
Шумом рек и водопадов,  
Шумом, диким и стозвучным... — и т. д.

Гребу под августовским солнцем и вскоре снимаю тельняшку, так тепло и даже жарковато. Озеро в утренние часы спокойно. Тихо, лишь иногда резко кричит сойка. И ни одной моторки.

Но чуть позже мимо проплыл рыбак. Да снова тихо и безлюдно. Сегодня понедельник, это тоже надо иметь в виду. И это странно. Все дни в походе вытягиваются в одно ВОСКРЕСЕНЬЕ. Горожанин в этот огромный день и впрямь воскресает. День, два, три привыкает, а через неделю уже смотрит острее, дышит свободнее, чувствует лучше. Городская оболочка сорвана. Философ Георгий Гачев, наблюдая, как жена снаряжает его сынишку в школу, лаская и все стараясь предусмотреть, приходит к неожиданному выводу, что и любой горожанин — балованный ребенок, «весь в услугах — „удобствах“ — лифт, газ, вода, электричество, телефон, отопление, автобус, магазин, парикмахерская, телевизор, транзистор, газета...»<sup>96</sup> Все это Гачев назвал посредником, кожей, «через которую и не продохнешь до чистого воздуха, не вырвешься в вольный Космос. Потребности и отправления самого распролетария сегодня разветвленное, чем у короля Артура: ему больше надо, а обслуживает его фактически, в силу разделения труда и обмена, весь мир: от Ямайки до Исландии...»<sup>97</sup>

В наше время «кожа-посредник» стала еще толще: мобильник, плеер, переговорное устройство, GPS, Интернет, электросамокат, развивающий скорость до 25 киломе-

<sup>96</sup> Георгий Гачев. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995, с. 288.

<sup>97</sup> Там же.



тров в час, аудиокниги, кухонный комбайн, пылесос, который сам включается в нужное время и сам убирает пыль и выключается...

Так что «каналы сообщения с бытием» еще сильнее перекрыты. «Он скорбит, что нечем уплатить за телевизор, и не замечает, что скорбеть-то ему нужно, что естественные ему дары: зрение, слух, воздух и свет — благодаря приманке телевизора у него отобраны и что попался-то он не на живца, а на мертвеца — на механического соловья»<sup>98</sup>.

Вот странник и разрывает эту искусственную кожу, в которой нечем уже дышать, и выпрыгивает в живой космос.

И у меня, например, отключен мобильник в походе. Часто и в городе. Жене я отправляю по вечерам сообщение: ок. Мол, все в порядке. Но связь зачастую просто отсутствует, и я тайно рад этому. Ведь этого и жаждет странник — уйти в полный, как говорится, отрыв. Плеер у меня есть, но я его обычно слушаю один-два раза за поход. Сейчас еще ни разу и не слушал. И без него услышал «От Волги к звездам».

И я не знаю, что происходит в мире. Разгорелась ли война в Сирии с новой силой. Объявили импичмент Трампу или нет. Запустила Северная Корея очередную боевую ракету или нет. На свободе ли Навальный. И не скрылся ли в тувинской тайге наш президент, как Александр Первый. Ну, то есть царь, по одним предположениям, скрылся не в тувинской тайге, а где-то вообще в лесах. Как вдруг был обнаружен едущим на телеге неизвестно откуда и неизвестно куда. Но известно где: в Пермском крае, возле кузни, где он решил подковать лошадь. Этот кузнец и донес о странном старце. Звали его Федором Кузьмичом. После наказания за бродяжничество он странствовал в Томской земле. Там и помер. Говорили, что это раскаявшийся государь Александр Первый. В чем он раскаивался? В участии в убийстве отца Павла, да и мало ли в чем можно раскаиваться царю, вершителю судеб? И нашему президенту. Но как заметил один исследователь, предположение о добровольной отставке в силу особенностей характера: властолюбие, упорство, хитрость, — наивно.

А хорошо все же, думаю я, взмахивая веслом, что те времена, когда могли вот так запросто тормознуть тебя и дать двадцать ударов кнутом, а потом сослать в Сибирь за бродяжничество, миновали. Остановили бы меня в поселке Охват, где озеро сужается до десятиметровой речки под мостом, и поди доказывай, кто ты такой есть, отшельник ли, литератор, царь или президент. Тем более с аппаратом фотографическим. Прокудин-Горский получил специальное разрешение от государя на поездки по России и фотографирование людей и мест.

У меня никакого разрешения ни от кого нет. Но что-то заставляет идти по рекам вокруг Оковского леса — и через лес. Неужели та фраза из предыдущей книги об этом лесе? И всего-то? Это и есть зерно?

...Удачно прохожу под мостом поселка Охват, никем не остановленный и не допрошенный, и плыву дальше, теперь уже точно в ту сторону, куда уходит эта река Дюна.

Озеро и вправду сузилось до широкой реки, но через несколько километров снова нырнуло под автомобильный мост и уже вольно распахнулось меж берегов, покрытых гайаватскими лесами.

Рукава озера уходили в разные стороны, и надо было сверяться с компасом и картой, чтобы не заблудиться, как викинги под предводительством Сньольва. Да, они плутают в этих лесах на своем корабле. Сньольв — средних лет викинг, но уже с белой прядью в бороде и в чубе. Имя его означает Снежный волк. А волхва звали — Хорт. На том и сойдутся...

Я положил весло, вытянул ноги по бортам, закинул руки за голову и навалился спиной на мешок на корме, глядя в небо.

<sup>98</sup> Там же.

Задувал откуда-то из рукавов Стрибожьих ветер, и лодку слегка покачивало. По небу шли облака — стаями зимних горностаев.

Эти ветры снова нанесли напевы «Слова о полку Игореве» — с далекого Днепра.

С поэзией скальдов нашу поэму нельзя сравнивать, хотя исследователи охотно делают это. Но, на мой взгляд, не та, как говорится, весовая категория, а точнее, высота. «Слово...» выше поэзии скальдов. Наверное, «Слово...» можно было бы сравнить с сагами, но саги записаны прозой. «Слово о полку Игореве» тоже проза, но столь поэтичная и тонкая, что ее и называют поэмой.

Интересно сравнивать «Слово...» с «Задонщиной». Критики достоверности «Слова...» говорят, что как раз «Задонщина» и послужила основой «Слова...».

«Задонщина» была создана, вероятно, в XIV веке, через двести лет после «Слова...». Кстати, «Задонщиной» памятник назван только в Кирилло-Белозерском списке, а в остальных сохранившихся списках — «Словом о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче».

Вообще, у «Задонщины» нет той живости, яркости и легкости, что свойственны «Слову...». Это, конечно, еще не аргумент в пользу старшинства «Слова...». Но посмотрим дальше. Вот автор «Задонщины» пишет: «а лисицы на кости брешут». Как было в «Слове...»? «...Лисицы брешут на червленые щиты». Насколько это точнее и ярче! Щиты красные, и цвет их раздражает лисиц. А в «Задонщине» эти щиты уже как будто обглоданы. Куликовская битва еще не произошла, откуда же кости? Автор как будто невольно признался, что позаимствовал этих лисиц у автора «Слова...», минуло уже двести лет с тех пор, одни кости и остались для лисиц.

А вот и главный аргумент: если у автора «Слова...» на стене по мужу плакала одна Ярославна, то в «Задонщине» «запричитали все княгини и боярыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича Марья рано поутру плакала на забралах стен московских, так причитая: „О Дон, Дон, быстрая река (...)“ И жена Тимофея Волуевича Федосья тоже плакала, так причитая: „Вот уже веселие мое поникло (...)“ А Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья на рассвете причитали: „Вот уже для нас обеих солнце померкло (...)“». Это обычно и делают подражатели: усиливают понравившиеся моменты, доводя иногда все до абсурда.

То, что именно «Слово о полку Игореве» было источником вдохновения автору или авторам «Задонщины», очевидно простому читателю. А ученые тоже говорят свое веское слово. Современный лингвист А. А. Зализняк, пишет в Википедии, сравнивая оба произведения, пришел к выводу, что целый ряд лингвистических параметров демонстрирует зависимость «Задонщины» от «Слова...», но не наоборот (частотность союзов в различных частях текста, поновления грамматики, искажения и перетасовки ряда пассажей, наиболее естественно выглядящих в контексте «Слова...»).

«Задонщина», конечно, замечательный памятник нашей словесности, но «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»: в сравнении со «Словом...» это конь, а уж «Слово...» — трепетная лань. Хотя оба Слова и тянут воз нашей словесности к какому-то горизонту.

...Правда, все чаще кажется, что мы-то уже за горизонтом, в потемках... Но — не будем о грустном.

Воспоминание о «Слове...» всегда бодрит, как умывание в родниковой воде. И смотришь на мир, смаргивая чистые капли ресницами, и они радужно сияют, манят в те половецкие дали...

Но ведь и здесь, на янтарной дороге, здорово?!

Еще бы!

## 41

Великим янтарным путем называлось направление от Балтики на Италию через земли европейских стран. По Днепру и Западной Двине проходило одно из ответвлений этого пути. По Днепру янтарь попадал в Царьград и дальше в Средиземноморье. По Западной Двине и Волге — в Персию и дальше на Восток, в Китай.

Янтарь и соколов-кречетов и везли викинги под предводительством Сньольва, Снежного волка, на Восток.

«Помимо шерсти, исландцы вскоре начали экспортировать такие товары, как сыры, жир, соленая рыба; европейская и арабская знать высоко ценила местных соколов»<sup>99</sup>. О них и у Никитина речь.

На обед я остановился все еще на озере Охвват-Жаденья в одном из заливов, на низком берегу под дубами. Дубы там росли не старые, но кривые все. А вот чуть подалее стояли мощные серые старцы с обломанными головами, каменно-сухие, похожие на какие-то языческие монументы, позади коих темно желтели броней строевые сосны, — а когда пыhalo из-за облаков солнце, то и сверкали своей кольчугой. Видно, сюда били молнии, что так дружно закаменели эти дубы-старцы. И главы с них посшибал Перун, а то и Тор своим молотом. Хотя дуб и есть древо Перуна.

Тор, Один, Фрейя — эти боги и богиня викингов начали, так сказать, свое сопровождение на «волоке» с Волги на Дюну. Ну, может, даже чуть раньше... Да нет, именно попав в бассейн Западной Двины, я начал о них думать. Рерих, скальды, саги к ним и вели.

Посредине языческого скандинавского мира стоит ясень Иггдрасиль, по которому можно попасть из мира людей Мидгарда в мир богов Асгард с раем для убиенных в сражениях воинов — Вальхаллой, а корнями уходит в царство мертвых Хель. В небесах обитают валькирии, а среди корней норны, это богини судьбы. В кроне еще обитает орел, у корней змей, на земле у ясеня пасутся четыре оленя, они поедают листья Иггдрасиля. Белка бегаёт по стволу, соединяя оба мира... Тут-то и вспомнится *мысль* Бояна из «Слова о полку Игореве».

«Боян вещей, если кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облака».

Высказывается предположение, что переписчик отредактировал это место по-своему, и получилась «мысль», а была «мысь», сиречь белка по-древнерусски. Кстати, это древо из «Слова...» тоже напоминает космический ясень скандинавов. Речь не о заимствованиях, разумеется, и не о влиянии одной мифологии на другую, а, скорее, о параллельных местах.

Был еще у скандинавов и радужный мост Биврест. Были карлики и великаны.

Один отвечал за магию и пророчества, Тор — за благополучие земледельцев, Фрейя — за любовные отношения. Один покровитель воинов, господарь Вальхаллы. Тор — громовник. Фрейер обеспечивал мир и плодородие. Ульв — бог стрелок из лука и лыжник. Локи — плут и насмешник, посредничающий между богами и великанами. Ньерд отвечал за море и судоходство. И был еще бог скальд Браги.

О Торе пишут как о белом шамане, а о Локи — как о черном<sup>100</sup>.

Если сравнивать мифологию скандинавскую с древнерусской, то надо признать очевидную разработанность первой. Мы ничего не знаем о деяниях русских языческих богов, не сохранилось ни одного сюжета. Например, подобного добыванию меда поэзии.

<sup>99</sup> Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации». Викинги: набеги с севера. М.: Терра—TERRA, 1996, с. 127.

<sup>100</sup> Германско-скандинавская мифология. В кн.: Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М.: Советская Энциклопедия, 1991, с. 290.

Отсюда и богатство средневековой германо-скандинавской и исландской литературы.

Снорри Стурлусон уже в XIII веке написал своеобразный путеводитель по древней мифологии и вообще такой учебник для поэтов «Младшую Эдду». Ну, вы же помните, что у нас впервые опубликовали былины только в начале XIX века?..

Почему-то языческая мифология не вызывала, например, у создателя «Слова...» или у кого-то еще, хоть и у Нестора, желания записать ее. Скорее всего, из-за ее бедности, а не из христианского неприятия.

Надо признать и то, что русская литература дремала несколько веков. Исключение — «Слово о полку Игореве».

...А может, и был миф, вот, об Охвате, озерном божестве, раскинувшем длани-рукава во все стороны в попытке объять весь мир? Да записали его на бересте, и та береста сгорела, скорее всего, как и первая смоленская летопись, и многое другое на Руси, ведь и список «Слова...» тоже сожрало пламя. А ведь это могло случиться и раньше, прежде чем «Слова...» оказалось в руках у собирателя древностей и обер-прокурора Мусина-Пушкина.

## 42

Да, после озерной шири река показалась очень быстрой. Но точно можно сказать, что течение Дюны сильное. И река совершенно похожа на таежную. По берегам леса стоят во мхах, как бояре в мехах, шапки пышные, сверкают остями, бороды курчавятся. Уже вообще никаких моторок.

Я что-то читал о перекатах сразу после начала реки, но не придал этому значения и подзабыл. И плыл утром, фотографировал, как вдруг оказался на перекате, лодку подхватило, понесло, волны перехлестнули через борт. Но я не внял, как говорится, предупреждению и, пройдя перекат, попытался его сфотографировать снизу, а течение влекло меня дальше, и внезапно снизу накатил шум, я оглянулся и увидел другой перекат, да, пожалуй, уже и не перекат, а порожек. Сунул фотоаппарат в маленький гермомешок, схватился за весло, быстро соображая, куда направить лодку. Можно было уйти в правый рукав, но я послал лодку прямо и тут же увидел, что меня ожидают довольно высокие валы с гривами. Попытался лихорадочно выгresti назад — куда там! Как комарик, бил беспомощно лапками. Вдруг руки утратили всю силу. Стали как будто невесомыми, и все, ни на сантиметр не смог продвинуться. Но там было противотечение, и оно меня отнесло в крошечную заводь у островка, и я схватился за свисающие ветки, уф, перевел дыхание, озираясь на шумящий порог. Кое-как вылез на островок, прошел на его мыс, посмотрел на грозные валы, оценивая, смогу ли пробиться сквозь них. Решил не рисковать, выгрузил вещи и за веревку провел лодку назад, в правый рукав, по нему уже протиснулся среди кочек и трав, выскочил ниже порога, а дальше сразу был очередной перекат. Волна снова захлестнула, но ничего, благополучно скатился вниз, чувствуя, что мое восхищение Дюной только нарастает. Янтарный путь, клокочущий в камнях среди янтарных сосен! Будь я скальдом, сочинил бы янтарные висы с рефреном: а от Нины ниток несть вестей.

Я плыл дальше. И еще до обеда дошел до города Андреаполя. Со школьной скамьи это название будило мое воображение, мерещилась какая-то греческая колония посреди тверских бескрайних лесов, озер и рек. И сейчас, подплывая к городу, снова испытывал те же давние чувства, вспоминал и гиперборейскую лебединую дорогу.

И вот вдалеке над деревьями увидел взметнувшийся в небесную синь столп. Что-то подобное я и ожидал увидеть и все-таки удивился. Так необычен был вид этого высокого сооружения. Словно над тверскими лесами ввысь устремился Александрий-

ский столп. Течение влекло меня навстречу этому сооружению. И вскоре я его хорошенько рассмотрел. Это была просто кирпичная труба, только очень высокая и одинокая. Циклопическое сооружение. Поблизости не виднелось никаких зданий, или их скрывали деревья. И труба эта торчала загадочным Андреапольским столпом. На самом верху можно было различить следы разрушения. Труба, судя по всему, была недействующей.

Вместо лебедей гиперборейских на реке возле серого дома плавал белоснежный, красноклювый, крепко сбитый гусь. Я с ним вежливо поздоровался. Андреапольский гусь не удостоил меня ответом. И я поплыл дальше. Слева и справа у воды стояли дома, некоторые с широкими балконами прямо над водой, на железных столбах, а у некоторых столбы были деревянные, и они уже подгнивали и заваливались. Как я понял, город Андреаполь преимущественно деревянный. А все кирпичные здания, которые мне удалось увидеть с воды, были полуразрушены. И это снова навевало какие-то ассоциации с развалинами Эллады. Особенно странное впечатление производили заброшенные здания из новенького белого кирпича. Возле одного деревянного жилого дома у воды мне удалось узреть какой-то явно старинный домик из потемневшего красного кирпича с забранными железными листами окнами. Что это такое? Угадывались даже небольшие колонны.

Но балконы на задних дворах над рекой меня удивляли не меньше всего остального. Зачем это? Чаи распивать над грязной и весьма неприглядной здесь рекой? Или удить рыбу? От воды скверно воняло.

Вонючая река вынесла меня к мосту и набережной с бетонной площадкой и лавочками, фонарями с одной стороны моста и с памятным знаком на другой стороне моста, там я и причалил, чтобы сходить в магазин и пополнить запасы вермишели, консервов, лука и водки. Памятный знак представлял из себя большой каменный крест и стелу с маленькой каменной ладьей.

Из города я вышел через своеобразную арку. Это был экзотический пешеходный мост через реку — железный, но с деревянным настилом и у берегов на огромных деревянных сваях, уже ветхих, покосившихся. Того и гляди, рухнут. Но как раз когда я проплывал под мостом, по нему отважно шла девушка с сумками.

Наступало время обеда, но я нигде не мог найти удобного причала. Вода после дождливого июля и августа была высокой, неслась сквозь тростниковые густые заросли и кусты. Наконец я свернул к рыбацье стоянке. Берег был голый, неудобный, по нему проходила проселочная дорога, на обочине громоздились песчаные холмики, чуть поодаль росли молодые сосенки. Я сразу подумал, что такие места любят гадюки. И точно, приехавший на старой раздолбанной советской «ниве» рыбак сразу предупредил меня, что чуть в стороне гнездятся гадюки, много гадюк.

— Вот прямо тут, у кострища, их нету, а шаг в сторону, и сразу наступишь, — говорил он, вынимая из багажника снасти.

Да, только я наладил костер под котелками с водой, повесил на молодые сосенки спальник и кое-какие вещи на просушку, как и подъехал этот рыбак, спросил, надолго ли я здесь, не помешает ли он со своей рыбалкой. Я ответил, что только пообедаю и уплыву. Хотя подумал, что рыбак мог бы найти и другое место. Но как я позже узнал, он всегда сюда приезжает, это его место. Да и ладно. Я варил обед, а он налаживал снасти, забрасывал удочку. Мы разговаривали. Познакомились. Звали его Александром Федоровичем. Был он наполовину белорус. Его деда выслал Сталин из Белгородской области в Белоруссию. Дед был, как я понял, старовер. Но от староверства деда у Александра Федоровича осталось только неприятие к кофе и чаю. Когда я ему предложил кофе, он наотрез отказался и объяснил, что никогда не пил его, не пьет и пить

не будет и чаю не пьет, а только иван-чай употребляет, готовит, как положено, чему и свое потомство обучает, а оно у него многочисленное: семь отпрысков, ребят и девчат. А у деда-то было двенадцать. Но от моей похлебки он не отказался. Я так, ради приличия спросил, даже скорее утвердительно возгласил, что похлебку предлагать не буду странническую, вот, мол, кофе, но он, объяснив все про кофе, заинтересовался моей похлебкой: что там? Да гороховая, ответил я. И он воскликнул, что это его любимая похлебка. И пришел со своим стаканчиком. Туда я ему и налил пахучего горохового варева из котелка. Второй ложки у меня не было, и он просто пил свою порцию, да и все. А потом ловил рыбу. И рассказывал о своем житье-бытье, об этом городе, в который он переселился из Белоруссии узурпаторской года два назад, купил дом, строит баню. Об узурпаторе белорусском он отзывался грубо и резко. И тут же начинал спорить со своим братом, оставшимся там, мол, эх ты, недотепа, терпила, чего там делать, дрожать-ждать, пока «воронок» прилетит к калитке, ну?!

— А здесь? — спросил я, покончив уже с похлебкой и приступив к кофе.

Он повел рукой.

— Здесь — воля.

— Ну, все же не та, о которой мы все мечтали, — возразил я.

Он согласился, но добавил, что всяко лучше, чем в Белоруссии.

Александр Федорович в свое время окончил вуз в Минске, работал инженером. А сейчас торгует на дому сапогами «эва», рыбацкими снастями, сам шапки шьет из меха. Я тут же пожаловался на эти сапоги. Да, на озере Охват-Жаденье, выходя на берег из лодки, я напоролся на еловый сучок, попытался дырку заклеить, но бесполезно, так и прыгаю теперь, как цапля на одной ноге.

Александр Федорович сразу предложил мне поехать к нему за новыми сапогами, и вообще, я могу остановиться у него, сейчас его жена с детьми куда-то поехали, так что он один со старшим сыном-неслухом. Обещал устроить баньку даже. От предложения я отказался, а про сына спросил. Он отвечал:

— Да как? Все торчит в Интернете, все в игры какие-то там, и уже ему хочется и чая фабричного, а там и до кофе дойдет.

Я посмотрел в его синие задумчивые глаза.

— А ты чем занимаешься? — спросил он, поправляя камуфляжное кепи на русском вихру.

— Пишу книжки, — отвечал я.

Он тут же спросил мою фамилию.

Когда прощались, он снова спросил, как меня зовут, ну, чтобы сын-неслух в Интернете меня поискал, я напомнил.

— А, — сообразил он, — легко запомнить: Ермак.

И мы расстались. Я пошел дальше, а он остался с удочкой на берегу гадюк.

Рыбак этот обогатил меня знанием о городе Андреаполе.

Когда-то здесь было имение некоего Андрея, оно и называлось Андреяно Поле. И он открыл здесь... курорт в начале XIX века. Потом проложили железную дорогу. Так и возник Андреаполь.

В Великую Отечественную он был сметен с лица земли. Отстроился. Да сейчас снова в разрухе. Только фарфоровый заводик и работает. В городе живет около семи тысяч человек. Чем они все занимаются, Александр Федорович и сам не знает.

Течение помогало мне плыть дальше и дальше, я хотел уйти на приличное расстояние от этого города, чтобы не слышать гудящих машин и не чувствовать городских запахов.

Но под вечер река привела меня к строящемуся через нее трубопроводу. Правда, вся техника уже молчала и сразу ниже по течению по обеим берегам стояла плотной сте-

ной тайга, а в одном месте с берега стекал чистый ручей, выливаясь прямо из-под корней могучей ели. Место было удобное, и я высадился там, нарезал ножом папоротника, постелил его и поставил сверху палатку, забросил внутрь вещи и спальник с ковриком, нарубил орешниковых дров и приступил к приготовлению ужина.

Манная каша не очень-то вяжется с водкой, но я все же выпил. Хотя сразу закусывал и не манкой, а яблоком. Да, у меня еще были те Иоанновы яблочки с Волги, с Ширкова погоста. Споры тут бесполезны. Водка — продукт такой же необходимый в походе, как чай... Ну, не как чай, а все же. Без чая, конечно, совсем нельзя. Как это викинги ходили на одном пиве? То есть из напитков у них было только пиво. Пиво да вода.

...Пьяной пены волны  
Пью из зуба зубра.  
Бедно, бард, обносишь  
Брагой наше брашно!

Лей мне пива! Эльвир  
Бледен ибо с пива.  
Дождь из дрота зубра  
Дрожью в рот мне льется...

А чай на воде из-под корня ели получился чудесный. До этого у меня была вода озерная и речная, что на Волге, что на Охвате, что на Дюне. И вот наконец-то вода чистойшая и свежайшая! И чай разваривается совсем по-другому, цвет его гуще, вкус ярче. Наливаю полную железную кружку. Мед поэзии — для скальдов. Мед странствий — чай.

И сквозь еловые губы ночь скалила зубы звезд.

#### 43

А утро пришло явно осеннее, было очень свежо, почти холодно, пасмурно, листья обрывались с вязов и берез, падали в воду, плыли, крутятся, разноцветными кораблями. Как-то враз осень и дохнула на меня. Хотя до сентября еще надо было плыть три дня.

Поеживаясь, я спускался к реке с мылом, стягивал тельняшку и умывался, как обычно, по пояс. Встряхивался, не вытираясь, и зажигал костер, набирал под корнем ели прозрачную воду в котелки, обсыхал у огня. Доставал сковородку, колбасу, подсолнечное масло, лук, чеснок.

И неожиданно сквозь хмарь осеннюю прорвалось солнце. О брат Солнце! Ради этих встреч и стоит путешествовать по рекам и лесам. Нигде солнце не бывает таким. Тем более в устье летних дней на виду у моря осени.

С суши в сини зыби  
Я сам тогда подался,  
В ширь втыкая щеки,  
Шли суда недавно...

По душе мне эти висы скальдов! В них царит бодрящий дух странствий. Викинги были беспощадные ненасытные воины, но и странники они были великие. Вышли к Гренландии на своих суденышках, дальше к Америке.

В 1991 году потомки викингов построили аутентичный корабль предков и пошли из Норвегии в Америку путем сына Эрика Рыжего Лейфа. Через два с половиной ме-

сяца они достигли американского берега, Ньюфаундленда. «Трудно даже представить, — заметил капитан „Гайи“ норвежец Рагнар Торсет, — каково было плыть без радара по темному ледяному морю»<sup>101</sup>. И не только без радара, но и без дизельного двигателя, электронных навигационных приборов и кают.

Правда, надо добавить, даже все эти новшества не спасли два точно таких же корабля, присоединившихся к «Гайе» у берегов Канады и совершивших плавание вдоль восточного побережья Северной Америки. Позже у берегов Исландии в шторм они затонули. Обе команды выжили. Участь викингов бывала печальнее<sup>102</sup>.

Дюна посвежела после Андреаполя, да вдруг попала небольшая деревня на левом берегу, Лубенькино, хорошее название, но там были две избы, на задних дворах которых прямо в воду сползала безобразная, тошнотворно воняющая свалка. Надо же, сколько могут нагадить две избы! Любопытно, что возле свалки был устроен мосток, на нем лежали рыбацкие снасти. Как пел Летов: свое... не пахнет.

А мне проплывать мимо было невмочь. После такого чудесного утра-то. Утрата какая-то в мозгах некоторых людей явная. И где природоохранные службы?

Мне самому стало смешно от всех этих наивных вопросов и восклицаний. И я просто налег на весло, шел так, что вода бурлила у носа. Дальше, дальше, дальше. Хоть Западная Двина и проходит по лесам таежного южного типа, но все-таки здесь слишком шумно и людно для тайги. Правда, людей я немного и видел за время сплава по Дюне, только вот избы, мосты, столп Андреапольский. Не встречались мне и моторки. Но машины все время гудели где-то рядом. Параллельно реке от Андреаполя шла автомобильная дорога. Но как раз возле Лубенькина река резко поворачивала на запад и уходила в бескрайние леса.

И через пару часов я забыл это тошнотворное Лубенькино, тем более что чистой-шая вода из-под корней ели у меня была в бадейках, девять литров кристальной вкусной воды!

Солнце светило щедро, в воздухе стоял аромат сосновых боров, к которому примешивался запах дубов. С берега на берег перелетали крикливые сойки и пестрые, а иногда черные дятлы.

На обед остановился на высоком сосновом берегу на окраине леса. Здесь было очень светло, сухо, мягко — все устелено мхами. Солнце к обеду светило уже жарко, и я устроил банный день, вымылся, выстирал тельняшку. Да и остался на этом берегу на ночь. Уж больно хорош был тот берег: сосны, можжевельники, тропы косуль. И совершенная тишина. Даже не летали самолеты. То же и над волжскими озерами — не было воздушных трасс, только однажды затарахтел спортивный самолетик да еще вертолет пролетал. А, вспомнил, над озером Пено некий счастливый Икар парил на дельтаплане.

Вечером побродил по лесу, фотографируя солнечные знаки на стволах могучих елей. Эти знаки напоминали руны и уводили воображение к хладным брегам Скандинавии. Больше всего мне нравятся надписи об Ингваре Путешественнике, разумеется. Исследователи утверждают, что коли есть эти руны на камнях, значит, Ингвар — лицо историческое. И ходил он по Дюне и Волге к Каспийскому морю.

Луг Ран гнало к небу  
Ночью в пене мощно,  
Шек бил тучи в щепы,  
Мчал к луне причалить, —

<sup>101</sup> Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации». Викинги: набеги с севера. М.: Терра—TERRA, 1996, с. 32.

<sup>102</sup> Там же.



писал неизвестный скальд о каком-то другом морском предприятии. Ну, чистый Крученых! Рана — жена морского великана, следовательно, ее луг — это море. «Шек» — водорез корабля.

...И спал я в палатке с открытыми входами среди сосен и звезд с можжевельниками, овеваемый сосновым духом и духом речным. И во сне я летал.

А раннее утро настало мягкое, туманное, как эти мхи вокруг. На можжевельниковых иглах висела паутина в каплях ознобной росы. И вскоре уже маковки елей зарделись, где-то за лесами взошло солнце. И я наполнил котелки водой, зажег огонь. Спросил бы кто-то меня, какой это год и день? И я вряд ли ответил бы разумно. На лодке по реке всегда уходишь куда-то в сторону безвременья. Ингвару рассказывали, что где-то в устье река обрывается со скал, и там конец света.

Впрочем, до устья плыть по Дюне еще далеко, думал я.

А оказалось — близко.

#### 44

После завтрака отчалил от берега можжевельника и сосен. Хорошее течение подхватило мою лодку. Минут через двадцать увидел смешную надпись на фанерке, воткнутой над лесной маленькой лавочкой, от которой начинался спуск к воде с земляными ступеньками и рогатками для удочек: «Ерохино место».

Попробуй займи это место, а тут как раз и нагрывает Ероха!

Попытался вообразить этого Ероху, деревенского латифундиста в одежде защитного цвета, в армейском кепи, заросшего светлой щетиной, с беспощадными синими глазами.

Пешком-то если ходить вдоль реки, то намаешься, искавши удобное место для рыбалки. А на лодке — другое дело. Хотя тоже не сразу и не везде можно причалить и вылезти на берег.

Весло играло в моих руках, с него летели брызги.

Плыть, плыть, плыть!..

И ведь почему-то у Рубцова в этом стихотворении фигурирует фиорд. Хотя, возможно, все объясняется его службой: он был моряком Северного морского флота. Наверное, заходил в фиорды Скандинавии или видел их издалека.

Я тоже служил на флоте!  
Я тоже памятью полн  
О той бесподобной работе  
На гребнях чудовищных волн...

Дюна текла в истинно таежных берегах. Мне живо вспоминались такие же берега речек в заповедной тайге. Высоченные ели впивались в чистое жаркое небо. Да, было солнечно, и не скажешь, что самая окраина августа, вот-вот лето оборвется, как та неведомая река из саги об Ингваре Путешественнике, в пучину осени.

Плыть, плыть, плыть...

Дюна предстала в это утро во всей красе: широкая, чистая, стремительная. Она неумоимо несла свои воды среди лесных глухих берегов, высоких и понижающихся.

Всюду лежали мхи дивными коврами, свешиваясь с обрывов, у воды рыжели вихры папоротника. И никого, только я, и река, да беспокойные сойки...

Но с одного берега меня вдруг окликнули. Это было неожиданно.

— Эй, кто вы такой?!

Я оглянулся, но ничего, кроме еловых лап и сосновых веток, не увидел. Течение несло меня дальше. Но голос был отчетлив, молодой, мужской голос. Какой-то рыбак там сидел или подходил к берегу? Может, охотник? Или просто турист? Я снова оглядывался. Никого. И снова царствовала тишина над красавицей Дюной.

Чтобы дать отдых затекшим ногам, я согнул их. Не самое устойчивое положение, зато удобно ногам.

Тут будут идти викинги с волхвом Хортом и мальчишкой Спиридоном. Возможно, в это же время года...

Впереди была быстрина, но я не обратил на это внимания и продолжал сидеть, выставив колени. И лодку после быстрины начало поворачивать поперек течения, там вода заворачивалась таким вихрем глубинным. Внезапно я почувствовал, что теряю равновесие. Мгновение — и я наклонился над течением и ухнул в воду. Лодка перевернулась, я ушел под воду с головой. Тут был момент какого-то резкого замедления, вот между мигом переворота и выныриванием. Словно на секунду все замерло, и я был под водой, как будто в раздумье...

И тут же вырвался из воды, хватая воздух разинутым ртом, отплевываясь, дико озираясь. Сразу увидел уплывающую вниз солдатскую камуфляжную шапку и не так быстро сообразил, что это моя шапка и есть. И она куда-то уплывает без меня. Первым делом я схватил весло. Или вообще не выпускал его из рук? Одной рукой держал весло, а другой пытался вцепиться в лодку. Но лееров по бортам у лодки не было, не предусмотрены, а зря. И рука соскользнула с баллона... Что дальше? Течение влекло вниз. Река здесь была глубокой и широкой. Постарался выбраться на перевернутую лодку, да куда там!.. Еще раз сделал отчаянное усилие, но туловище так и оставалось в воде. Мешало весло. Оглянувшись, увидел уплывающие две надувные подушки, пенку, карты.

Так, так, говорил я себе мысленно, спокойно, надо выплывать к берегу, с лодкой, веслом. И я принялся выгребать одной рукой и работать ногами. От большого напряжения одну ногу свело судорогой. Проклятие! Стиснул зубы, стараясь унять боль в ноге. Догадался сунуть весло под баллон в лодку, но все равно опасался, что его унесет, и придерживал. И все-таки греб другой рукой и подталкивал лодку. Лодка была тяжелой. Как же ее можно перевернуть в воде? Как же переворачивал свою байдарку в холодном штормящем океане Ханнес Линдеман?! Ума не приложу. Эскимосы тоже переворачивают лодку, если делают оверкиль. Движение весла под водой, и все на месте, небо, а не дно океана над головой. Это какие-то космические люди, эскимосы и немцы.

Вдруг под ногами что-то возникло... Отмель! Я встал, отдуваясь. То и дело песчаное зыбкое дно уходило из-под ног, и я снова туда возвращался, чтобы отдышаться, хоть чуть прийти в себя. Горло страшно саднило, все мышцы болели, как будто их искололи иголками. И я чувствовал настоящий страх, как это ни прискорбно, а может, и смешно. Солнце на небе, мель под ногами, берег уже близко.

В этом приключении было что-то нешуточное. Горло продолжало саднить. Думаю, не от воды, а от большого напряжения всего тела. Я не мог прийти в себя. Дышал с трудом. Но надо было продвигаться к берегу. Солнце хоть и сияло, да вода была уже осенняя, холодная. И я чувствовал, что замерзаю. Оттолкнулся от отмели и поплыл к берегу, толкая байдарку.

У берега я снова отдувался.

Потом попробовал перевернуть лодку, и со второго раза у меня это получилось. Как раз в этот момент один мешок все-таки отвязался и упал в воду. Я его подхватил, ра-

дуясь, что остальные мешки прочно принайтовлены матерчатыми ремнями к лодке. И радуясь тому, что перед быстринной положил фотоаппарат в маленький гермомешок, который тоже был притянут к лодке эластичным шнуром. Иногда я фотографировал и клал фотоаппарат просто на ноги, если видел впереди что-то интересное. А тут поступил прямо-таки мудро. Я, кажется, и собирался после быстрины что-то сфотографировать и потянулся неловко за гермомешком. Возможно, потому и перевернулся. За быстринной была глубина с водоворотом.

Что же делать? Берег, возле которого я стоял, был неудобен для высадки, и я забрался в лодку и поплыл вниз.

Мне удалось догнать обе подушки и пенку... Может, это мне и снилось? И Дюна была таким вольным и чудесным одеялом, а сосны и ели — ножками великой кровати. И я почивал себе, видя странные происшествия с Ингваром и его спутниками, с волхвом Хортом и Спиридоном...

Но мне было холодно, несмотря на сильное солнце. Горло продолжало саднить. И какое-то очень гнетущее чувство не отпускало. Надо было высматривать берег для причала. А как назло, ничего пригодного не было видно. И я греб в лодке с водой, прикидывая, чего же лишился, кроме части карт? Спиннинга с катушкой. Прощай, рыбалка. Тельняшки. Кепи. Одного носка. И одной перчатки. Греб я в перчатках для садово-огородника, с пластмассовыми рубчиками с внутренней стороны, очень удобными, предупреждающими мозоли и пачканье рук дюралевым веслом.

Наконец решил причалить, хотя берег был крутой, но там виднелась солнечная поляна на опушке соснового бора, лучшего места для просушки вещей не придумать. Выгружаться было очень трудно. Сразу у берега была большая глубина, приходилось балансировать на уступчике, вытаскивая мешки, сапоги и прочее.

Солнце светило во всю мочь. И я раскидывал по поляне вещи. Кое-что было совсем сухим. Но многие вещи слегка намокли, несмотря на упаковку в герметичных мешках. Попала вода и на фотоаппарат. Он не работал. Я раскрыв все его створки, снял объектив, вынул батарейку, флешку и все разложил под солнцем. Дневник тоже слегка намок. Солнце сушило страницы, покрытые синими письменами. Горло не проходило, удушливое чувство тоже томило, мышцы ныли... И я некоторое время просто сидел под солнцем, и смотрел тупо на разбросанные вещи, и снова и снова переживал момент переворота, как будто киноленту заело, и механизмы ее пережевывали и пережевывали, колесики вертелись и вертелись.

И я уже думал, что эти надувные подушки могли бы так и плыть. А за ними и перевернутая лодка. Потом бы ее прибило к упавшему дереву, вынесло на отмель. Страницы дневника совсем размокли бы. Флешка в фотоаппарате тоже.

Я встряхнулся. Но ведь книга, за которой я и отправился в это большое плавание вокруг Оковского леса, должна быть написана? Сюаньцзан подвергался куда большим опасностям, и его путешествие длилось дольше, и он вернулся с книгами, а потом написал и свою книгу.

Нет, ничего прерваться не могло, убежденно подумал я получасом позже, приготовив обед и плеснув в железную кружку водки и осушив ее, прежде чем есть огненный перченый суп харчо с гречневыми сухарями.

— Да-а-а, так... — промолвил я, выдохнув спиртовое облачко.

И мое горло медленно освобождалось от невидимых пальцев Дюны.

Дюна, ведь это она макнула меня, как щенка. За что? Я вспомнил голос с берега. «Эй, кто вы такой?» То есть: кто ты такой здесь есть, почему так высоко восседаешь?

Я хлебал огненный суп и думал, что этот оклик был неким предупреждением. Опять синхроничность Юнга? Я взял пластмассовую бутылку из-под питьевой воды «Свя-

той источник», в которую всегда переливаю водку из стеклянной бутылки, чтобы не таскать лишний вес, взболтнул прозрачную жидкость, мгновение раздумывал и плеснул еще в кружку. Водку-то вообще лучше пить у вечернего костра, но ввиду чрезвычайного обстоятельства можно и сейчас, в разгар дня. И я выпил.

Хо!

Горькая водка после кораблекрушения особенно хороша. И без нее мое слабое горло просто обречено после такого купания. Так что я пил не махом, а гоняя водку в воронке горла.

Вдруг вспомнил, что по реке от меня уплывала и другая пластмассовая бутылка с питьевой водой, точнее, с холодным чаем. И ее я тоже нагнал. А ни тельняшки, ни кеппи так нигде и не увидел. Наверное, где-нибудь зацепились за кусты. Потом рыбак или турист будет гадать: кто это потерял, что там произошло?

Ну, надо было и третью выпить — за благополучный исход. Что я и сделал.

Как тут было не вспомнить Высоцкого?

Ах, утону я в Западной Двине  
Или погибну как-нибудь иначе, —  
Страна не зарыдает обо мне,  
Но обо мне товарищи заплачут.

Под вечер все вещи просохли, и я погрузил их в лодку, теперь уже со всей тщательностью упаковывая все в мешки и еще крепче привязывая, сел как можно ниже, почти совсем сдув подушку для сиденья, ноги старательно вытянул в нос и отчалил. Плыл осторожно. Дюна, как все красавицы, коварна. Да! И теперь я не снимал страховочный жилет. На волжских-то озерах я плыл в нем, а вот как началась река, то и не надевал. Я его и купил для озер, все-таки до берегов там далековато. На Днепре никогда не надевал страховочного жилета, его и не было у меня, только у жены. Плаваю я хорошо. Правда, судорога никогда не сводила в воде ног. Довольно неприятное явление. Тут и воды нахлебаться можно. Ну и еще фактор опасности — сердце уже не шестнадцатилетнего подростка, рухнувшего в ледяное крошево Ипути.

Скальду не тоска ли  
Скалы лба сковала?

Нет, просто теперь с Дюной я был только на «вы».

Она мне вечером и представлялась уже какой-то характерной женщиной: высокой, сильной, черноволосой, чернобровой, с пристальными свинцово-синими очами.

Спал в лесу среди россыпи светлячков. И сверху горели огоньки звездных червячков. Вот вселенная странствий.

## 45

Утром шел пар изо рта, было пасмурно, хотя и солнце проглядывало над еловыми макушками. И я как-то сразу после пробуждения и первого взгляда на реку тихо пропел: «Аллилуйя, аллилуйя-а-а...» Да, внезапно пришла на ум эта песня почившего в этом году Леонарда Коэна. (Почему-то так мне показалось, что он умер в этом, то есть в 2019 году, а не тремя годами раньше.)

И уже эта песня сопровождала меня весь поход. Но петь я мог только одно слово «Аллилуйя». Остальное напевал неразборчиво, иногда насвистывая, а припев — в полный голос: «Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя».

Это восклицание благодарения Господу, оно есть и в иудейской службе, и в православной. Интересно, что сам-то Коэн стал после нескольких лет пребывания в дзен-буддийском центре дзенским монахом под именем Молчание.

Но Молчание все же разродилось новыми песнями. Уж если ему захотелось снова петь, надо было бы пропеть «Silentium!» нашего поэта, начать с этого. И взятки были бы гладки. Русский поэт тоже призывает к молчанию, но *призывает*. И сам после этого вовсе не молчит.

Я не поклонник творчества Коэна, от того, что доводилось слушать, попахивает немного кабаком. Но «Аллилуйя!» сильная песня.

И я ее пел на байдарке посреди Дюны и благоуханных лесов.

— Аллилуйя! Аллилуйя!..

Наверное, со стороны это выглядело смешно и нелепо. А может, и нет. Песня-то хорошая, даже если исполнять только припев из одного слова, а остальное просто мычать. Мотив духоподъемный и любому понятный.

Днем проплыл под мостом Торопецкого тракта. И характер реки изменился. Берега стали пологими. Среди деревьев чаще виднелись дубы, вязы. И всюду росли рябина, береза, ольха. И берега реки раздвинулись. Дюна очень напоминает в этих местах Днепр. Только течение быстрое и с водоворотами. И я начеку. Сажу низко, гребу и пою: «Аллилуйя, аллилуйя!»

Ниже Торопецкого тракта увидел сгоревший хутор и яблоню с красными яблоками, пристал к берегу, не без труда вылез, удерживая на сильном течении байдарку, привязал ее к кусту и пошел вверх. Хутор большой, с хозяйственными постройками, может, даже конюшнями. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Может, молния, может, и несчастный случай, но вероятен и поджог. Жил-был фермер, ладил свою жизнь хозяина на земле, да завистники одолели... Мне давно хочется написать повесть или роман о таком фермере. Но как подумаешь о Гамсуне, его романе «Соки земли», так и руки опускаются. Библейская мощь этого крестьянского романа подавляет всякое желание сделать что-то похожее.

А яблоки оказались вкусные, сочные и сладкие. Поблизости росла и груша. Но желтые груши все были гнилые внутри. На берегу на маленькой лавочке посидел, нарежая яблоко и отправляя в рот сочащиеся кусочки, и снова сел в байдарку, оттолкнулся от берега.

Жизнь речного странника какая-то упругая, бодрая. Река — его движущаяся дорога. За поворотами всегда что-то ждет: новый вид, наклонившееся дерево, песчаная коса с цаплей, мост или деревня. Но деревень на Дюне мало. И чаще они стоят вдали от реки. Проплываешь мимо, и ни звука не слышно, ни петухов, ни мычания коров. Только и видны крыши домов с трубами и мачтами или тарелками антенн. Деревни как привидения. Хотя вокруг заливные луга и пастбища. Но пастбища уже зарастающие. Деревенская жизнь здесь, как и всюду по Средней Руси, глохнет, скукоживается.

Удивительно, но как только я пустился в путь по Волге и, особенно, по Дюне, многое мне казалось знакомым. Что за предугадывание?

И когда в вечерних лучах солнца увидел ровный берег, заросший бурьяном и крапивой, иван-чаем перед мощным строем черных елей, высоко вздымающегося леса, тоже узнал его. Может, это место мне снилось? Здесь я и высадился, поставил палатку на краю берега, над рекой, возле склонившейся березы и нескольких молодых елочек поодаль. Рядом оказался ручей. На краю леса нарубил сухих еловых лап.

Жег костер и смотрел на закатывающееся за макушки елок на другом берегу солнце, на горящую в его лучах Дюну. Дюна, как все красавицы, любит золото в косах.

Ночь настала прохладная, звездная. И мне снились писательские сны. Все снилась дочь Толстого, кто-то сочинял письмо в ее защиту. Снился и сам Толстой с нахмурен-

ными бровями. Которая из дочерей Толстого снилась-то? Ну, если письмо сочинялось в защиту, значит, Александра Львовна. Она была настроена против большевиков, и те ей, разумеется, заплатили за нелюбовь тюрьмой. Говорят, правда, что отсидела она только год из трех. Вроде бы за нее просили дружно крестьяне, и большевики пошли навстречу. Александра Львовна стала хранительницей музея Ясная Поляна. А потом уехала с лекциями в Японию да, как Бакунин, через Японию упорхнула в Америку, и правильно сделала, иначе большевики ее заели бы за графство и честность, несмотря на расшаркивание перед ее отцом. Большевики любили заедать графинь и княгинь, монахинь. Их мясо было им особенно по вкусу. Но Александра Львовна лишила их этого удовольствия, убереглась за океаном и прожила до девяноста пяти лет.

Потом приснился Борис Васильев, он читал что-то вроде лекции о современных писателях, в том числе и обо мне сказал пару слов, и вручил мне маленькую записную книжку, которую я тут же открыл и стал читать и видеть, как это бывает во сне, нечто магическое, каких-то черных древних зверей посреди диковинных ландшафтов...

Пасмурным утром развел огонь над рекой.

Плыть было хорошо, свежо. Свинцово-серые облака зависали над рекой и лесом, и сквозь них то и дело проглядывал тусклый зрак солнца, как бы зрак древнего ящера, которому, по мнению академика Рыбакова, поклонялись наши предки. Этому ящеру, живущему на болоте, будет приносить жертвы и волхв Хорт до того, как отправится в путь со Спиридоном.

«Загадочно было то, что во всех губерниях России центральная фигура игры именовалась „Яшей“, хотя это не требовалось ни рифмой, ни каким-нибудь ассонансом. Разгадку дало обращение к белорусским записям середины 19 в.

Сядеть Ящер  
У золотым кресле,  
У ореховым кусте  
Орешачки луше.  
— Жанитися хочу,  
— Возьми себе панну,  
Котораю хочешь,  
Котораю любишь....

Сяде Ящер под пирялушем  
На ореховым кусте,  
Где ореховая лусна,  
— Возьми себе девку,  
Котораю хочешь...

На месте непонятого Яши оказался архаичный Ящер, хозяин подводно-подземного мира. Игра, изображающая выбор невесты Ящером, может являться трансформацией древнего обряда принесения девушек в жертву дракону-ящеру<sup>103</sup>.

Рыбаков говорит об изображении на шаманской бляхе двуглавого ящера, одна морда смотрит на запад, другая на восток, ведь ящер вечером солнце проглатывает, а утром выпускает.

И сейчас, выпустив солнце, он как будто задумался: а не проглотить ли его снова?

Так и случилось. Солнце исчезло. Заморосил дождь. Я надел влагозащитную куртку, на обод трюма натянул фартук, он плотно охватывает пояс, дождь не страшен, уже приходилось бывать в лодке под ливнем.

<sup>103</sup> Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 40.

Сильнее запахло осенью. Мы с осенью идем по реке, до Велижа она течет с севера на юг. С севера я и несу на своих плечах осень... (И зиму, добавляю я, скосив глаза вниз, на белые пряди бороды.) И все больше попадается желтых берез и карминно-медных вязов, а дубы, наоборот, вдруг выступают ярко-молодо, словно весна уже настала. Просто в дубовой листве появилась легкая желтизна, пока еще даже не желтизна, а светло-зеленая краска на грани желтизны. Такой листва и бывает весной. А вот еще и ранней осенью. И по реке плывут опавшие листья.

И я греб и греб под морозящим дождем, надеясь, что ящер смилостивится.

Но нет, сей древний персонаж был беспощаден. И дождь усиливался. Рыбаков относит возникновение образа ящера к эпохе мезолита. Важным фактором в эту эпоху для человека стала вода, он научился плавать, ловить рыбу, дошел до Прибалтики, Белого моря, севера Кольского полуострова, до Вычегды и Печоры. «Мезолитические охотники Восточной Европы бродили на территории около 5 000 000 кв. км леса и тайги, пересеченных тысячами речек, текущих в разных направлениях»<sup>104</sup>.

От таких писаний дух захватывает!

«Теперь вооруженный луком и стрелами человек с прирученной собакой мог вести свою лесную охоту в одиночку. А это давало большую подвижность отдельным членам рода, большую самостоятельность и позволяло уходить все далее и далее в лесное безграничье. Продвижение в эпоху мезолита и неолита производилось пешком, зимой, возможно, на лыжах, а когда достигали морских берегов, то на больших лодках, позволявших охотиться на морского зверя»<sup>105</sup>.

Так и видишь этого охотника, плывущего на лодке-долбленке.

Рыбаков и делает вывод, что «изобилие воды, господство водной стихии могли именно в мезолите породить (устойчивый в будущем) образ ящера, божества воднодонной сферы, требовавшего себе человеческих жертв...»<sup>106</sup>

Спиридон станет свидетелем этого обряда.

Дождь уже крупно стучал по фартуку, голове, плечам, по гермомешкам с вещами и провизией, пузырился на воде. Одежда моя была суха, на ногах шлепанцы. Напрасно ящер ярился.

Да, это был его день, словно и настало то время мезолита с обилием воды. И верхние божества были с ящером заодно, отомкнули хляби небесные.

Я был совершенно один в этом мире серых мокрых небес и вод.

Берега молча взирали на лодочника.

Я греб и греб. И мне было тепло, даже жарковато.

Прошел под автомобильным мостом.

Леса отступили, и впереди показались дома какого-то населенного пункта. Вдруг на левом берегу встал рыбак с удочкой в плаще. Мы поздоровались, и я спросил, что это за поселок? Рыбак отвечал как-то неторопливо, веско:

— Город Западная Двина.

Точно, есть такой одноименный город на реке Западной Двине, хотя и звучит странно.

И вскоре я плыл и видел его дома поблизости, мосты, трубы, здания каких-то предприятий. Дома были деревянные и даже несколько расписных. Этот город был живее, крепче, основательнее Андреаполя. И он тянулся долго, очень долго. Людей в этот субботний дождливый день нигде не было видно. На меня только окошки домов взирали темно из-за шторок, горшков с цветами, рябин, заборов, яблонь. Правда, по дорогам проезжали автомобили.

<sup>104</sup> Там же, с. 124.

<sup>105</sup> Там же, с. 124, 125.

<sup>106</sup> Там же, с. 125.

Дюна сильно несла меня, прижимала к левому берегу, а там сад и огород спускались в воду, и одна отяжелевшая яблоня клонила ветви прямо в реку. Тогда и я еще подгрёб и ударил веслом по ветвям, в воду забултыхалась крепкая зеленая антоновка. Я ловил яблоки и складывал на фартук. Греб дальше и догонял уплывшие яблоки.

Впереди нависал железнодорожный мост. И по нему двигалась фигурка. Вот и второй житель Западной Двины. Подплыв ближе и уже готовясь уйти под мост, я бросил взгляд вверх, и в ответ на меня глянула черноволосая девушка под зонтиком и чуть заметно улыбнулась. Я тоже. И уже над моей головой моросило каплями поджарое железное брюхо моста.

Последнее яблоко я нагнал уже за мостом, на выходе из города. Попробовал — вкусное, спелое, сочное.

Прощай, Западная Двина! Город, о котором я столько думал, разглядывая карту, что там да как? Как туда попасть?

Работая корреспондентом молодежной газеты, я брал однажды интервью у плотогонов Велижа на их катере, идущем вверх по Западной Двине за плотами. Интервью я успел записать еще будучи трезвым. Хотя помощник капитана сразу порывался, как говорится, накрыть на стол. Но седой старый капитан, ветеран Великой Отечественной, его сдерживал. И они мне рассказывали в капитанской рубке о своей работе, о плотях и о верховьях Западной Двины за городом Западная Двина, которые они называли страной Лимонией...

— Ливония? — не расслышав, переспросил я.

— Лимония! — был мне ответ.

Мол, сколько там зверя и рыбы! Какие дебри!

И я мечтал туда забраться.

А в тот раз, с плотогонами, не получилось. Мы сошли с помощником капитана на берег в Селезнях, это не так далеко от Велижа, откуда мы отчалили. Сошли, спотыкаясь, ибо были совершенно пьяны. Слишком рьяно взялись *подкрепляться чем бог послал*. В Велиж мы возвращались на чьей-то моторной лодке. Причалили и, кажется, еще выпивали прямо на берегу, и я подрался со сверстником, хозяином лодки, нас разнимал помощник капитана. Хозяин лодки грозился меня еще встретить и уделать так, что никакая редакция меня больше не узнает никогда. Я и так хромал. Он ушиб мне щиколотку подлым образом, исподтишка, хотя мы только мерились силами, но он оказался слабее и применил этот прием.

— Тебе лучше уехать, — сказал мне помощник капитана. — Не надо встречаться с ним и его друзьями.

И я уехал на попутке из Велижа, но довели меня только до Демидова, точнее, до поворота на Демидов, а от трассы пару километров я топал пешком, трезвея на ходу, ввалился в гостиницу и переночевал там. Очерк «Река и люди» я написал и даже получил за него ежемесячную премию и отклики благодарных читателей.

И вот я там побывал, в стране Лимонии.

Но, пожалуй, она еще продолжалась, простирая свои боры. Правда, леса, местные вокруг города, как обычно, вырубали напрочь. Но через несколько километров гребли они вдруг мощно встали, солнечные, по сути, боры.

А дождь не прекращался, лил и лил. И у меня уже промокли рукава. Да, увы. Заявленная высокая степень защиты куртки действительно была хороша, но так как я взмывал веслом, вода затекала в рукав, напитывала потихоньку рукава куртки, тельняшки. Хотя все равно мне было тепло.

И я греб и греб, делая перерыв на десять минут. Так и шел до самого вечера, не вылезая из лодки. Все надеялся, что ответственные за небесные хляби прикроют люки.



Ящер-то уже должен быть доволен. Но нет, дождь и не думал прекращаться. И я высматривал удобное место. Высмотрел, там небольшая была даже бухточка и постепенный подъем на второй ярус, а выше был еловый ровный берег. Возле этого места я стоял на лодке и, как только дождь немного ослабел, быстро выскочил, распрямляя затекшие ноги, спину, задернул лодку целлофаном, с наслаждением отлил и пошел осматривать второй ярус. Забираться на высокую площадку не было никакого желания. И я расчистил место на втором ярусе. Здесь тоже росли ели и сосны, над водой свешивался бересклет с розовыми фонариками плодов. Надо было как можно скорее поставить палатку. И я успел это сделать. И дождь начал снова набирать силу. А я устанавливал костровой тент. Долго возился. Уже смеркалось. Дождь бил крупно, часто. Все вокруг пузырилось, шипело, хлюпало, струилось, текло, чавкало, всхлипывало и тихо дышало. Под тент я перетащил мешки. Теперь надо было нарубить дров. Ну, в таком лесу это не проблема. Хотя сухие деревца пришлось поискать, и даже я был вынужден забраться на верхнюю площадку. Особенно меня обрадовали несколько сухих орешин. Это отличные дрова. Их я и кромсал на щепки, чтобы запалить костер. Костер разводил не прямо под тентом, чтобы не продырявить его искрами, а чуть поодаль, под дождем. Еще не было такого случая, чтобы под любым дождем я не развел огонь. Огонь всегда можно развести. Просто надо запастись терпением, терпением, терпением. А куда спешить-то? И я накрывал пенкой щепки и строгал воск со свечки — лучшее средство для разжигания! Черкнул спичкой. Она погасла. Черкнул второй. Огонек занялся. Воск затаял, закапал на щепочки. Огонек не гас. Щепочки уже горели, горели явно... Да! Есть огонь! И хотя делаешь это сотни раз, а всегда испытываешь радость, даже и в самую солнечную погоду, а что уж говорить про такое царство ящера! И я убрал пенку, огоньки уже защищали дрова. Вскоре и они загорелись от щепок и толстых лучин. И уже веселый костер пылал над свинцовой, все несущей свои воды к Варяжскому далекому янтарному морю Дюной, и его пламя лизало котелок с водой. Как вода вскипела, налил туда сгущенки, потом насыпал медленно, помешивая ложкой, манной крупы. Манка быстро сварилась. Отправил туда ложку топленого масла. Накрыв крышкой и повесил над огнем другой котелок. Вскоре и в нем вода бурлила. Туда я сыпанул горсть чая черного и горсть чая зеленого. Накрыв крышкой.

Что ж, сегодня я неплохо потрудился. Аллилуйя!

И перед ужином я плеснул в железную кружку настывшей в такой дождливый холодный день водки и выпил. Закусывал западнодвинской антоновкой. А потом снял крышку с каши, вдохнул спелый молочный пар разопревшей манки, налил в кружку густого чая и приступил к ужину под грохот дождя по тенту, листе, стволам. Костер жарко алел, дымил, от моих мокрых рукавов шел пар. И я чувствовал себя тем охотником из труда Рыбакова, что отправился в одиночку по лесам и рекам неолита... За книгой! Аллилуйя.

#### 46

Первое сентября выдалось высоким, синенебым, солнечным. Мне сразу вспомнилось первое сентября на заповедном берегу Байкала. Первый раз за одиннадцать лет этот день мы с товарищем встречали не в школе. Позади бревенчатой мастерской, куда нас поселили временно на Северном кордоне, умиротворенно плескалось бирюзовое море. Рыжели лиственницы, под ними горели кустики голубики, всюду пламенели ягоды шиповника. А далеко над желтеющей тайгой чеканно выделялись грани заснеженных гор.

...Правда, вот когда я отплыл от берега бересклетов, уже за поворотом реки тайга отступила, и потянулись днепровские хмызники. И я порадовался, что додумался оста-

новиться в дождь именно на берегу бересклетов, в лесу. А так пришлось бы еще долго грести. Останавливаться в дождь среди этих ив и заросших пастбищ — ничего хуже не придумаешь. В таком-то месте и костер вряд ли разведешь. Не найдешь дров.

Но еще через пару часов снова началась тайга. А левый берег вдруг превратился в какой-то бастион, очень высокий, с соснами наверху, мхами и папоротниками. И он долго тянулся. Мне уже начинала мерещиться какая-то крепость. Столь высоченных берегов я не видел ни на одной реке.

И я снова думал о несчастном Днепре. Там леса все выбиты. Вместо дубрав и боров осинники, березняки, да у воды непролазные заросли ив. А здесь леса сохранены. И, главное, восходят новые, вот что. Всюду после Андреаполя по берегам тянутся молодые сосняки, явно посаженные лесниками. Смоленским лесникам поучиться бы у тверских собратьев. Вообще пора начинать движение за Оковский лес. Основой его мог бы стать Центрально-Лесной заповедник на юго-западе Валдая, в верховьях реки Межа. Заповедник хорошо устроен, но занимает только водораздел Волги и Западной Двины. А Днепр?

Оковский лес надо восстанавливать, это очевидно. И в первую очередь — по берегам Днепра. Необходимо разработать программу восстановления Оковского леса. Неужели у страны нет на это сил? Летописный лес должен жить и шуметь кронами над чистыми великими реками русской цивилизации: Днепром, Волгой и Западной Двиной. И под его сенью найдут приют олени и косули, лисицы и медведи, волки и птицы. А в водах вновь появятся форель и стерлядь, осетр. Нужна воля к обустройству России в первую голову, а не к обустройству Сирии или Донбасса. Здесь Родос, здесь и прыгай, как говаривали древние.

На реке никого. Все ушли в школу? Да сегодня воскресенье, так что линейки, цветы и речи с музыкой будут завтра. Но все равно я чувствую себя каким-то прогульщиком, как и тогда, сорок один год назад на заповедном берегу. Вообще, уход в лес похож на дезертирство. Война всех со всеми идет в городе в доспехах из толстой «кожи», по Гачеву. Но в лесу ты преодолеваешь себя, молчание, да и противостояшь природе.

...И вскоре я вижу наконец-то бруснику, она краснеет на крутом берегу, никем не замеченная с берега, а с воды — тяжело добираться. Но я умудряюсь причалить на быстрине, привязываю лодку к лежащему стволу березы, лезу по обрыву, держусь одной рукой за корень, а другой срываю ягоды.

Как вдруг слышу голоса. Поднимаю глаза и прямо у носа вижу чьи-то ноги. Надо мной медленно проходит какая-то мужская компания. Двое или трое молчат. А двое о чем-то напряженно беседуют. «Я должен об этом подумать», — говорит один. «Разумеется...» — откликается другой. Меня и лодки внизу они не замечают. Проходят дальше, и я вижу всех. С ними, оказывается, и собака, овчарка. И она меня не учуяла. Компания толпится у воды, потом исчезает среди сосен, озаренных щедрым сентябрьским солнцем. Продолжаю собирать ягоды.

Через некоторое время я вижу, наверное, эту же компанию на сосновом удобном берегу. Среди сосен стоят автомобили. Один парень сидит поодаль с удочкой. А трое или четверо купаются голышом, хотя вода уже довольно прохладная. Дымится костер, пахнет шашлыками. Может, они себя тоже чувствуют прогульщиками.

Молча проплываю мимо.

Поход в лес — это бегство за свободой. Но могу ли я сказать, что свободен здесь, на реке?

Свободен от каких-то условностей. Свободен выбирать место для стоянки, направление.

Но вообще-то, не свободен. Ни от себя, ни от других. В любой момент здесь может появиться какой-нибудь прокурорский работник с компанией коллег, увешанных па-

тронташами и ружьями. Если вспыхнет какой-то спор, ну, мало ли из-за чего, из-за права дышать, смотреть, то ясно, на чьей стороне будет удача. Или вдруг, пока я странствовал, вышло очередное гениальное постановление Думы о бродяжничестве, и я под него попадаю, как под каток. Эти леса и реки — природа, но и на нее распространяются законы государства. От государства можно скрыться на некоторое время. Но не навсегда. Рано или поздно достанет.

Не уклониться и от материальных тягот существования здесь. Не избавиться и от страха смерти, хотя с каждым годом он все слабее. Страх и свобода — понятия не совместимые.

Жизнь — это несвобода. Вероятно, свобода достижима только вне жизни. Да вот сама возможность продолжения чего-то после смерти все-таки лишь предположение.

А приближение к смерти и есть приближение к свободе?

Чем ближе смерть, тем ближе свобода. И в этой опасной зоне — самая яркая жизнь.

Но есть и еще одна возможность приближения к свободе — это вера.

К свободе можно только приблизиться. Или отдалиться от нее. И на реке к этому таинственному *солнцу* путник приближается с каждым взмахом весла. Раз солнце, то и должна быть *страна*? Тут же включаются утопические наклонности человеческой натуры. Где эта страна под солнцем свободы?

...В Зомии! — приходит неожиданный ответ.

Зомия?

Об этой Зомии я читал как раз перед плаванием у Джеймса Скотта, американского антрополога с анархистскими наклонностями, в книге с чудесным названием «Искусство быть неподвластным. Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии». Название произошло от тибето-бирманского «горец». Зомия — это Северный Индокитай (Северный Вьетнам и Лаос), Таиланд, горы Северной Мьянмы и горы Юго-Западного Китая. Всего в этом районе обитает 100 миллионов человек. Ого, целая страна! И туда не дотягиваются щупальца государства. Слишком корявые там леса и горные кручи. Ученый называет это так: «сопротивление ландшафта»<sup>107</sup>. И любопытно в этой связи его замечание насчет карт: «Стандартные современные карты, в которых за единицу принят километр территории, невзирая на то, идет ли речь о суше или о воде, по определению ведут к заблуждениям. Поселения, расположенные на расстоянии трех-четырёх сотен километров спокойной судоходной воды, будут более тесно связаны друг с другом социальными, экономическими и культурными взаимоотношениями, чем поселения, которые разделяют всего лишь тридцать километров скалистых гор»<sup>108</sup>.

Включают в состав Зомии и Тибет, север Индии, некоторые районы Пакистана и Афганистана. И значит, и я там уже бывал. В Афганистане я и задумался о магните войны для государства. Война и есть магнитная звезда для железных умов государственных мужей (и железных леди). Война — высшая форма взаимодействия государств. К этому стремятся все государства. Война — могучий инструмент воздействия на мир. Благодаря войне совершаются научные открытия. Лучшее изобретение России — военное, это автомат Калашникова.

Государства создаются войнами, цитирует Джеймс Скотт другого американского ученого<sup>109</sup>.

Но войнами государство и разоряется. «Простой подсчет поможет осознать масштабы разрушений, — пишет Джеймс Скотт. — Если предположить, как Джон А. Линн, что армия опустошает 8 километров территории по обе стороны от пути следования

<sup>107</sup> Джеймс С. Скотт. Искусство быть неподвластным. М.: Новое издательство, 2017, с. 83.

<sup>108</sup> Там же, с. 82, 83.

<sup>109</sup> Там же, с. 219.

и проходит примерно 16 километров в день, то получается, что каждый день военной кампании разоряется 260 квадратных километров сельской местности. Десятидневный марш такой армии, соответственно, нанесет ущерб 26 тысячам квадратных километров»<sup>110</sup>. Речь о европейской армии XVII века численностью в 60 тысяч человек. Ей требовалось 40 тысяч лошадей, более сотни обозов с припасами и около миллиона фунтов продовольствия в день<sup>111</sup>.

Мне довелось наблюдать разрушения на пути следования наших боевых колонн по дорогам афганских провинций. Если выполнение задачи требовало разрушения кишлака или уничтожения хлебного поля, виноградников — подразделения тут же приступали к делу.

Бердяев говорил, что государство существует не для того, чтобы жизнь сделать раем, а для того, чтобы не ввергнуть ее в ад. Сомнительное утверждение после Второй мировой войны. Да и после Первой и после любой. Государство и затевает ад, а потом от него избавляет, чтобы тут же затеять новый и новый и так до бесконечности.

Мне, правда, так и не удалось заметить проявления анархизма в Афганистане... Если не считать виденных караванов пуштунов, кочующих из зоны свободных племен на границе Афганистана и Пакистана, их диковинных черных палаток на кольях посреди степи у дороги, по которой двигалась колонна советских войск. Кочующие пуштуны действительно не признают никакой власти, высший законодательный орган у них совет — джирга. Правда, женщины лишены на джирге права голоса. А так-то решения принимают сообща. И война им нипочем, кочуют со своими верблюдами и стадами овец, торгуют на рынках в Кандагаре, Газни и Кабуле.

Джеймс Скотт пишет, что женщины этих горных районов наделены более высоким статусом, чем женщины низин. Но это явно не про женщин пуштунских племен.

Под солнцем анархии мужчина и женщина абсолютно равны.

Упоминает антрополог и наших казаков. Говорит, что при государственном строительстве появляются так называемые осколочные зоны, или зоны бегства. Такой зоной и были низовья Дона и другие пограничные территории. Это была зона вольницы.

Спротивление ландшафта сильно в горах. А на равнинах оно слабое. Тем более если по равнине протекают реки: «Судоходная вода сводит на нет сопротивление ландшафта, — пишет Джеймс Скотт. — Ветер и течения позволяют перевозить огромные объемы товаров на расстояния, которые и вообразить невозможно, если речь идет о повозках. Согласно расчетам, стоимость перевозки товаров морем в Европе 13 века составляла лишь 5 % их же сухопутной транспортировки»<sup>112</sup>. Вот почему, кстати, так и были важны реки Оковского леса.

Но здесь сопротивление ландшафта тоже было — это леса и болота. Сейчас его легко одолеть по воздуху. Так же как и районы Зомии. Джеймс Скотт оговаривается, что его выводы в полной мере соответствуют картине времен середины прошлого века, когда можно было «большую часть Зомии (...) справедливо охарактеризовать как огромную зону спасения от процессов государственного строительства»<sup>113</sup>.

Так что Зомия в прошлом.

Ну, наверное, остались еще какие-то «осколки». Да, те же пуштуны продолжают свои кочевья.

Мимолетная анархистская мечта в путешествии по реке прошлого и настоящего.

Возникновение и существование государств, судя по всему, мучительный и необходимый этап в развитии человечества. Как и письменность.

<sup>110</sup> Там же, с. 220.

<sup>111</sup> Там же.

<sup>112</sup> Там же, с. 79, 80.

<sup>113</sup> Там же, с. 320.

Джеймс Скотт приводит высказывание Клода Леви-Стросса о том, что «письменность, видимо, необходима централизованному государству, чтобы воспроизводить себя. Письменность — странная вещь... Один феномен, который неизменно ее сопровождает, — формирование городов и империй: интеграция политической системы, то есть включение значительного числа индивидов в иерархию каст и рабов... Такое впечатление, что письменность способствует скорее эксплуатации, чем просвещению человечества»<sup>114</sup>. Джеймс Скотт сопровождает эту сентенцию своими наблюдениями: «Основным объектом крестьянского гнева нередко были не столько колониальные чиновники, сколько документы, фиксирующие права собственности на землю, налогооблагаемые объекты и численность населения, посредством которых, по мнению крестьян, чиновники осуществляли управление. Мятежникам казалось, что само по себе сожжение здания с архивной документацией гарантирует им некое освобождение»<sup>115</sup>. Сказанное характерно и для Запада. Во время гражданской войны в Англии диггеры и левеллеры считали латынь инструментом одурачивания и принуждения. «Сам факт знания человеком букв мгновенно порождает у них подозрения»<sup>116</sup>.

Похоже, Государство и Книга — близнецы-братья. Но раз мы утверждаем вслед за Малларме, что все существует ради Книги, то приходится принять и этот факт.

Но определенно надо сказать: государство — то, что должно прейти. А Книга останется.

...И в отражениях солнца в волнах Дюны мне видятся осколки времен, когда никакого государства не было и не будет. Хотел сказать «благих времен», но вспомнил об обстоятельствах призвания варягов и передумал. Те времена вовсе не были такими уж благими. И неизвестно, какими они будут. Ясно лишь одно: чем меньше государства, тем лучше. Это должно быть целью здорового общества. И анархизм — отличное учение для осуществления этой цели.

Тут снова надо вспомнить славянофилов. И еще раз запечатлеть в памяти сказанное Иваном Аксаковым: «Признавая государство как необходимость, смотря на него как на средство, а не как на конечную цель или идеал своего внутреннего развития, — северные славяне (в России) не обратили сами себя в государство, не из себя создали его устройство, не исказили своей общинной жизни, не изменили началу своей внутренней свободы, а призвали государство из-за моря как явление чуждое, для внешнего наряда земли, для военного и судного дела, для ограждения свободы общинной или земской жизни»<sup>117</sup>.

Это и есть завет Святой Руси. Государство здесь гость заморский.

А Оковский лес — символ свободы. Происхождение слова «Оковский» не в слове «оковы», а, скорее, в литовском слове «akas» — «полян» и в латышском «ака» — «колодец».

Но даже если принять и это созвучие — с оковами, то можно и так сказать: это лес рек, рвущихся на свободу — к морю.

#### 47

Странствие мое продолжалось вместе с ветром, волнами, гнавшими лодку по Дюне среди разноцветных уже берегов под Гималаями ослепительных облаков. Облака эти подпирала мощные дубравы и вязы. Таких-то дубрав я давно не видел. Королевские!

<sup>114</sup> Там же, с. 335.

<sup>115</sup> Там же, с. 335, 336.

<sup>116</sup> Там же, с. 336.

<sup>117</sup> И. С. Аксаков. О державности и вере. Минск: Харвест, 2010, с. 103.

Они особенно густы после моста автомобильной дороги на Торопец и поселка Первомайский, ниже деревень Глазово, Щербино. Все же Двина примечательная живописная река.

Ночью ударил ливень. Грохот и хлюп! Палатка держала этот напор. Ливень не утихал, а усиливался. Но и сквозь этот шум я услышал зверя. Он тяжело дышал и тяжело шел совсем рядом с палаткой. Что было делать? Нацепил на лоб фонарик, взял нож, в другую руку «выстрел охотника» и сидел таким *охотничком* посреди палатки. Зверь уже подошел вплотную и вдруг замер. Значит, до сих пор не чуял меня. А тут учуял. И все. Это обычный эффект. Грузный зверь умеет мгновенно делаться невесомым и исчезать. Кто это был, я так и не узнал, дождь залил все вокруг, следов на листе не различить.

Палатка потекла по моей глупости: положил под голову надувное сиденье, и оно упиралось позади в стенку и в тент, так что под мой коврик натек конденсат, да много, и все бы ничего страшного, но в коврик была дырка от сучка, и вот сквозь эту прореху вода проникла вверх и намочила спальник. Но у костра я быстро все высушил. Утро было ликующе свежее, солнечное. С опавшими листьями я устремился дальше, вниз за летом, ведя за собой осень. В Двине отражались вся былинная тишина и сила этих лесов. Дубы и вязы стояли неколебимо в своих еще зеленых доспехах, хоть иные уже и краснели медью ран.

Бьет рыба, вскрикивает птица. И тишина, тишина вод, света, помыслов о моих героях, о викингах, об Афанасии Никитине, монахах на верховьях Днепра, о жителях Вержавска, о моем двоюродном деде летчике Григории Трофимовиче. Жизнь этих людей так или иначе была связана с великими реками Оковского леса. Они вспоены водами этого леса. Григорий Трофимович и умер на реке — на Волге во время зимней рыбалки, сердце прихватило...

Хорошо умереть на реке.

Но и жить пока — лучше.

И на обед я нажарил блинов да полил их медом, заварил кофе и попировал на славу над солнечной Дюной в желтых и красных листьях. Словно свершал тризну по ушедшему лету да и славил наступающую осень.

Здравствуй, любая пора,  
И проходи по порядку.

И я плыл дальше сквозь солнце и тишину упоительные меж берегов в дубравах и в сосновых борах с белыми мхами. К ужину нашел четыре коренастых ярких подошиновика, почистил, помыл и сварил с овсянкой, лавровым листом, луком и чесноком. Похлебка получилась ароматная, вкусная.

И долго сидел, опершись о громадную сосну на крутом берегу, глядел, как покачивается *кум месяц* в Дюне.

И вот утро... О лесное речное небесное осеннее утро одиночества и любви к миру. О игра солнца на соснах, облаках. Валуны в воде как бегемоты. Их обтекает туманец. И все заволакивает тишина. Кто бы мог подумать, что на Западной Двине такое возможно. Таежная глушь. Нигде ни души. Ни звука людей ниоткуда.

И уже на реке осеннее утро становится мягче. И это не солнечные лучи, они еще не попадают сюда, в этот каньон лесной. Но, конечно, это действие солнца, там где-то дальше оно уже заливает реку, и его тепло катится по реке навстречу мне, пьяня и чаруя, заставляя думать, что там где-то есть дивные места, где всегда светло. За этим-то светом и устремляется странник.

Щуки играют. Но на мою блесну не ведутся. Я соорудил из рябинки спиннинг взамен утопленного, поставил запасную катушку «Невскую», одно кольцо у меня было, леска есть. Но щука двинская не обращает на это внимания.

Под вечер нависают облака, все томится, но дождь никак не начнется. И вдруг кроны кудрявых сосен над моим лагерем на высоком берегу в папоротниках страстно окрашиваются нежным густым малиновым цветом. Солнце перед заходом выглянуло.

Этот берег мне понравился потому, что рядом, на опушке в пестрых травах лежит большой валун, и мне это чем-то напомнило мотивы Рериха. Этот камень перекликается с алатырь-камнем в верховьях Днепра. И вообще с алатырь-камнем, которому можно уподобить весь Валдай.

Белый латырь-камень всем камням отец.  
Почему же ен всем камням отец?  
— С-под камешка, с-под белаго латыря  
Протекали реки, реки быстрыя  
По всей земле, по всей вселенную,  
Всему миру на исцеление,  
Всему миру на пропитание.

И я уже понимаю, что плавание мое заканчивается именно здесь, хотя до Велижа еще плыть далеко, две-три ночевки впереди. Нет, еще надо пройти довольно километров. Еще впереди слияние Межи с Дюной.

Но ощущение полноты, ощущение уже свершившегося путешествия меня не покидает, пока я устраиваю лагерь, готовлю ужин. И вижу, просыпаясь, в кронах сосен повисшие бирюзовыми серьгами звезды. Рано утром в тумане хожу с фотоаппаратом и треногой, иду в лес и внезапно обнаруживаю там целую плантацию брусники. Это будто подарок. Но все очень просто объясняется: брусника растет попеременно с ландышами, а на тех такие же оранжево-красные плоды вызрели, и плоды эти ядовиты. Вот местные и не стали рисковать. А я рискнул. И наелся вволю лесной ягоды, хотя пару раз и прихватывал отраву ландышевую, но вовремя соображал и выкидывал.

Потом вышел на опушку, в поле, к камню Рериха. Стоял пред ним, как пред былинным указателем судьбы.

И сей камень рек мне, что книга моя уже написана и не зря я затеял весь этот путь еще много лет назад, отчалив от Смоленска и пойдя вверх по Днепру, ведомый интуицией.

Алатырь-камень и есть. Камень трех рек.

«Однообразна природа Великой восточной равнины, не поразит она путешественника чудесами; одно только поразило в ней наблюдательного Геродота. „В Скифии, — говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек, ее орошающих: они велики и многочисленны“. В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою и составляют, таким образом, по всей стране водную сеть...»<sup>118</sup>

И вот этот-то Алатырь-камень и удивителен.

С. М. Соловьев говорит дальше, что Русская земля разделилась по четырем главным речным системам: «...первую составляла озерная область Новгородская, вторую — область Западной Двины, т. е. область Кривская, или Полоцкая, третью — область Дне-

<sup>118</sup> С. М. Соловьев. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1–2. М.: Астрель, 2001, с. 16.

пра, т. е. область древней собственной Руси, четвертую — область Верхней Волги, область Ростовская»<sup>119</sup>.

За исключением областей Новгородской и Ростовской, мне удалось пройти эту систему речную. И охватить летописный Оковский лес. Образ рек и леса обретает цельность при виде этого камня на опушке леса в туманных травах. Словно все под этим камнем и таится, некий родник трех слов: Днепр, Волга, Двина.

И уже вдали, из туманных лугов и перелесков, позади алатырь-камня выкатывается солнце.

И мне хочется встать на колени или хотя бы что-то пропеть.

И я говорю тихо: «Господи, благослови землю сих рек!..»

И потом, уже на реке, все же пою:

— Аллилуйя, аллилуйя!..

И путешествие мое продолжается.

## 48

«В середине континента Джамбу находится озеро Анаватапта, расположенное к югу от Ароматных гор и к северу от Снежных гор и в окружности имеющее восемьсот ли. Его берега из золота, серебра и хрусталя, и наполнено оно золотым песком. Светлые воды его сияют, как зеркало»<sup>120</sup> — так описывает Сюаньцзан озеро на материке Джамбу, то есть мир людей в окрестностях великой горы Сумеру, с которой мы сравнивали наш Валдай.

Из этого чудесного озера вытекают четыре реки: изо рта серебряного быка — Ганга, изо рта золотого слона — река Синдху, изо рта хрустального коня — река Фочу, изо рта шелкового льва — река Сидо.

Это озеро как бы центр сакральной карты.

Меня тоже занимал вопрос определения центра Оковского леса. На географической карте его трудно отыскать. Впрочем, внимание сразу привлекает город Белый. В былые времена эти места называли Бельской Сибирью. Но теперь достаточно одного взгляда, чтобы понять: Сибирь эту вырубил. Вокруг Белого белые пятна.

Хотя поодаль от города к востоку и начинаются леса... И если следовать дальше к востоку, то в конце концов попадешь и в заповедные леса смоленского национального парка Поозерье, на речку Ельшу и озеро с таким же названием.

Это озеро я сразу и представил, когда в пышный свежий облачный солнечный день воды Западной Двины вынесли меня к устью реки Межи. И здесь только круг по-настоящему замкнулся. В прошлом году моя лодка выскользнула под проливным дождем из Межи, и я оказался в водах Западной Двины. А в Межу попал по речке Ельше. Нарушая хронологию похода, я и хочу закончить книгу рассказом об этом прошлогоднем плавании, которое я предпринял сразу после путешествия в Вержавск и сплава по Гобзе.

Но еще раз окидываю взглядом необозримый простор. Место слияния Западной Двины и Межи огромно. Тем более что сверху громоздились башни и терема облаков — целый облачный город. И он отражался в водах, покачивался. И его ограждали золотые стены сосновых боров. Долго я не мог оторвать взгляда, все оглядывался, а сильное течение сносило лодку. И река уже была в два раза шире.

Былинный город небожителей остался позади...

<sup>119</sup> Там же.

<sup>120</sup> Сюаньцзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан (Да Тан си юй цзи). М.: Восточная литература, 2012, с. 33.



Ну, а я перемещаюсь в пространстве и времени на своей лодке, как один из мифологических персонажей Сюаньцзана, поднявшийся на лодке над рекой, чтобы предотвратить столкновение двух армий.

И оказываюсь в сердце национального парка, в поселке Пржевальское на озере Сапшо. Стоит благостное солнечное июньское утро, и я собираю лодку, укладываю вещи, наполняю пятилитровые бутылки водой из родника, бьющего тут же рядом, возле песчаного пляжа и спасательной станции, и отчаливаю.

Здесь уместно вспомнить, что Пржевальский назвал Сапшо Байкалом в миниатюре. Так я возвращаюсь на Байкал вопреки одному сну. Как-то приснился очень странный летающий персонаж, человек с головой льва, и он ответил на один из моих вопросов о Байкале, что я больше туда никогда не попаду. Мне почудилось, что это был ангел. Мог ли он сказать неправду?.. Ну да, все же Сапшо — не Байкал.

Под низким мостом начиналась речка Ельша, туда я и нырнул. И меня повели лабиринты тростниковых и камышовых зарослей. Дальше низкие топкие берега сменились крепкими и высокими, в папоротниках и соснах, елях. Под одной сосной среди поляны я и остановился на ночь. И ночь была хороша, с туманами и круглой щекастой луной. Все окрестности утопали в туманах. Кричали утки. Из дня современного я очень быстро попал в ночь древнюю. Бродил, как зачарованный, среди папоротников и трав, березок, входил в языки тумана, фотографировал. Но разве сфотографируешь дух древнего Оковского леса.

Днем прорубался на лодке сквозь густые заросли желтых кувшинок. В хорошем борще ложка стоит, а здесь — весло стояло. Ну, не борщ, так уж кисель — точно. Иногда казалось, что река закончилась. Все. Тупик. Ушла под землю. Но вдруг заросли оставались позади, и лодка плывала в омут, я тут же погружался в воду, чтобы остудить пылающие от солнца плечи, спину, руки, покусанные безжалостными слепнями.

Плыть по такой реке — тяжкий труд.

Но и наслаждение.

Воды в то лето было маловато. Ельша оказалась мелкой, чистой, с песком и валунами, но без завалов. И всюду удавалось проплыть. С берегов меня окликали иволги.

Две ночевки спустя характер реки изменился, таежный лес отступил, и на берегах встали задумчивыми стражами дубы с мощными торсами, берега стали выше.

И вдруг лодка выплыла в какое-то открытое пространство. С воды я не мог оглядеться. Что это такое? Заливные луга? Поля? А впереди поперек реки темнели бревна завала. Это были топляки, они прочно перегораживали речку. Когда-то здесь сплавляли лес — в Межу и дальше в Западную Двину.

Солнце плавало золотым оком по небесам с поволокой. Было очень жарко. У этого завала я искупался, освежился, но перетаскивать вещи все равно не хотелось. И я отплыл немного назад. Где-то слева заметил какой-то вроде бы рукав, — может, ход, огибающий завал? Да, вот он. Сунулся туда. Это был какой-то очень узкий канал среди высоких и густых цветущих трав. Приходилось буквально протискиваться. Иногда в воде всплывали топляки, но под весом лодки тонули и пропускали дальше, как некие безмолвные стражи. Куда же ведет этот душный лабиринт? Вдруг сейчас и закончится? И как тогда я буду пятиться здесь? В одном месте все же пришлось вылезать из лодки, но ноги сразу провалились сквозь сплетения трав. Это было какое-то болото. Вылезти не получилось. И я раскачивал лодку, отчаянно отталкивался от трав и все же сумел прорваться дальше. Уф!.. А что если пробьешь острым обломком тростника баллон? Ведь отсюда на своих двоих, как говорится, не выберешься. Мобильной связи нет.

Но впереди уже что-то виднелось, какой-то просвет... Толчок, еще толчок... Рукав вдруг стал пошире, полноводнее, и я смог даже грести. Гребок, еще гребок...